



Фэй Уэлдон

Род-Айленд
блюз

[roman]

CoRpus



Фэй Уэлдон иногда называют современной Джейн Остин. Продолжая классическую традицию женского романа, Уэлдон вошла в литературу в середине 60-х и с тех пор, помимо пьес и сценариев, выпустила около тридцати книг (“Жизнь и любовь дьяволицы”, “Ожерелье от Vulgary”, “Жизненная сила” и др.), многие из которых экранизированы. “Род-Айленд блюз” — выстроенная в блюзовой манере история двух представительниц одной семьи, каждая из которых хранит в памяти собственную трагедию. Взбалмошная красавица Фелисити, даже перевалив за восемьдесят, не утратила ни легкомыслия, ни очарования. Юность ее пришлась на эпоху моральной и материальной зависимости от мужской власти, от брачного контракта, от общественных предрассудков. Ее внучка София — полная ей противоположность: это самостоятельная и свободная современная женщина, монтажер на одной из лондонских киностудий. Родственная привязанность между ними весьма условна — София с детства не может простить Фелисити, что в трудную минуту та ее бросила, улетев за океан к очередному мужу. Но случай меняет все: раскручивается колесо фортуны, вскрываются семейные тайны, в дело вступает любовь, азарт, риск и надежда... * * * Фэй Уэлдон в английской женской прозе — звезда первой величины. Пьесы, сценарии (в их числе знаменитый сериал по книге Джейн Остин “Гордость и предубеждение”) и почти тридцать романов принесли ей славу признанного мастера современной беллетристики. “Род-Айленд блюз” — это и в самом деле роман-блюз, напряженный диалог двух женщин. И одновременно — яркая фантазия на тему “последнего шанса”, который возможен в любом возрасте.

- [Фэй Уэлдон](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)

- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
-

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

- [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
-

Фэй Уэлдон

Род-Айленд блюз

— Я древняя старуха, София, и потому имею право говорить правду. — На удивление юный голосок моей бабушки летел, прыгая по волнам Атлантики. — Мне никто не указ, терять мне нечего, бояться некого, так что пощады не ждите. Мне восемьдесят пять лет, что я думаю, то и говорю, это моя привилегия. А если кому-то мои слова не по нраву, считайте, что я впала в старческое слабоумие.

Моя бабушка Фелисити всегда говорила всем правду, сострадание к ближним ее не очень-то останавливало, но спорить с ней не было сил, я слишком устала и чувствовала себя виноватой, и уж тем более бессмысленно было уточнять, что на самом деле ей не восемьдесят пять, а всего восемьдесят три года. Фелисити звонила мне из своего белого, обшитого вагонкой дома на зеленом пригорке в окрестностях Норвича, штат Коннектикут, дома, где провода к колонкам музыкального центра были заранее проложены под полом, где исполинских размеров холодильник был до отказа набит яркими, безобразными пакетами с едой быстрого приготовления, заманивавшей пониженным содержанием того, сего, пятого, десятого, а я выслушивала ее упреки в тесной квартирке кирпичного дома в Лондоне, в Сохо. Ее голос отзывался эхом в пустых, просторных, с паркетными полами комнатах дорогого, стильного, томящегося одиночеством дома, двери которого она не запирала, окна не занавешивала — их черные квадраты глядели в еще более густую черноту ночи, и кто поручится, что там не затаились убийцы с топором. Мой голос никаким эхом не отзывался здесь, в центре Лондона, комнатки маленькие, заставлены мебелью, на окнах решетки, плотные шторы лишь слегка приглушают шум, который устраивают по ночам голубые, когда выходят из своих голубых баров внизу и перемещаются в клубы для голубых же. Здесь я чувствую себя в куда большей безопасности, чем у Фелисити на ее зеленом пригорке среди стриженных газонов. В квартире подо мной трудится проститутка, она перехватит малейшее проявление сексуальной агрессии, случись ей вдруг прорваться в подъезд; а этажом выше работает дизайнер-график — беспощадная требовательность к себе, дисциплина и высокий профессионализм, которые, как мне хочется думать, просачиваются вниз ко мне.

По лондонским меркам я живу в модном, дорогом и престижном районе. До работы можно дойти пешком, и я это ценю, хоть и приходится прокладывать себе путь сквозь развеселые толпы зевак и извращенцев, а тугие попки охотниц и охотников за сексом вызывают такую же досаду, как необъятные зады глазеющих туристов. Вывести бы из них среднее арифметическое, превратить в нормальных, занятых нормальным человеческим трудом добропорядочных обывателей. Но тогда это все равно что жить в пригороде, а для человека моего склада пригород — это погибель.

Устала я потому, что только что вернулась с работы и было далеко за полночь. А виноватой чувствовала себя потому, что прошло уже две недели, как мне позвонила бабушкина глухая приятельница и ближайшая соседка Джой — ближайшая в том смысле, что их большие одинокие дома находятся в пределах слышимости друг от друга, — и прокричала в трубку, что у Фелисити, которая живет одна, случился инсульт и ее отвезли в больницу в Хартфорд. А я как раз кончала монтировать фильм. Я монтажер на киностудии, и в работе над фильмом наступает такой период, когда монтажер перестает принадлежать себе: он просто не имеет права захворать, сойти с ума, иметь прикованную к постели бабушку. Джой позвонила именно в такой момент. Монтажер должен неотлучно находиться

в монтажной, должен — и все тут, пусть хоть мир рушится. То, что ты делаешь, не может сделать никто. “Завтра” — художественный фильм, задуман как концептуальный, совместное производство английской и американской студий, огромный бюджет, знаменитый режиссер (Гарри Краснер), вокруг выются тучи рекламных агентов, устраиваются конференции, предварительные просмотры, а я отчаянно барахтаюсь, пытаюсь в последние минуты слепить какое-то подобие эротики на куцем метраже пленки со сценой совокупления двух подростков, которую актеры играли чуть ли не с отвращением. И я не полетела сидеть у постели больной бабушки, я просто забыла о ней — вспомню, когда обстоятельства позволят. И вот бабушка снова ворвалась в мою жизнь, у нее сейчас вечер, а у меня глубокая ночь, но она никогда не считается с разницей во времени, будто ее и не существует.

Я приготовилась дать отпор. Иногда между мной и Фелисити встает призрак моей безумной матери и останавливает поток родственных чувств, эта мрачная фигура напоминает мне родительниц, которые вдруг возникают будто из-под земли на проезжей части улицы возле школы и заставляют недовольных водителей остановиться под визг тормозов, чтобы дети могли перейти на ту сторону.

В детстве мне снился один и тот же сон: в нем моя мама выступала именно в такой роли, только на плакате, который она держала в руке, значилось не “Дети”, а “Во всем виновата ты, Фелисити”. Но я-то знала, что если она повернет плакат другой стороной, там будет мое имя и я прочту “София, виновата ты”. Мне всегда удавалось заставить себя проснуться до того, как я увижу этот ужас на обратной стороне. Да, ребенком я умела подчинять себе свои сны. Они мне повиновались. Наверное, потому меня и считают хорошим монтажником: не в том ли смысл моей работы, чтобы сдерживать чужую фантазию? Почти каждую ночь я принимаю снотворное, оно не пускает ко мне мои сны. Довольно с меня и тех, что я вижу днем, иначе недолго сойти с ума.

Оказывается, Фелисити выпустили из больницы в тот же день к вечеру, у нее была лишь слегка затронута речь, сейчас все полностью восстановилось, но я в то время ничего этого знать не могла.

— София, я хочу продать дом, — говорила она. — Пойми, я просто умираю с тоски. Все жду и жду каких-то интересных перемен, но, видно, все интересное в моей жизни уже произошло. Как ты думаешь, это возраст виноват?

Да уж, ожидать интересных перемен на девятом десятке, тем более что для большинства женщин эти перемены означают свалившуюся как снег на голову любовь, явно не стоит. Все когда-то кончается. Фелисити сказала, что думает переселиться в какой-нибудь кондоминиум, где живут старики. Я ответила, что вряд ли она окунется там в водоворот интересных событий, но она возразила: да, люди стареют, однако это вовсе не значит, что они теряют интерес к жизни. Она уже решила, выставила дом на продажу, распродает разные мелочи на местных блошиных рынках, есть какие-то фамильные ценности, может быть, я захочу их взять, тогда пусть я приеду и возьму.

Я ощущала тягостное сознание ответственности, горечь вины, мучительную двойственность моего отношения к ней — словом, весь набор чувств, которые связывают нас с близкими родственниками. И оттого, что она моя единственная родственница, мне было особенно тяжело. Я ее люблю, просто мне хочется, чтобы она была где-нибудь далеко, не возле меня. А если проанализировать мое поведение поглубже, то выяснится, что дело обстоит и того хуже.

Проявив полное бесчувствие после звонка Джой и продолжая заниматься своим фильмом, хотя перед лицом смерти все, что связано с жизнью, следует отодвинуть на второй план, я в глубине души знала, что если Фелисити умрет, то исчезнет и проблема вины, навеки неразрешенная. Я буду просто я, существо из ниоткуда, продукт своего поколения, что ему прошлое, что история семьи и рода, наслаждайся жизнью сейчас и здесь, — новая лондонская культура *dolce vita*, как выражается великий режиссер Гарри Красснер.

Я, София Кинг, монтажер, провожу все свои дни в монтажной без окон, со скверным кондиционером, в мирном гудении компьютеров, но я свободна от прошлого. Насколько легче разбираться в сумбуре отснятого Гарри Красснером материала, чем в настоящей жизни. Там образы и сцены помогают найти начало, середину и конец, вывести мораль, а настоящая жизнь вся уведена в подтекст, нет никаких сколько-нибудь удовлетворительных объяснений, нет Судного дня, который бы расставил все по местам, Бог — всего лишь надолго отлучившийся монтажер, он слишком ленив и не желает утруждать себя осмысленной компоновкой кусков. Наверное, согласовывает сценарий похорон собственной бабушки.

Ходи к психоаналитику, проникай все глубже и глубже в собственное подсознание, сделай из своих снов сценарий — все равно никуда не деться от досадной нелогичности повседневной жизни. Кино мне кажется честнее действительности, ведь там она профильтрована камерой. Пусть даже Фелисити умирает, все равно она не должна вмешиваться в мою жизнь, как не вмешивалась до нынешнего дня. Возможно, ей сейчас тоскливо, но она окружена комфортом, покойные мужья оставили ей немалые деньги, на стене висит пейзаж Утрилло, есть соседка по имени Джой, которая так напористо кричала в телефонную трубку. Я вспомнила, как Фелисити бросила меня, когда мне было десять лет и она была моей единственной поддержкой и опорой, оставила свою дочь Эйнджел — мою маму — умирать одну и улетела домой, в Америку, даже на похороны потом не приехала. Как я сердилась на нее тогда, клялась себе, что никогда не прощу. Какая крайность, какое требование ее внутреннего монтажера так безрассудно вынудили ее отказаться от нас? Когда-то, маленькой девочкой, я любила свою бабушку простой, бесхитростной детской любовью, но этим поступком она превратила мою любовь в немое осуждение.

На маму он, конечно, подействовал еще сильнее, ее любовь перешла в ненависть, такое часто случается с душевнобольными, они могут вдруг возненавидеть родных, даже собственную мать или дочь, и это самое страшное, что может случиться в мире. У Эйнджел хотя бы было оправдание — она сумасшедшая, но Фелисити-то вроде бы в здравом рассудке.

И вот теперь она мне выговаривала:

— Ты не прилетела ко мне, не сидела возле моей постели в больнице, а ведь знала, что я, может быть, умираю. — И это в два ночи по лондонскому времени, в десять вечера по лонг-айлендскому. Но что ей за дело, разбудила она меня или нет? И какой смысл ворошить сейчас прошлое?

— Ты провела в больнице всего одну ночь, — напомнила я.

— А вдруг это оказалась бы моя последняя ночь, — возразила она. — Не стану скрывать, я здорово испугалась.

Какая жестокая! А я, до чего же я устала. Когда зазвонил телефон, я только что вернулась из студии. Утром в десять придет Гарри Красснер с продюсером, чтобы одобрить окончательный монтаж, хоть это было бы чудом. Я и сама затруднилась бы сказать, что больше похожена фантастику — звонок Фелисити или прожитый мной день. Воспаленные

глаза слипались от усталости. Спать, спать — больше я ничего не хочу. А тут этот голос из прошлого, с привычной актерской аффектацией, чуть более хриплый, чем несколько месяцев назад, когда она звонила мне в последний раз, он словно бы из ночного телефильма, хоть и когтит мою совесть. Никуда не денешься, мы с ней единственные родственники. Мама умерла сто лет назад, рана затянулась, я не имею права отмахиваться от Фелисити.

— Я не успела бы прийти к тебе в больницу, тебя уже отпустили домой, — заметила я.

— Но ты-то этого не знала, — ехидно возразила она. — Да что там говорить, ты никогда не дорожила семейными узами.

— Неправда. — Я чуть не плакала. — Это ты бросила дом и семью и уехала на край света. А дом здесь, в Англии.

Это же полный абсурд. Такое случается при первом визите к психоаналитику: довольно нескольких добрых слов, сочувственного взгляда — и вас начинает душить жалость к себе, вы плачете, плачете, плачете и не можете остановиться, вам кажется, что случился серьезный срыв, и договариваетесь ходить к нему два года. Но сейчас я списала свои слезы за счет переутомления, мне казалось, что я — это вовсе не я, а персонаж из дурной мелодрамы, какие крутят по телевидению по ночам, и этот персонаж просто выдает запланированную реакцию.

— У меня другого выхода не было, иначе я и сама погибла бы, — сказала Фелисити тоже не без слез в голосе. — А от родных я никогда ничего не слышала, кроме упреков. — (Классический случай перенесения собственной вины на оппонента, но Фелисити, как и почти все ее поколение, не искушена в психологических изысканиях Фрейда. Спорить с ней бесполезно, и тем более доказывать, что она сама этот спор затеяла.) Она взяла себя в руки и с гордым достоинством произнесла: — Да, мне хотелось, чтобы ты была рядом, когда я буду умирать, но то была минутная слабость. Если человека нет рядом, когда ты жива, зачем он тебе, когда ты умираешь? Лишь потому, что в нем четверть твоей крови? Это вовсе не причина. Ты понимаешь, что такое смерть?

— Нет, — сказала я. Если бы и понимала, Фелисити я этого не скажу, тем более сейчас, когда от усталости нет сил и хочется плакать.

— Кто бы сомневался, — сказала моя бабушка Фелисити. — С тех пор как умерла Эйнджел, ты не вылезает из депрессий, не даешь себе ни минуты передышки, боишься хоть на миг задуматься об устройстве мироздания. Но я тебя не виню, все сложилось слишком уж печально. — Видно, insult, который перенесла Фелисити, что-то в ней изменил, ведь после смерти мамы она никогда не говорила о ней в моем присутствии. Моя сумасшедшая мама умерла в тридцать пять лет, отец кое-как дотянул меня до восемнадцати и умер от рака легких, хоть и не курил, разве что иногда марихуаной баловался.

— Беда в том, — сказала Фелисити, бросившая нас с мамой в самую тяжелую минуту жизни, и я не могу этого забыть, — беда в том, что я больше не могу жить одна. Вчера я обожглась, пролила на руку кипящее молоко, боль ужасная.

— Зачем тебе понадобилось кипятить молоко? — спросила я. Вот что значит быть монтажером: прежде чем приступить к главному, надо разобраться в мелочах, понять второстепенные и третьестепенные побудительные мотивы.

На другом конце провода наступило молчание. Я с тоской подумала о постели. Сегодня утром я ее не застелила, точнее сказать — даже не встряхнула и не расправила пуховое одеяло, не все ли мне равно, как будет выглядеть мое ложе вечером. Так всегда бывает к концу работы над фильмом. Потом можно будет в полное свое удовольствие мыть, тереть,

наводить порядок, облицевать мрамором ванную на те огромные деньги, которые тебе заплатят и которые у тебя нет ни времени, ни желания тратить, а пока дом для тебя — всего лишь место, где ты кладешь ночью голову на пропитанную потом подушку, а рано утром вскакиваешь и снова мчишься на работу.

— Надеюсь, ты крепче, чем твоя мать, — сказала Фелисити. — Ту все время куда-то заносило. — Что ж, наверное, так тоже можно описать проявления параноидной шизофрении, или маниакально-депрессивного психоза, или какого-то другого заболевания, которое находили у мамы врачи.

— Знаешь что, не надо меня пугать, — сказала я. Если ты выросла в семье, где есть душевнобольные, ты обладаешь великим преимуществом: ты знаешь, что сама-то ты здорова. — Ты не ответила на мой вопрос.

— Я хотела выпить кофе с молоком, — объяснила Фелисити. — Пусть мне восемьдесят пять, но я не отступаю от правил.

Она старела с каждым сказанным словом, как будто сама желала прогнать от себя жизнь. Это было невыносимо. Я забыла, как сильно я на нее сержусь, как отвратительно она тогда поступила, как справедливо мое негодование. Осталась только любовь к ней. Незадолго до маминой смерти, когда отец уже нас бросил, я как-то пришла домой, а она сидит и штопает мои носки, в которых я хожу в школу. Никто никогда раньше не штопал мне носки, сама я иголку в руки взять не умела, а новые купить было не на что, я ходила в дырявых, сверкая пятками, и до сих пор спокойно могу надеть колготки со спущенными стрелками, мне просто все равно.

— Бабушка, милая, — я уже плакала, не сдерживаясь, — я так рада, что все обошлось. Прости меня, что я не прилетела.

— Ничего не обошлось, — возразила она. — Я же тебе сказала: у меня на руке ужасный ожог. Кожа покраснела, сморщилась, стала как печеное яблоко. Знаю, я и без того сморщенная, и без того как печеное яблоко, ты не представляешь, как мне сейчас отвратительно мое собственное тело, но оно хотя бы не красное и не в мокнущих волдырях. Вот доживешь до моих лет — узнаешь. А ты доживешь. Молодость, знаешь ли, не вечно длится.

— А ты не можешь позвонить Джой? — спросила я.

— Она совсем глухая, телефона не слышит, — сказала Фелисити. — Какой толк ей звонить. Пора посмотреть правде в глаза: я больше не могу жить одна, я уже совсем старая. Может быть, даже в кондоминиум для пожилых меня не возьмут. Но ты не пугайся, — мое сердце и в самом деле похолодело от страха за собственную шкуру, слезы высохли на щеках, и она это словно почувствовала, — я не предлагаю, чтобы мы с тобой жили вместе. Конечно, мы обе одиноки, но это вовсе не значит, что мы готовы расстаться со своим одиночеством. Просто я должна принять какие-то решения, и мне нужна помощь.

Я сдержалась и не сказала ей, что я совсем не одинока, вокруг меня плещется море человеческих голосов, оно в положенное время поднимается и опадает с приливом и отливом; у меня есть близкие друзья, завидная профессия, светские тусовки в перерывах между фильмами, такую жизнь я сама выбрала, она наполнена тайными и явными образами, реальным и придуманным, и она предельно напряженная. Для Фелисити, как и для большинства ее сверстниц, одиночество означало отсутствие мужа и детей, и их у меня в мои тридцать два года действительно не было. Мы, дети и внуки таких женщин, как Фелисити и Эйнджел, научились защищать себя от горя и страданий, которые нам

достаются, когда мы посвящаем свою жизнь мужчине, или ребенку, или какому-то делу.

— Прощу тебя, поговорим об этом завтра, — взмолилась я. — Почему ты не хочешь вызвать врача, пусть он посмотрит твою руку.

— Он сочтет, что я слишком мнительная, — возразила она таким тоном, как будто ничего другого от врачей и ожидать нельзя, и я подумала, что хоть Фелисити и прожила в Америке столько лет, в душе она по-прежнему англичанка. — Нет, София, я вижу, ты не хочешь мне помочь. — Она положила трубку. Я набрала ее номер, но она не ответила — обиделась. Бог с ней, я легла, не раздеваясь, и провалилась в сон, а утром мне стало казаться, что я придумала весь этот разговор. Впрочем, размышлять об этом не было времени.

Утром в монтажной был сумасшедший дом: конечно же, явился Гарри Краснер — огромный, волосатый, шумный и обаятельный. Крупные киношные деятели бывают двух разновидностей: пламенные эндоморфы, которые подчиняют вас себе, подавляя сопротивление физически или психологически, очаровывая и поработывая, и бескровные эктоморфы, на вооружении которых легкая ехидца в вашем присутствии и удар в спину, едва вы отвернулись. Краснер — ярчайший пример первой разновидности; продюсер Клайв, низенький, коварный и голубой, относится ко второй.

Мы пытались сосредоточиться на фильме и уладить разногласия, а в монтажную тем временем все набивался и набивался люд в разной стадии приближения к невменяемости. Желтая пресса прознала, что наш главный герой, юный красавец Лео Фокс, — голубой, Оливия же, его возлюбленная по фильму, призналась в предпоказном интервью какой-то бульварной газетенке, что она — лесбиянка. У Гарри хватило великодушия заметить, что, учитывая новые открывшиеся обстоятельства, я неплохо справилась со сценами в постели. Мне хотелось огрызнуться, что я справилась бы еще лучше, дай он мне хоть на четверть больше метража, но я сдержалась; Клайв не сдержался и заявил, что директора по кастингу и всю службу рекламы надо гнать в шею; чокнутая тетка из костюмерной доказывала, что она тоже непременно должна присутствовать при обсуждении, хотя всем было ясно, что на данном этапе она здесь совершенно не нужна. Гарри то и дело царапал своим колючим подбородком мое открытое плечо. Плечо не собиралось никого соблазнять, просто кондиционер, как и следовало ожидать, не работал, в монтажной было невыносимо жарко. Я разделась до легкой маечки, а лифчиков я не ношу, грудь у меня маленькая и крепкая.

— У тебя кожа атласная, — сказал он, когда мы перематывали пленку.

Кретинка костюмерша так сразу и ощетибилась. Ну как же, сексуальное домогательство! Да ничего подобного, человек просто заметил, что у меня атласная кожа — она и в самом деле атласная, очень белая и матовая, как у Эйнджел, — и высказал это вслух, он всего лишь констатировал факт, ему ли ко мне подкатываться. Для таких мужчин, как он, я просто не существую — девяносто девять целых и девять десятых из них женаты на умницах, красавицах, эффектных, элегантных, изысканных, восхитительных, родовитых, а уж любовниц они себе выбирают и вовсе среди самых сногшибательных красоток, какие только существуют на земле. То, что у подружки — или у дружка — отвратительный характер, что они сплошь творения пластической хирургии, наркоманы, страдают неизлечимой kleptomанией, заняты исключительно собственной персоной, не умеют связать двух слов, не знают, с какого бока подойти к микроволновой печке, — все это не имеет решительно никакого значения. У голливудских любовниц такие длинные ноги, что их можно обматывать вокруг шеи, как шарф; мозги здесь не требуются, если они есть, их надо скрывать вне зависимости от того, к какому полу вы принадлежите, это циничная плата за то, чтобы стать доказательством чьего-то успеха. Награда победителя — первая красавица. Пусть у меня сто раз атласная кожа и пусть даже Гарри это заметил, все равно я для него всего лишь член съемочной группы.

Беда в том, что, когда ты окружена такими людьми, работаешь с ними бок о бок, делаешь общее дело, тебя перестают интересовать мужчины, которых ты встречаешь в ночном клубе, в ресторане, в библиотеке. Даже Клайв, уж на что плохонький мужичишко,

тщедушный, злобный, голубой, самый бесталаный в группе, но и он, стоит ему появиться, тут же захватывает все жизненное пространство и высасывает из людей жизненные силы, вы чувствуете себя полутрупом.

Если я возвращаюсь домой с тусовок одна, то это от полного отсутствия интереса ко всем присутствующим там мужчинам: сейчас появилась совершенно новая порода — хлипкого сложения, с бритыми черепами, еще самая малость — и голубые, всегда в черном, они неуверенно трогают тебя за локоть, зазывно смотрят блестящими от кокаина глазами — зачем они мне? Может быть, их больше привлекает бесплатный завтрак, чем бесплатный секс.

День продолжался без перерыва на обед, в какой-то миг Гарри вдруг выплеснул кофе на пол, заявив, что такую бурду пить невозможно. Клайв чуть не размазал крем с пирожного по звуковой дорожке, я ему на это указала и по выражению его физиономии поняла, что он никогда больше не пригласит меня к себе работать, не пригласит — и не надо, я к этому моменту уже люто ненавидела картину, весь этот набор претенциозной чепухи, любой его фильм вызывает такую же тошноту, у меня нет ни малейшего желания с ним работать. Гарри засмеялся, когда я все это высказала вслух, а я тряхнула головой, и волосы, которые я наскоро сколола на затылке в конский хвост, рассыпались (они у меня рыжие и кудрявые), Гарри сказал: “Ух ты!”; в дверь стал ломиться сценарист, но его не пустили, костюмерша заявила, что истраченные ею сто тысяч долларов вылетели в трубу, потому что я вырезала все сцены, где герои одеты в туалеты от Версаче, и я попросила ее уйти, потому что не стоило так долго сидеть в монтажной ради этого дурацкого замечания и поглощать предназначенный нам драгоценный кислород, ну что значат какие-то сто тысяч для фильма с бюджетом в тридцать миллионов, и она ушла, демонстративно хлопнув дверью.

С отделом по изготовлению титров приключилась истерика, они стали кричать, что мы не оставили им никакого времени, и это правда, времени мы им действительно не оставили; когда мы кое-что доозвучивали, появился композитор — прошел слух, что его увезли с передозировкой, — он узнал, что у нас случился скандал, и принялся рыдать, ведь композиторы всегда все понимают буквально, и мы вслух пожалели, что его удалось откачать.

По крайней мере, кое-как удалось усмирить средства массовой информации: наш юный герой Лео объявил в утренней телевизионной программе, что он бисексуал — ярлыки производят на публику магическое действие, — а Оливия разъяснила по телевидению же после обеда, что ее лесбиянский статус нельзя считать постоянным, просто когда она училась в школе, ее один-единственный раз соблазнила учительница английского языка, и все, кто видел ее в эротических сценах, могли убедиться, как сильно, страстно, буквально до безумия ее возбуждает Лео. Каким-то чудом удалось избежать скандала по поводу заключения контракта на прокат фильма, и к полуночи Клайв признал, что окончательный монтаж на девяносто пять процентов удачен, а пяти процентов неудачных склеек никто, кроме него, не заметит, для этого надо иметь хоть каплю вкуса, и объявил, что все, работа закончена.

Едва живая, я вдохнула вместе с Гарри миазмы Сохо, он попросился ко мне переночевать, если найдется свободная койка, ему, сказал он, яркий свет отеля сейчас невмоготу. Причина мне показалась не слишком убедительной, но я сказала — ладно, пошли. Он доплелся со мной до моего причудливого жилища, взобрался с тупой, мрачной решимостью по нескончаемым пролетам лестницы, оглядел квартиру, сказал “центр есть

центр” и потребовал виски, виски я ему не дала, тогда он положил голову на мою смятую подушку, натянул на себя мое сбившееся пуховое одеяло и заснул мертвым сном. Зазвонил телефон. Это была Фелисити. Она сказала, что оступилась и растянула лодыжку, в следующий раз сломает шейку бедра. Я сказала, что прилечу первым же рейсом, на который смогу заказать билет, устроилась на кушетке и заснула. К кровати, на которой спал Гарри, я и не подошла. Зачем мне накликать на себя нескончаемые мучения. Женщины не должны играть с партнерами из другой лиги, они рискуют разбить себе сердце. Я всего лишь высококвалифицированный специалист съемочной группы, у которого случайно оказалась свободная кровать, режиссеру не надо было ехать до нее на такси. Клайв — кошмарный жмот, от него машины с шофером не дождешься.

В Род-Айленде, возле самой границы со штатом Коннектикут, в окрестностях Мистика и недалеко от Уэйкфилда, надежно защищенная лесами и холмами от шума автострад, находится “Золотая чаша” — интернат для престарелых, где они ведут активную творческую жизнь. Род-Айленд — крошечный неправильный прямоугольник на карте, один из шести штатов, составляющих Новую Англию, самый маленький из всех них, самый живописный, самый густонаселенный и, как говорят, самый коррумпированный, хотя кто измерит степень коррупции? Здесь выведена высоко ценимая сейчас во всем мире порода кур — род-айленды красные. С запада на Род-Айленд наступает Коннектикут, с востока теснит Массачусетс, на юге не позволяет развернуться Атлантический океан. Здесь пышная растительность: березы, тополи и гингко, рябина, клены разных пород, гикори, дуб, кизил, сассафрас, и все осенью полыхает всеми оттенками золотого, оранжевого, багряного. Весной луга покрываются полевыми цветами, а уж птицы — сколько тут редких видов пернатых проводит лето вместе с изучающими их орнитологами! Здесь укромные пляжи и тихие скалистые бухты, бывшее величие и мрачная, кровавая история, от которой отмахивается снисходительное настоящее. Род-Айленд — это “земля свободных и родина смелых”, “штат, что скорее умрет, чем сдастся индейцам”. Конечно, в ноябре здесь уныло и слякотно, как и всюду. Лучше быть в помещении, чем на дворе. Так думала старшая сестра пансиона “Золотая чаша” мисс Доун.

Комплекс “Золотая чаша” построен в духе Художественного центра Гетти в Санта-Монике, то есть это вдохновенная копия древнеримской виллы — длинное низкое здание, колонны, бассейн, водяные лилии, вьющийся по стенам плющ, фасад облицован ослепительно-белым камнем, в Калифорнии все это было бы вполне на месте, но под сереньким небом Род-Айленда вызывает оторопь. Не радуется глаз, а оскорбляет, сказали бы про этот архитектурный шедевр люди молодые и недоброжелательные, однако старикам нравится эта яркость, их греет мысль, что они могут провести свои последние дни среди этой роскоши, именно по этой причине местное общество охраны заповедной природы перестало устраивать демонстрации протеста и смирилось с существованием “Золотой чаши”.

Пока София летела в Бостон, с большим опозданием вырвавшись навестить свою бабушку, старшая сестра Доун и доктор Джозеф Грепалли, знаток человеческих душ и директор “Золотой чаши”, решали судьбу кровати, которая освободилась вследствие скоропостижной смерти спавшего на ней доктора Джеффри Роузблума. Окна в комнатах были распахнуты настежь, потому что рабочие уже отделявали помещение, белили потолки — доктор Роузблум был тайный курильщик и основательно их закоптил, — клеили на стены приятные обои в классическую бело-розовую полоску поверх прежних, с лиловато-кремовыми цветочками. Светлые обои можно наклеивать друг на друга много раз слой за слоем, не сдирая предыдущих, а вот яркие краски в сыром помещении могут проступить на новом слое. Можно спокойно клеить до пяти-шести слоев, но уж потом надо сдирать все до штукатурки, иначе обои начнут пузыриться, хотя такое случается в среднем раз в пять лет. Бело-розовые в полоску были всего лишь третьим слоем за двадцать два года существования “Золотой чаши”. Предшественник доктора Роузблума дожил в добром здравии и ясном уме до ста двух лет и тоже скоропостижно скончался на этой самой кровати. Матрас тогда был в хорошем состоянии, и начальство решило его не менять.

— Две скоропостижные смерти в одной кровати — это уж слишком, — заметил доктор Грепалли, человек добрый и щедрый. — На этот раз надо хотя бы матрас сменить.

— Кровать не виновата, что на ней умирают, — возразила сестра Доун, которая только притворялась доброй и щедрой, а на самом деле была злыдня и скупердяйка. — Доктор Роузблум курил, видите, как закоптил потолок; если бы у него была сила воли, нам не пришлось бы сейчас его заново белить. Я думаю, инфаркт спровоцировало какое-то легочное заболевание.

— Ах, сестра Доун, сестра Доун, — с нежностью сказал доктор Грепалли, — вам хочется, чтобы все жили вечно, не имели вредных привычек и никогда не болели.

— Конечно, — подтвердила она. — Зачем Господь позволил кому-то из нас жить дольше, разве не для того, чтобы в отпущенное нам дополнительное время мы обогатились новыми познаниями?

По ее глубокому убеждению, человек должен неустанно самосовершенствоваться, даже в самом преклонном возрасте нельзя давать себе поблажки.

В “Золотой чаше” жило около шестидесяти подопечных, которые называли себя — да и все окружающие их так называли — “друзья по чаше”. Желающим поселиться в пансионате должно было непременно исполниться семьдесят пять и они должны уметь жить в коллективе, это залог долгожительства. Слабосильные к настоящему времени сошли в могилу, остались только крепкие и жизнеспособные. Средняя продолжительность жизни друзей по чаше составляла девяносто шесть лет — завидный возраст, и все благодаря соответствию требований сестры Доун к физическому состоянию будущих обитателей и их характеру. Специальной подготовки у нее не было, она делала выбор, следуя собственному чутью. Ей было довольно одного взгляда: этот будет жить долго — добро пожаловать, этот нет — сожалеем, но у нас нет места.

Смерть, при всей своей неизбежности, вовсе не была повседневным явлением в “Золотой чаше”. Ее обитатели перемещались в пределах комплекса из одного корпуса в другой: сначала вы живете в коллективе (когда вам просто не хочется быть одному), потом вам необходимо оказывать небольшую помощь (вы сами не справляетесь с надеванием чулок), дальше вы начинаете нуждаться в уходе (вы сами не в состоянии поднести ложку ко рту), следующая ступень — полное обслуживание (вы уже не встаете) и, наконец, если вам сильно не повезло, интенсивная терапия (вы хотите умереть, но вас не отпускают на тот свет). Считалось в высшей степени желательным, чтобы семья переложила всю ответственность за переселяющегося в “Золотую чашу” на ее руководство. Слишком любящие родственники дурно влияют на душевное состояние престарелого пациента и понижают индекс продолжительности жизни в пансионе, гораздо лучше, когда о нем совсем забывают. Одна из самых удачных лекций доктора Грепалли была посвящена именно этой теме. Как учитель не любит родителей и обвиняет их в бедах детей, так и Грепалли относился к родственникам настороженно и не верил в искренность их чувств. Доктор был чуть ли не самое яркое светило в области разработки практических мер по продлению жизни людей преклонного возраста, выступал время от времени по телевидению и писал статьи для ежемесячного журнала “Счастливая старость”, которые потом перепечатывались в медицинских изданиях по всему миру. Обитатели “Золотой чаши” восхищались им и гордились. Так, во всяком случае, твердила ему сестра Доун.

Самый долгий срок пребывания пациента в “Золотой чаше” составил двадцать два года, рекорд краткости пребывания — пять дней, но эти пять дней сочли статистической

аномалией и в выведении средних показателей не учитывали. За двадцать два года существования “Золотой чаши” ее покинули по собственной воле, а не ногами вперед, всего восемь человек. Обитателям “Золотой чаши” была обеспечена полная, насыщенная жизнь — естественно, относительно полная и насыщенная, но степень относительности была значительно ниже, чем в других учреждениях подобного рода, взимающих со своих подопечных столь же высокую плату. Впрочем, мало кто в округе мог соперничать с “Золотой чашей”, где вам предоставлялась возможность дряхлеть до полной немоги в одной и той же обстановке. Когда старики деградируют физически или умственно, их, как правило, вырывают из привычной обстановки и помещают в более подходящие их состоянию заведения, они теряют друзей, а часто и имущество, остаются в тесном замкнутом пространстве. В “Золотой чаше” вы наблюдаете смену времен года среди знакомых вам пейзажей, под знакомым небом и в назначенный вам срок тихо отходите в мир иной.

Джозеф Грепалли и сестра Доун слегка поеживались от холодного утреннего ветерка, который разгонял запах краски. В глубине души они были довольны: доктор Роузблум умер неожиданно во сне в возрасте девяноста семи лет, до ста не дожил, но каждый год сверх девяноста семи улучшает статистику. Неплохо, очень неплохо, хоть он и курил.

Матрас и кресло покойного — кстати, совершенно чистые — решено было отвезти в мебельную комиссионку; ведь если кровать, как считает доктор Грепалли, невосприимчива к личности спящего на ней человека, то кресло словно бы впитывает своего хозяина в себя, и когда тот умирает, оно проседает и мрачнеет.

— Какой ты романтик, Джозеф, — сказала сестра Доун, — и как я это в тебе люблю.

На ее взгляд, кресло выглядело превосходно. Она всеми силами старалась свести расходы до минимума, но надо, чтобы у Джозефа всегда было хорошее настроение, надо поддерживать в нем уверенность, что он все очень тонко чувствует и необыкновенно добр. И она согласилась, что новую мебель следует купить сегодня же в оптовом магазине.

“Золотая чаша” в высшей степени искушена в искусстве быстрого восстановления душевных сил и смены интерьера, что должно способствовать воцарению в вашей душе полного мира и гармонии, а также извлечению максимальных прибылей для заведения. По этой причине ни одна комната, ни один номер, ни одни апартаменты люкс не должны пустовать дольше трех дней, это предел. Но и раньше трех дней их заселять нельзя, даже сестра Доун с этим соглашалась, потому что дух усопшего все это время пребывает в помещении, поэтому там гуляют сквозняки, мысли у вас путаются, и вообще это к беде. Список желающих поселиться в “Золотой чаше” был длинный; чтобы завершить все дела и переехать сюда, иным требовался месяц, а то и больше, но плату полагалось вносить с того момента, как в освободившемся помещении заканчивалась подготовка к приему нового жильца. Так скорее выветривается дыхание смерти, гнетущее чувство пустоты, вызванное смертью. Это как с походами к психоаналитику: сам факт, что вы уже внесли плату, оказывает благотворное, целительное воздействие. То, что не умещалось в сознании, становится обыденным.

Заново отделялись также ванны и уборные; Джозеф побаивался зеркал — вдруг новый обитатель посмотрит в зеркало и увидит там своего предшественника? Зеркала на такое способны, считал Джозеф Грепалли. У них есть память, свой собственный взгляд на мир. Все старые лица похожи одно на другое, однако не все их обладатели готовы с этим согласиться. Джозеф любил давать волю фантазии. Сам он был доктор филологии, его отец, доктор Гомер Грепалли, знаменитый врач-геронтолог и психоаналитик, завещал сыну

“Золотую чашу”, и тот сделался специалистом во всем, что необходимо знать руководителю такого заведения. У сестры Доун был диплом, позволяющий ей работать в области гериатрической психиатрии, руководству “Чаша” этого было вполне достаточно.

— У нас в списке ожидающих двадцать пять человек, — сказала сестра Доун, — но все это не наши пациенты. Божьи одуванчики, долго не протянут: избыточный вес, социопатия, есть лауреат Пулицеровской премии, это хорошая реклама; но она закоренелая курильщица.

По ночам сестра Доун проскальзывала к Джозефу в спальню. Коренастая, с большим бюстом, квадратной челюстью и яркими темными глазками-пуговками на землистом лице, эта сорокадвухлетняя женщина была более привлекательна раздетой, чем одетой. Днем она ходила по коридорам, стуча невысокими каблуками, с широкой улыбкой, занимавшей все пространство между белым или голубым полотняным халатом и полотняной же шапочкой, и призывала обитателей “Золотой чаши” к еще более углубленному самопознанию.

— Я доверяю вашему суждению, сестра Доун, — сказал доктор Греспалли. Почему-то он ощущал неловкость сродни той, какую испытываешь в рыбном ресторане, когда стоишь перед аквариумом и выбираешь омара, который умрет, чтобы тебе приготовили из него деликатес.

— Мне кажется, все они трудные, без твердых принципов. Ни с кем не найдешь общего языка, не то что прежде. Даже у стариков непомерно завышенная самооценка. От молодых нахваталась. — “Трудные” в ее устах значило, что люди слишком разборчивы в еде, критикуют персонал, спорят по поводу лекарств, отказываются от групповой терапии, ленивы и неэнергичны, но самое скверное — большинство их родственников умерли молодыми. Все желающие стать друзьями по чаше должны были представить не только надежные доказательства финансовой кредитоспособности и биографию, но и подробную историю рода, а также ответить на вопросы анкеты, которую составила лично сестра Доун, чтобы определить характер человека.

Джозеф Греспалли, грубовато-добродушный и обаятельный, чем-то напоминал режиссера Красснера, как потом обнаружила София. В знакомом нам облике сестры Доун жила совсем другая женщина, худая и стройная, она обожала сладкий кофе и сдобные булочки, но никто об этой другой сестре Доун не догадывался.

— Нужно закинуть сеть, — сказал Джозеф Греспалли, — опустить ее как можно глубже.

Друзья по чаше называли его Стефаном — из-за Стефана Граппелли^[1], люди беспомощные любят давать шутливые прозвища тем, в чьей власти они находятся, ведь даже самая безобидная насмешка помогает выжить.

Я подъехала к дому Фелисити — Дивайн-роуд, 1006, вилла “Пассмур” — в начале первого ночи. Самолет компании “Юнайтед Эйрлайнс” вылетел из аэропорта Хитроу в Бостон в двенадцать пятнадцать, я находилась в списке ожидающих больше часа — то ли будет билет, то ли не будет. Противное состояние. Нет, я не боюсь летать, просто предпочитаю знать, что со мной произойдет в ближайшем будущем. Когда я уходила из дома, великий режиссер спал в моей постели, и я оставила ему записку, что уехала к своей больной бабушке, вернусь в понедельник. Для озвучания я им не нужна. Теперь, когда картина утверждена и ничего важного в ней трогать нельзя, ее можно передать любому достаточно опытному монтажю. Мне хватит головной боли, когда я вернусь и мы будем подкладывать звук. Я могу отличить хорошую мелодию от плохой, но в музыке ничего не понимаю и потому готова (почти готова) уступить первое или, если угодно, последнее слово более сведущим, чем я, в отношении картины, которой я должна дать финальное добро.

Мне поменяли билет на бизнес-класс, это было удачно. Студийный агент по продаже билетов сообщил, что я снимаю вместе с Краснером новый фильм “Здравствуй, завтра!” (дурацкое название, сценарий написан по любовному роману “Запретная стихия”, целый год подготовки к съемкам он назывался просто “Завтра” — как раз то, что нужно, потому что это что-то вроде путешествия в прошлое и в будущее через отношения Лео и Оливии, “Здравствуй” вкралось к концу съемок, рекламщики так в него и вцепились, ну и пришлось оставить), а всем, кто связан с кино, всюду зеленый свет. Видите, как мне трудно выкинуть из головы перипетии киношной беллетристики. Ведь я, по сути, пересказываю вам содержание фильма “Здравствуй, завтра!”, которым сейчас перестала заниматься.

Перелет прошел приятно; спать в самолете я не могу, поэтому посмотрела пару видеофильмов на экране маленького телевизора, который полагается каждому пассажиру дорогого класса. Я, однако, предпочитаю общий экран, который сейчас опускают только в хвостовом, дешевом, салоне, где вы можете разделить удовольствие от просмотра картины с другими зрителями, именно этого мне всегда и хочется. Ведь фильмы для того и снимают, чтобы их смотрела большая аудитория в кинотеатре и на огромном экране, домашнее видео — жалкий суррогат, разновидность порока, которому предаются в одиночестве.

Бостон — один из самых приятных аэропортов для прилетающих иностранцев. Иммиграционный контроль пропускает вас в считанные минуты. Самолет местной авиалинии очень быстро доставил меня в Хартфорд — некогда торговый форт, основанный голландцами, а ныне страховая столица мира. Все шло как по маслу. Но в Хартфорде, увы, меня встретила приятельница и соседка Фелисити, Джой, пожелавшая во что бы то ни стало доставить меня на виллу “Пассмур”, Дивайн-роуд, дом 1006. Джой жила в доме 1004, именовавшемся “Уиндспит”. В самолете нервы мои отдыхают, но тут же рвутся в клочья, если за рулем сидит кто-то другой, а не я, в особенности если этот другой почти ничего не видит и не слышит и к тому же истошно вопит, желая убедить мир, что людям без него не обойтись, хотя сам в этом не слишком уверен.

— Мне семьдесят девять, никогда не скажешь, правда? — прокричала Джой, направив носильщика с моим чемоданом к своему “вольво”. Лицо у нее было бледное и худое, крашенные белокурые кудряшки всклокочены, рот широко раскрыт в навеки приклеенной улыбке. Одета в изумрудно-зеленый бархатный спортивный костюм, такой более пристал

любительнице гольфа из Флориды, чем благопристойной вдове, о которой мне рассказывала бабушка. Джой была добрейшая душа, во всяком случае, сама она так считала, только слишком шумная. На корпусе “вольво” имелось множество вмятин, крепление бокового зеркала погнуто.

— Никогда в жизни, — поддакнула я. Зачем обижать и обескураживать старушенцию? Без нее мне не добраться до бабушки. Дорога шла лесом, сумерки сгущались. Джой нажимала на тормоз вместо газа или на газ вместо тормоза, а то и на обе педали вместе, и когда “вольво”, подпрыгнув, останавливался, она пугалась, что задавила какую-то бессловесную зверюшку, выключала двигатель, выходила из машины и принималась искать жертву, светя фонариком, который всегда держала под рукой именно для этой цели. Машину она и не думала отводить к обочине, но, к счастью, в это позднее время движения на проселочных дорогах почти не было. До индейца-следопыта ей было далеко, она устраивала такой шум и крик, что раненое животное, будь у него хоть капля сил, давно бы убежало.

— Я не такая, как вы, англичане, не стану ходить вокруг да около, я всегда все говорю открыто! — вопила она, пока мы усаживались в машину после тщетных поисков несуществующего скунса с перебитой лапой. — Я больше не могу взваливать на себя ответственность за вашу бабушку, это несправедливо по отношению ко мне. Ей надо переехать в какой-нибудь более густонаселенный микрорайон, где живут люди ее возраста.

Я согласилась, что бабушке действительно будет там лучше.

— Но разве Фелисити в чем-нибудь убедишь, ничего не желает слушать! — прокричала Джой, как бы оправдываясь. Я согласилась, что действительно убедить Фелисити трудно.

— Этот тиран и подонок, ее муж, наконец умер, оставил бедняжку в покое, она теперь имеет право пожить для себя.

Я знала Эксона (с одним “с”, в отличие от мозолящего по всему миру глаза нефтяного монстра), мне бы в голову не пришло назвать его подонком и тираном, это был вполне симпатичный зануда-профессор, преподавал право в Коннектикутском университете, четыре года назад умер, и с Фелисити ему пришлось ох как несладко. Так я и сказала Джой. Это было очень неразумно. Она вдавила в пол одновременно педали и тормоза и газа, и, когда машина, подпрыгнув, встала — “вольво” на многое способен, но вот мысли читать не умеет, — она непременно захотела выключить фары, чтобы аккумулятор не разряжался, и ринулась с фонариком в лес, спускалась в овражки, карабкалась по склонам, ища оленя, которого она ранила, тут у нее не было ни малейших сомнений. На этот раз я с ней не пошла, я вспомнила про болезнь Лайма, это что-то вроде гнуснейшего затяжного гриппа, им болеешь после укуса оленьего клеща — крошечной, с булавочную головку, твари, которой кишмя кишат именно здешние леса. Клещ прыгает на человека, впивается в кожу и кусает. Если вы не поленитесь тщательно осмотреть себя, при том, что у вас хорошее зрение, и не позднее, чем через сутки, удалите клещей пинцетом, все обойдется, но стоит проглядеть хотя бы одного, и он зароется глубоко в тело, тут уж вы можете проститься с работой на много месяцев. Нет, лучше мне остаться в салоне “вольво”, захлопнуть двери и поднять стекла. Может, эти клещи очень высоко прыгают. Будь это комедия, Джой по законам жанра полагалось сломать ногу, и вокальное выражение ее боли было бы поистине ужасным. Пока я представляла себе эту не слишком человеколюбивую картину, послышался шум, он мгновенно перерос в рев, и в двух-трех дюймах от “вольво” пронесся длинной тенью гигантский тягач с платформой. Слепя огнями и оглушительно сигнала, он скрылся в темноте. Я отключила сознание, как во время рекламы на телевидении, и стала ждать, когда

вернется настоящая жизнь. На меня напал столбняк.

— Водителей грузовиков надо судить! — прокричала Джой, усаживаясь минуту спустя за руль. — Ведь на обочине могут стоять машины с выключенными огнями, чтобы аккумулятор не садился, они об этом совершенно не думают.

— Не думают, — согласилась я. — Только мы-то стояли не на обочине.

Ее оплетенные венами руки вцепились в руль.

— Да, вы истинная внучка Фелисити. — Она немного успокоилась. — До чего вы, англичане, ехидны. Машину чуть в грудку металлолома не превратили, а вы себе спокойненько иронизируете.

Я удержалась от ответа. Остальную часть пути мы ехали молча. Кажется, она что-то поняла. Больше мы не останавливались и не искали сбитых животных. Она всматривалась в несущуюся навстречу темноту и вообще старалась сосредоточиться на вождении. Симпатичная старушенция.

Перелет через Атлантику, потом из Бостона в Хартфорд, путешествие с Джой на “вольво”, пережитый ужас, потрясение, необходимость постоянно сдерживать себя и не говорить того, что думаю, — когда я добралась до Фелисити, я была вымотана до предела. Фелисити ждала нас и слушала Сибелиуса, звук был включен чуть ли не на полную мощность, такое могут позволить себе люди, чьи соседи живут на достаточно большом расстоянии. Освещение было приглушенное, интимное, интерьер минималистский. Она полулежала на кушетке в китайском шелковом халате дивной красоты, выставив напоказ длинные стройные ноги. Ни намека на варикоз, однако я заметила, что колготки на ней непрозрачные, а ведь раньше она так гордилась молочной белизной своей безупречной атласной кожи. Батареи отопления так раскалились, что вряд ли ей было холодно. Со времен нашей последней встречи она стала еще более эфемерной, и это меня встревожило. Фелисити и всегда-то была хрупкой, бесплотной и бледной, с точеным личиком, но сейчас на нее просто хотелось наклеить ярлык: “Осторожно! Стекло!” Ее волосы, так похожие на мои цветом и фактурой, выцвели и поредели, но и от того, что осталось, можно было ахнуть. Зрение у нее было вполне приличное, а уж ум — острее некуда. Выглядела она моложе своей приятельницы Джой. Одна рука у нее была на перевязи, лодыжка забинтована, и она все время старательно держала ее на виду, а то вдруг я решу, что она вполне может сама о себе заботиться. Я была ее родная внучка, и она требовала от меня участия.

— Как тебе езда Джой? — участливо спросила Фелисити, а ведь кто, как не она, втравил меня в этот кошмар. — Надеюсь, она не слишком вопила.

Ничего не соображая от усталости, я в ответ пропела во весь голос “Что ни миля, то могильный камень” — это песня дальнбойщиков о печально знаменитом отрезке лесной дороги, на котором погибло больше водителей, чем во всех Соединенных Штатах вместе взятых, эти слова вынесли в название фильма, над которым я когда-то работала, слабая имитация “Платы за страх”. Если кто-то с водительскими талантами Джой поедет по этой дороге ночами лет пятьдесят, наверняка возникнет легенда об автомобиле-призраке. Я пыталась довести эту мысль до сознания Фелисити, но моя голова опустилась в чашку горячего, с пониженным содержанием холестерина, пастеризованного, обезжиренного, без сахара молочно-шоколадного напитка из банки, и я заснула.

Странно, меня почему-то больше всего измотала беспрестанно возвращающаяся картина: моя подушка там, дома, и на ней спутанные, неухоженные волосы режиссера Краснера. Я сбежала, это ясно. Может быть, я прилетела сюда не для того, чтобы помочь

Фелисити, а чтобы самой спастись от душевной смуты. Фелисити отвела меня, полусонную, в гостевую комнату, сняла с меня пальто и сапоги, помогла лечь и положила под голову подушку. Кажется, с годами в ней проявилось что-то похожее на материнские чувства. Я почувствовала, что я дома. Ну что ж, если я ей нужна, вот я, пожалуйста.

Вот теперь-то мне бы наконец по-человечески заснуть, и как раз в эту минуту сон пропал. Наверное, надо позвонить утром в монтажную, впрочем, нет, не стоит. Социальным работникам приходится закалять свое сердце, чтобы оно не разбивалось от сострадания к подопечным, медсестры должны научиться не оплакивать каждого умершего больного, точно так же и монтажер должен удерживать себя железной рукой и не отдавать всю душу работе. Работа — всего лишь работа. Кончился один фильм — забудь о нем и приступай к другому. Но этот, нынешний, по-настоящему масштабный, попробуй позабыть. Деньги в проект вбуханы колоссальные, плюс три четверти съемочного бюджета на рекламу, студия возлагает на него огромные надежды. Он будет формировать коллективное сознание народов. О нем будут писать все газеты и журналы, рецензиями можно будет покрыть весь земной шар. А монтажера, то есть меня, человека, от которого зависит успех или провал картины — поверьте, сценарий тут дело десятое, звезды двадцать пятое, все решает монтаж, — так вот, моего имени в них даже не упомянут. Сценаристы вечно жалуются, что им не уделяют должного внимания, но это невнимание — просто настоящая слава в сравнении с монтажерской безвестностью. Как, однако, приятно ощущать себя мученицей, долгими одинокими ночами лелеять обиду.

Кровать скрипела. Как и все в доме, она была деревянная. Эти новые дома под старину полны звуков, балки, стропила, перекрытия все время движутся, смещаются и сетуют, дереву не двести лет, как все пытаются изобразить, а всего двадцать. На чердаке резвятся белки и еноты. Если люди захотят предаться любви, весь дом об этом сразу же узнает. Грандиозные морозильные камеры и гигантские стиральные машины, так поражающие английское сознание, словно бы пригвозждают часть дома к земле, хотя весь он, легкий и веселый, кажется, готов пуститься в пляс. Утром я увидела в окно мокрый ноябрьский пейзаж, откуда природа была решительно изгнана. Люди выкорчевали все естественно растущие на земле деревья и засеяли землю травой, ухоженные владения отделялись друг от друга низкими каменными оградами, ни заборов, ни шпалер живой изгороди, как в Англии, чтобы скрыться от постороннего глаза, здесь эту функцию выполняло расстояние. Если вам нечего скрывать и у вас хороший доход, к вашим услугам огромные пространства. Как Фелисити смогла прожить здесь четыре года одна? Я спросила ее об этом утром за завтраком — мягкие вафли из вакуумной упаковки, кленовый сироп без сахара и — слава богу — нормальный кофе с кофеином.

— Я пыталась помочь времени замедлить свой бег, — объяснила она. — Кто-то же должен взять на себя эту заботу. Время поделено между людьми, и чем их больше на земле, людей, тем меньше остается времени. — Интересно, что бы сказал бедняга Эксон по поводу этого ее высказывания, подумала я. Наверное, сделал бы ей строгое замечание и потребовал, чтобы она внятно объяснила, что имеет в виду.

Заумные фантазии Фелисити, как он их называл, приводили его и в восхищение и в ярость. За двенадцать лет совместной жизни с ним ее фантазия почти иссякла, во всяком случае, в моем присутствии она никак не проявлялась. А вот теперь задавленное было своенравное воображение оживает, вновь утверждает себя. Именно этим меня всегда и отталкивал брак: супруги притираются друг к другу, подравниваются до одного уровня и

сами этого не замечают. Нужно свести все к наименьшему общему знаменателю, обезличиться, не раздражать друг друга, иначе вам не жить вместе. И когда вы лежите ночь за ночью рядом с другим человеком, может быть, вы и чувствуете себя защищенной, но еще неизвестно, дает вам этот человек душевную энергию или отнимает ее у вас.

— Досадно, что Эксон умер раньше меня, — сказала Фелисити. — Я и не знала, что так привязана к нему. Любить я его, конечно, не любила. Я никого из своих мужей не любила. Старалась, но ничего не выходило. — Она сказала это так печально, что я забыла о Лондоне, забыла о своих фильмах, о растрепанном, взмыленном, измученном режиссере Красснере, забыла обо всем, кроме Фелисити. Я положила руку на ее руки — такие старые, иссохшие рядом с моей, и, к моему ужасу, из ее глаз полились слезы. До чего она похожа на меня: скажи мне доброе слово — и я тут же начну плакать от жалости к себе.

— Это все болеутоляющие таблетки, — объяснила она. — Они настраивают меня на слезный лад. Не обращай внимания. Я тебя силой притащила сюда, это нехорошо с моей стороны. Осень, я чувствовала себя такой старой и беспомощной. Но все не так страшно, я справлюсь. Если хочешь, возвращайся домой, я не буду тебя удерживать.

“Ах ты лицемерка”, — подумала я, однако сказала:

— Но ведь я ничего не знаю о жизни в этих краях. Не представляю себе, что такое свободный санаторий, закрытый пансион и прочие заведения, которые существуют по эту сторону Атлантики. У нас в Англии есть только жуткие дома для престарелых. Почему ты не хочешь просто остаться здесь, в этом доме, и чтобы кто-нибудь с тобой жил?

— Это еще хуже, чем выйти замуж, — возразила она. — Такое же одиночество минус секс, который хоть как-то скрашивает жизнь.

Я сказала, что, по-моему, стоит посоветоваться с подругами, узнать, как они поступают в подобных обстоятельствах. Ее лицо изобразило презрение. Я поняла, какого она о своих подругах невысокого мнения.

— Никакие они не подруги, — отрезала она. — Так, знакомые. Я не пускала Джой ехать за тобой в аэропорт, но разве с ней сладишь. Пока я вас ждала, я умирала от страха.

Она хотела, чтобы после завтрака мы пошли погулять, но я ее отговорила. Я не уверена, что олени клещи строго придерживаются границ леса, а любоваться было, в общем-то, нечем: все та же длинная, широкая Дивайн-роуд и вдоль нее на более чем почтительном расстоянии друг от друга солидный новострой под старину. В них живут разные, но все в высшей степени респектабельные люди, объяснила Фелисити, и чем дальше между ними расстояние, чем больше их участки, тем к более престижному обществу они принадлежат. Деньги в Соединенных Штатах тратят на то, чтобы быть как можно дальше от людей, и это странно, потому что места очень много, но, наверное, считала она, людям хочется забыть об ощущении тесноты, от которой бедняки бежали из Европы в Новый Свет. Вдоль этой улицы-дороги жили бизнесмены, которые весьма преуспели в страховом бизнесе или в компьютерном и в большинстве своем рано удалились от дел, их жены работали по несколько часов в день в фирмах по продаже недвижимости или в клиниках нетрадиционной медицины или занимались благотворительностью; были среди владельцев особняков также университетские профессора, чуть моложе Эксона, но такие же занудные, и никого, кто был бы близок ей по духу. С теми, кто был близок ей по духу, мисс Фелисити (так любил называть ее Эксон и с его легкой руки стали называть все) рассталась сорок пять лет назад. Интересно, что случилось с мисс Фелисити, когда ей было под сорок? Примерно в это время она вышла замуж за богатого гомосексуалиста из Саванны, это был ее второй и самый

благоразумный американский брак. После его смерти ей достался пейзаж Утрилло — белый период, парижская улочка, голая ветка дерева, — очень хорошая вещь, сейчас она висела на почетном месте в мрачной высокой гостиной “Пассмура”, куда никто не заходил, гостиная соединялась с роскошным холлом — плавный полукруг лестницы и никогда не запирающаяся парадная дверь. Во вторую ночь — в первую я слишком устала и мне было ни до чего, — так вот, во вторую ночь, когда Фелисити ушла спать, я прокралась в холл и заперла дверь.

— Поздновато искать людей, близких по духу, — заметила я. — Пусть ты их даже встретишь, как это распознать? Неужели комфорта и спокойствия не довольно?

Она сказала, что я вечно смотрю на все сквозь черные очки, и я ответила: “Не сердись”, хотя никто никогда меня в таком грехе не обвинял. В деньгах у нее недостатка не было: Эксон, который умер от инсульта на следующий день после того, как сдал своему издателю рукопись исторического очерка “Боевой путь шлюпа “Провиденс”, прекрасно ее обеспечил. Он очень удачно застраховал свою жизнь, как и все, кто живет в окрестностях Хартфорда. Фелисити после его смерти могла уехать куда угодно, делать все, что вздумается. Однако она осталась жить там, где жила, наверное, для того, чтобы заплатить скукой своего существования долг милейшему, нуднейшему Эксону — четыре месяца вдовства за каждый год супружеской жизни, это тридцать три процента, очень высокая ставка. Теперь, оправившись от того, что ей выпало на долю пережить, она начала готовиться к следующему броску в неведомое, но в восемьдесят пять лет или в восемьдесят три (не знаю, сколько точно ей лет, она всегда темнила, если речь заходила о ее возрасте, однако сейчас дожила до такой поры, когда годы из тщеславия прибавляют, а не убавляют) бросаться в неведомое следует очень осторожно: совсем недалеко, в тумане, стоит толстая кирпичная стена, и эта стена — ожидаемая смерть. Фелисити не может этого не знать, у нее довольно здравого смысла, поэтому она и попросила моего одобрения, словно желая заплатить еще один долг, на этот раз долг будущему. Я была растрогана и близка к тому, чтобы захотеть детей, своих собственных детей и внуков, но это быстро прошло.

К полудню выяснилось, что с решением мисс Фелисити начать новую жизнь надо поторопиться: позвонила по мобильному телефону Ванесса, одна из соседских жен, работающих в агентстве по продаже недвижимости, и сказала, что есть клиент, которому нужен именно такой дом, он готов купить его вместе с мебелью за девятьсот тысяч долларов, но хочет въехать не позже чем через месяц. Мисс Фелисити, столкнувшись лицом к лицу с реальностью, которую сама же на себя и накликала, слишком гордая, чтобы идти на попятную, растроганная моим участием (я проснулась ночью от гнусного шкурного страха, что вот теперь, когда мы так славно подружились, она передумает и захочет переехать в Лондон, чтобы быть рядом со мной), сейчас успокоилась и решила, что лучше всего ей остаться в этих краях, более того, смирилась с мыслью о жизни в пансионе. И начнет искать что-то подходящее сегодня же.

Джой, которую позвали пить кофе и которая сегодня была в желтом хлопчатобумажном вельвете с розовой лентой в волосах, встревожила такая спешка. Если Фелисити подождет, она сможет взять за дом гораздо больше, заверещала она. Может быть, ее, Джой, зять захочет сюда вернуться, может быть, его заинтересует дом, нельзя принимать такие жизненно важные решения второпях. Фелисити, не обращая на ее вопли внимания, спокойно разбинтовала лодыжку.

— Что ты делаешь? — спросила Джой.

— Готовлюсь к жизни в коллективе, — ответила Фелисити. — Не хочу, чтобы люди думали, будто я нуждаюсь в помощи. Давайте посмотрим, есть ли что-нибудь в окрестностях Мистика.

— В окрестностях Мистика! — завизжала Джой, обнажив все зубы. Каждый из них был чудом искусства ортодонтии, но вот с деснами никто ничего не мог поделаться. — Зачем тебе Мистик? Там деваться некуда от туристов.

— А мне всегда нравилось название, — ответила Фелисити.

Джой вскинула свои выщипанные бровки к потолку. Те несколько волосков, что она оставила, чтобы лучше выделялась нарисованная карандашом линия, были седые, жесткие и торчали в разные стороны.

— Я думала, весь смысл в том, что тебе нужна помощь, ты нуждаешься в уходе. Чтобы кто-то помогал тебе утром принимать душ.

— Ну нет, это уж слишком, — возразила Фелисити и вышла из комнаты, кокетливо дрыгнув ножкой, а Джой забыла про улыбку и скрипнула своими белоснежными зубами.

— Ничего у нее с ногой не случилось! — закричала она. — Просто хотела заманить вас сюда и добились-таки своего.

Приморский городок Мистик (население 3216 человек) расположен чуть севернее того места, где река Коннектикут разделяется на рукава и впадает в Атлантический океан у самой границы между штатами Коннектикут и Род-Айленд. Летом там полно отдыхающих и туристов, это не такой фешенебельный и дорогой курорт, как Кейп-Код или южная оконечность Лонг-Айленда, но здесь хорошие дома, чистейшие пляжи, привлекает внимание построенный в 1860 году деревянный мост, который до сих пор разводят, чтобы пропустить идущие по реке суда. Так, по крайней мере, написано в рекламных брошюрах, и так все и оказалось на самом деле. Джой заявила, что непременно поедет с нами на разведку, и мы все

уселись в ее новый и потому пока еще без вмятин “мерседес”, машину купил ей ее зять Джек, занимавшийся раньше продажей автомобилей, и мне позволили сесть за руль.

Видимо, людей преклонного возраста и в самом деле тянет поселиться в окрестностях Мистика: в тамошнем бизнес-центре нас снабдили брошюрами в изобилии. Я понимаю обаяние этого слова — Мистик, оно искушает надеждой, которая нам так нужна, когда жизнь приближается к неизбежному концу, что есть в мире что-то еще, скрытое от постороннего глаза. Близость к природе, возможность размышлять, наблюдая, как садится солнце и бушует море, все глубже ощущать свое единство со вселенной, растворять в этом единстве, пусть ненадолго, мучительное сознание краткости нашего бытия на этой земле. Более ласковую, более милосердную природу в Соединенных Штатах трудно найти. Ни ураганов, ни землетрясений, ни резких перепадов холода и жары, от которых так болят старые кости, только олений клещ, на которого никто не обращает внимания, хотя вызываемая его укусом болезнь очень серьезна и может унести немало стариков и людей со слабым здоровьем. Возможно, еще больше Мистик привлекает тем, что находится на таком удобном расстоянии от Нью-Йорка: не слишком близко, так что никто не станет навещать престарелых родственников каждый день, но и не настолько далеко, чтобы не посетить их разок-другой в месяц. А может быть, сейчас большой спрос на пансионаты для престарелых, их открывают все кому не лень, ведь Америка — страна торговцев, как назвал ее один английский адмирал, узнав, что поселенцы Новой Англии ведут оживленную торговлю с его матросами во время Войны за независимость. Уж не знаю по какой причине, только среди этих озер и лесов, на океанском берегу, вдали от берега понастроили столько домов для стариков, что оставалось лишь удивляться.

Я спросила Фелисити, что именно мы ищем, и она ответила:

— Местность с положительными вибрациями.

Джой фыркнула и заявила, что, на ее взгляд, чистота, квалифицированный персонал, хорошая еда и выгодные условия договора куда важнее.

Положительные вибрации! Вряд ли Фелисити найдет их в Новой Англии. Пейзаж может быть сколь угодно идиллическим и красивым, но злая энергия его кровавого прошлого никогда не исчезнет, здесь почти нет мест, не отравленных ею. Трудно подавить желание красть и мародерствовать, убить врага, завоевать доверие лживыми улыбками, а потом всадить нож в спину; мы не чувствуем этого желания сейчас, но оно просачивается к нам из прошлого. Это все опасное края — первый кусок берега, который был колонизирован в Новом Свете три с половиной века назад. Долго, нескончаемо долго здесь происходили страшные события. Людей вырезали, они умирали от голода, однажды за зиму целиком исчезло одно из первых поселений, — когда весной к берегу медленно подошли суда, моряки не нашли там ни щепки. Никто не знает, что произошло. Мы все ждем Великого Дознания, когда все тайное станет явным, ждем Страшного суда, но Страшный суд никогда не настанет.

Позднее плантаторы с юга сделали это побережье своим летним курортом, вслед за плантаторами пришли чикагские гангстеры, потом крестные отцы мафии. Да и могло ли быть иначе. Подобное притягивает подобное. Яркие краски старых обоев проступили сквозь новые, им только нужно было время, и эти краски понравились новым владельцам. Они вселяли тревогу, что может случиться что-то непредсказуемое, возможно, уже случилось. Ведь отдыхать порой так скучно.

Положительные вибрации! Может быть, это заложено в натуре Фелисити — вечно скитаться по свету в поисках клочка земли, на котором не было бы совершено преступления.

Если так, ей бы лучше перенести свои поиски с Востока на Запад, там история не так густо насыщена событиями. Джой по натуре лежачий камень, Фелисити — перекасти-поле. Фелисити всегда любила слушать, узнавать новое, впитывать знания, Джой все новое отталкивала от себя. Фелисити была любознательна и легко мирилась с небольшими неудобствами и разочарованиями, Джой же боялась малейших перемен. Вот какие они были разные, хотя, видит бог, судьба привела их к одному и тому же, обе жили в одинаковых деревянных домах, обе остались вдовами, только вот Джой сегодня в вырвиглазном желтом вельвете, а на мисс Фелисити летящее кремово-зеленое платье, купленное за баснословную цену на Пятой авеню в магазине “Бергдорф Гудмен”, и в пальто, покрытом вышивкой, с большим вкусом стилизованной под фольклорную, причем покроем пальто скрывает расплывающуюся талию и ссутулившиеся плечи. Впрочем, Фелисити держалась очень прямо. Сзади ее можно было принять за совсем молодую женщину. Только вот щиколотки были слишком тонкие, у молодых женщин таких не бывает.

Из Мистика мы поехали по род-айлендскому берегу реки Мистик в знаменитую резервацию Стонингтон, где стоит статуя индейца пекота с двумя большими каменными рыбинами в руках. Вокруг статуи бродили старики, родственники заботливо поддерживали их под руку, с жужжаньем двигались инвалидные коляски, сидящие в них живые мощи представляли опасность для окружающих. Они приезжают встретиться с прошлым, пока есть хоть капля сил, потому что будущего у них осталось совсем мало, выгружаются из автобусов и толпой устремляются в сувенирные магазинчики. Нам всем хочется считать прошлое нашей страны прекрасным и возвышенным, как и наше собственное прошлое. Джой, однако, отказалась выйти из машины.

— Я же не туристка, — заявила она. — Я здесь живу неподалеку. А эти краснокожие — они все только берут и ничего не дают взамен. Если на нас нападут китайцы, они еще потребуют, чтобы мы их защищали, можете мне поверить.

Фелисити вышла из “мерседеса” и хлопнула дверцей. Но Джой опустила стекло.

— Не осталось ни одного чистокровного пекота! — закричала она нам вслед. — Все переженились с черными. И держат теперь на территориях резерваций не облагаемые налогами казино. Гребут миллионы, а налогов не платят, и все потому, что их предков притесняли. Бедный мистер Трамп, говорят, индейцы выживают его из Атлантик-Сити.

— Ради бога! — умоляла Фелисити.

— Уж это твое английское чистоплюйство! Кому и говорить правду, как не нам, старикам. — Тихие, спокойные люди оборачивались и смотрели на Джой. Ее обсыпанное пудрой, с ввалившимися глазами лицо выступало белым пятном из темноты салона, подбородок она положила на низ бокового окна, и я подумала, что это довольно опасно, вдруг стекло рванет вверх? Кого-то она мне напоминала, только вот кого? И вдруг сообразила: ну конечно, Бориса Карлоффа в “Мумии”. Старые люди часто теряют признаки пола.

— Лично я ничего не имею против них! — кричала она. — Но на их месте я бы не стала называть себя американскими аборигенами. Я была воспитана в представлении, что абориген — все равно что дикарь.

Мы с Фелисити поняли, что надо отказаться от осмотра городка, это единственный способ заставить ее замолчать, и вернулись в машину. Джой победно улыбнулась.

Мы заглянули в два пансиона, но они были построены вокруг площадок для игры в гольф. Те, кто там жил, казалось, только что сошли с рекламных плакатов: крепкие,

выхоленные, с мудрыми благожелательными улыбками, волосы, если они еще остались, причесаны с гелем — кстати, волосы тут у многих, и у мужчин и у женщин, были просто роскошные, хотя не обязательно свои. На мужчинах были яркие тенниски, на женщинах — юбки, водолазки и жилеты. Рядом с ними Фелисити почувствовала себя хилой и немощной. Потом мы по ошибке заехали в дом престарелых, где старики сидели все вместе, со своими ходунками, спиной к стене, и с ненавистью глядели на всех, кто осмеливался к ним войти. Здесь царила такая тихая, безнадежная тоска, что я словно бы перенеслась в родную Англию. Легкие наполнил запах дешевого освежителя воздуха. Фелисити была потрясена. Джой отказалась войти в комнату, которую нам с такой гордостью показали.

— Да я скорее умру! — надрывалась она. — Почему они просто не покончат с собой?!

Если сидящие в комнате и слышали ее, то виду не подали. Руководство слышало, и нас поспешно выпроводили из заведения, однако успели всучить свой прејскурант.

Я сдалась. Все это совершенно не годилось для полета моей бабушки в будущее. Я сказала Фелисити, что если она хочет вернуться в Лондон, я сделаю для нее все, что в моих силах: найду жилье поблизости от меня, даже вместе со мной. Объявила, что готова переехать и жить на первом этаже, в одноэтажном доме, вообще без лестниц, как и положено людям старше шестидесяти. Я говорила спокойно, мое внутреннее сопротивление, минуя сознание, спустилось в живот и дало о себе знать довольно сильной болью: возможно, начался приступ аппендицита.

— Она сведет вас с ума! — закричала Джой. — Вы пожалеете.

Фелисити решительно возразила, что не хочет возвращаться в Лондон, даже если будет жить недалеко от меня. (Боль сразу отпустила.) Я слишком занята работой, у меня своя собственная жизнь. Мы почти не будем видеться, и от этого она будет чувствовать себя еще более одинокой, а я по той же причине буду еще больше мучиться сознанием вины. И потом, она привыкла к Соединенным Штатам.

Англичане живут слишком скученно, слишком оторванно от своей истории, молодым нет дела до стариков, ирландские террористы всюду разбрасывают бомбы, водопровод ужасный, в таком возрасте новых друзей не заведешь. И конечно мы не можем жить вместе. Джой права, или я убью ее, или она меня. Я не стала спорить. Мы возвращались домой в унылом молчании.

— Надо проявить терпение, — сказала Джой, смягчившись. — Не продавай дом клиенту Ванессы. Человек, который хочет въехать в дом не позже, чем через месяц, будет плохим соседом. Ты должна хоть немного подумать и о нас.

Она села за руль, и “мерседес” лихо запрыгал; когда я его вела, мне бы и в голову не пришло, что он на такое способен. Автомобилю было не больше года, и подвеска его вобрала все последние технические достижения, чтобы обеспечить плавность хода. Как Джой удавались эти курбеты, не представляю.

Когда мы вернулись в тихий мир “Пассмура”, мы нашли в почтовом ящике положенную туда брошюру. Ее прислало учреждение, называвшееся “Комплекс “Золотая чаша”. Активное творческое долголетие”. Фелисити пролиставла брошюру за тарелкой подрумяненных в тостере бубликов с корицей, которые она намазала сырной пастой.

— Эта самая “Золотая чаша”, — произнесла Фелисити. — По-моему, не так уж плохо. Там у них живет один нобелевский лауреат, есть доктор философии. Представляешь — иметь возможность поговорить с кем-то, кроме Джой. И надо же случиться такому удачному совпадению, ведь ее прислали именно сегодня!

Совпадение оказалось бы еще более удачным, если бы брошюру принесли не во второй половине дня, а утром, чтобы мы могли заглянуть к ним, когда разъезжали по окрестностям, но я промолчала. Плата в “Золотой чаше” была в два раза выше, чем во всех других учреждениях, где мы сегодня побывали, и с каждым годом пребывания возрастала на десять процентов. И если подсчитать, оказывалось, что через десять лет вы будете платить двойную сумму. Но к тому времени мисс Фелисити будет около девятидесяти пяти. Может быть, не такая уж и невыгодная сделка. Что-то вроде азартной игры: неизвестно, кто в конечном итоге выиграет, а кто проиграет.

Я надеялась, заведение заинтересовало ее не потому, что оно самое дорогое. Выросшая в нужде, Фелисити сейчас по-детски верила во всемогущество денег, она была убеждена, что чем дороже вы заплатите, тем более ценную вещь приобретете. В карте вин она всегда выбирала самое дорогое вино. Заказывала черную икру не потому, что любила ее, а из-за цены.

Как рассказывалось в брошюре, “Золотая чаша” ставит во главу угла здоровую психику своих подопечных. Другьям по чаше (брр! ну да ладно) создают все условия для максимально полной, насыщенной жизни. Возраст ни в коем случае не должен препятствовать самопознанию и активной интеллектуальной деятельности. Другьям по чаше не предлагают утешения, которое может дать религия, для людей высокообразованных это просто неприемлемо, здесь профессионально подготовленный персонал тактично и деликатно помогает им освоиться в системе юнгианских архетипов, что приносит облегчение и наполняет радостью завершающие годы жизни. Если читать между строк, руководство “Золотой чаши” не морочит никому голову чепухой вроде реинкарнации, а говорит, что смерть есть смерть и ничего тут не поделаешь. Оно ставит целью добиться примирения с тем, что произошло в прошлом, потому что в будущем вряд ли что-нибудь произойдет. И оно не боится произносить слово “смерть”, в отличие от всех остальных.

Все это казалось убедительным, и мы с Фелисити соблазнились. Почему я не восстала со всей решимостью против пансиона для пожилых людей, обитателей которого называют другьями по чаше, почему не сообразила, что связь с Экклезиастом, которую я здесь почувствовала, близка к нулю? В брошюре Экклезиаст не упоминался.

И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: “нет мне удовольствия в них!” Доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем^[2].

Как там дальше? Моя мама Эйнджел заставляла меня учить отрывки из Библии. Это был ее дар мне на всю жизнь, и еще, конечно, сама жизнь.

...И зацветет миндаль; и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы... доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника... И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его^[3].

Фелисити никогда не признает, что золотая чаша — или золотой кувшин — уж не знаю,

какой смысл вложен в этот образ, — с трещиной. Никогда не настанет день, о котором она скажет: “Нет мне удовольствия в нем”. Ничего хорошего из этого не выйдет. “Суета сует, — сказал Екклезиаст, — все — суета”. Но мы были беспечны и вверили свою судьбу случайному совпадению.

На следующее утро Фелисити достала “И-цзин”, древнекитайскую “Книгу перемен” с предисловием самого Юнга, и решила погадать, что ей выпадет относительно “Золотой чаши”. В середине шестидесятых годов, когда Фелисити было за пятьдесят, а я только родилась, все повально увлекались “Книгой перемен”.

Она взяла карандаш и начала бросать монеты, но тут в стеклянную дверь ворвалась вопящая Джой — видение в оранжевом с малиновой лентой в волосах, она сегодня явно решила поразить весь мир. Фелисити поспешно закрыла монеты листом бумаги — придется гадание отложить. И все мы в радостном волнении отправились в “Золотую чашу” на разведку — Фелисити, Джой и я — в “мерседесе” Джой. За руль, как и вчера, села я. Нам вдруг стало очень весело.

— Это заведение окажется таким же кошмаром, как и все прочие, — убеждала нас Джой вполне нормальным голосом. Она надела свой слуховой аппарат, утро выдалось солнечное, мир стал немного уютнее. — Вообще-то приятно, когда тебя везут. — Она сегодня захватила с собой фляжку с водкой и, сидя на заднем сиденье, время от времени прикладывалась к ней. Я видела Джой в зеркальце. Она явно решила, что мне можно доверять.

— Я не успела прочитать гексаграмму, — призналась мне Фелисити по дороге. — Мне выпало “Постоянство”, тяготеющее к “Стиснутым зубам”: тридцать вторая гексаграмма, тяготеющая к двадцать первой: много прерывистых линий, это означает, что наше положение очень неустойчиво.

Я не слышала подобных разговоров с детства, моя мама пачки чая не покупала, не посоветовавшись с “Книгой перемен”.

— Вот как, — отозвалась я. — Это хорошо или плохо?

— “Постоянство”, — процитировала она по памяти. — “Успех. Хулы не будет. Углубленное постоянство. Благоприятно иметь, куда выступить”.

— Например, в “Золотую чашу”?

— Думаю, именно так это и следует понимать. А ты как считаешь?

Я сосредоточила все внимание на дороге. За холмами мелькнул клочок моря, тонкий клин синевы, растворяющейся в дымке неба. Славный денек, даже не верилось, что стоит ноябрь; ночью дул резкий, порывистый ветер, но потом стих, и небо сейчас было акварельно чистое. Может быть, именно в такой день солнце осветило паруса на приближающихся к берегу ладьях викингов. Может быть, в такой день капитан какого-нибудь английского капера поднялся, шатаясь, на палубу и сказал: “Славное утро, даже не верится, что ноябрь”, — а про себя подумал: “Интересно, доживу я до вечера или нет?” В прежние времена о смерти думали постоянно, не то что сейчас, и от этого настоящее наверняка казалось особенно прекрасным. За ночь облепленные мокрыми листьями деревья обнажились и теперь стояли голые и очень красивые.

— Бедняга Джой, — громко сказала Фелисити, чтобы все, кому это интересно, могли слышать. — Совсем стала алкоголичкой.

Джой выключила свой слуховой аппарат.

Сестра Доун обвела взглядом пейзаж за стеклянной дверью “Атлантического люкса”, который доктор Роузблум так недавно и так неожиданно освободил, и отвернулась. Она не любила лес, которому позволили так близко подобраться к границам владений. Здешняя природа казалась ей слишком мягкой, вкрадчивой, обволакивающей. Она чувствовала, что словно бы окружена здесь со всех сторон, связана, несвободна, как будто ее жизнь по-настоящему еще не началась.

Небо было слишком маленькое. И было слишком тихо. Если вслушаться в тишину, можно услышать утомительный шум океана — аккомпанемент к пению какой-то птицы. Здесь можно гулять, и у всех есть любимые места для прогулок — у всех, кроме нее.

По коридору мимо закрытой двери прошла стайка обитателей “Золотой чаши”, их голоса заполнили коридор. Они декламировали хором и нараспев — сестра Доун порадовалась, хотя они могли бы декламировать стройнее, — возвращаясь из библиотеки с сеанса групповой терапии по гармонизации духовных сил; они все еще несли в себе заряд бодрости и воодушевления, который каким-то чудом смог накопиться в их немощных организмах:

Что делают друзья по чаше?

Пьют радость жизни из полной чаши.

Самогипноз не всесилен, что бы там ни говорил о нем доктор Грeпалли, в конце концов *joie de vivre*^[4] гаснет от боли в суставах и от потери зрения. Снова наступила тишина. Что-то хмурое, наводящее тоску стояло сегодня между сестрой Доун и радостью жизни. Все вызывало досаду. Люди восхищаются великолепными красками осени после первых холодных утренников, а ей осенний убор деревьев казался кричаще ярким, как краски в детском наборе. И теперь, в ноябре, когда наряд с деревьев слетел и они стоят мокрые, голые, в них тоже нет никакой красоты. Ей хотелось вернуться домой, где расстилаются бескрайние поля пшеницы, а над головой бездонный купол неба, где дороги прямые, пыльные и желтые и даже в это время года сухие; где жизнь проходит не под шум моря, а под вой ветра, где смерчи налетают как неожиданная кара Господня, заставляя вспомнить о грехах, а вместе с грехами и о спасении. Но вернуться домой она не может. Деньги она зарабатывает здесь, здесь сумела устроить свою жизнь. Конечно, там ничуть не меньше стариков и так же нужно ухаживать за ними, но тамошний народ тертый и недоверчивый. Методы доктора Грeпалли им вряд ли понравились бы, скорее вызвали бы подозрение, к тому же местные нелегко расстаются со своими денежками. Пекутся не столько о собственном комфорте и состоянии духа, сколько о детях, хотят, чтобы то небольшое, что они скопили, досталось после их смерти им. И конечно эти люди, из поколения в поколение занимающиеся сельским трудом, впадают в отчаяние, дожив до немощной, безобразной старости: кому ты нужен, если у тебя не сгибается спина и ноги отказываются ходить. Здесь, на процветающем побережье Северо-Востока, престарелые живут дольше и лучше сохраняются. Без сомнения, они нажили за свою жизнь больше денег, меньше трудясь.

Сестра Доун получала часть прибылей “Золотой чаши”, она убедила доктора Грeпалли,

что это честно и справедливо. Она открытым текстом не просила его жениться на себе, и он ей открытым текстом не отказывал; точно так же она не грозила ему сообщить об их отношениях попечительскому совету фонда “Счастливая старость” (его состав был изначально определен отцом Джозефа, доктором Гомером Грепалли), а он не просил ее скрывать их любовную связь.

— Доун, надеюсь, ты это делаешь, потому что тебе самой хочется, а не в надежде прибрать меня к рукам, — сказал он однажды ее подпрыгивающей под одеялом голове. — Ты бы вообще всё и вся прибрала к рукам, сама прекрасно понимаешь. Меня это устраивает, устраивает и наших подопечных. В старости гораздо легче жить, если кто-то за нас решает, что мы должны делать, пусть даже нам этого не хочется. Но тебе следует накрепко усвоить: шантажа я не потерплю.

— Совету это не понравится. — Потрясенная, она вынырнула из-под одеяла.

— Совету на это наплевать, — сказал доктор Грепалли. — Они там все сторонники свободной любви, борцы за гражданские права и свободу мысли, сформировались во времена, не ведавшие СПИДа, экзистенциалисты, в солидном возрасте — всем за шестьдесят, и все куда более терпимы, чем наше поколение. Тем не менее я считаю, что будет справедливо отдать тебе двадцать процентов моей годовой премии от повышения доходов нашего заведения, потому что ты отлично поддерживаешь состояние моего духа и заботишься о душевном и физическом здоровье наших подопечных, которые души в тебе не чают. Как и я.

Доктор Грепалли слишком хорошо знал себя и был слишком ироничен и потому никогда не поступал так, как ему действительно хочется, — вернее, так, как ему хочется, чтобы поступали с ним, иначе говоря, чтобы его связала осатаневшая баба в халате медсестры, оскорбляла, топтала ногами и била плеткой; сестра же Доун была посланный небом компромисс, он был согласен ей платить, и это вносило некую приятную невнятицу в их отношения. Деньги были частью молчаливого соглашения, и оба это знали.

Сестра Доун не зря получала свои двадцать процентов в виде кругленьких семисот долларов в неделю сверх положенного ей жалованья, причем этой сумме предстояло расти. С каждым годом плата за пребывание пациентов в “Золотой чаше” не уменьшалась, а увеличивалась, и это было оправданно. Им требовался все больший и больший уход. Все чаще надо было приносить и уносить подносы с едой, покупать все больше лекарств, терпеть все больше чудачеств и бороться с потерей памяти. Случалось, родственники и юристы протестовали против принятой в “Золотой чаше” системы взносов, видя, как с каждым годом тает ожидаемое семьей наследство, но постепенно начинали понимать, что эта система разумна. В конце концов, чем дряхлее родственники, тем меньше шансов, что кто-то захочет снова взять их домой.

Чем дольше пробудешь тут,
Тем дороже с тебя сдерут.
Тебе повезло, друг по чаше!

Обитатели “Золотой чаши” знали, что у руководства есть серьезный стимул поддерживать в них жизнь насколько возможно долго, и это, конечно, был плюс для заведения, хотя вслух тема не обсуждалась. Если ваши комнаты опустеют, как опустели

комнаты доктора Роузблума, то новый жилец поселится в них за меньшую плату. Обитателям “Золотой чаши” внушали мысль, что пансион — их дом, а все живущие здесь — их семья, в надежде, что мало-помалу их связь с настоящей семьей ослабеет. Так было легче для всех, посмотрите хотя бы на монахов и монахинь. Ведь пациенты старше восьмидесяти лет мало чем от них отличаются, секс перестает быть побудительной силой в их жизни, теперь они могут сосредоточиться на жизни духовной. Конечно, семье и друзьям позволялось посещать их, но эти визиты не особенно приветствовались. Слишком часто новости из внешнего мира расстраивают. Родные приезжают лишь для того, чтобы принести дурные известия беспомощным старикам, которые ничем не могут помочь беде. Кто-то умер, кого-то посадили в тюрьму, кто-то развелся, прапраправнуки сидят на игле...

В общем и целом, родные, которые оказались рядом с нами в конце нашей жизни, приносят нам только разочарования — так, по крайней мере, считали в “Золотой чаше”: разве о таком мы мечтали в юности? Дети и внуки, как правило, некрасивые, хотя маленькими были очаровательны, дурные гены так легко побеждают хорошие. Красивый жених оказался единственным исключением в семье, где лица у всех тупые, как зад автобуса, это выяснилось только во время свадьбы. Позвольте лишь одному сыну жениться на дурочке с крупными кривыми зубами — и на свет родится целое племя кривоzubых, которые нуждаются в услугах ортодонта, но не имеют ни желания, ни ума заработать денег и оплатить его услуги. Если бы сын не пошел в тот вечер на танцы, а влюбился бы в умную энергичную девушку с мелкими ровными зубками, какие красивые дети, внуки и правнуки пришли бы к вам через много лет на семейное торжество, насколько больше было бы у них у всех денег. Видя, как много в жизни зависит от случая и как мало от нашей воли, старики часто впадают в хандру. Это несправедливо, несправедливо! Знакомый крик, так кричат и маленькие дети. Только в промежутке между началом и концом нам кажется, что мы способны что-то изменить.

Обойщики и маляры собирали свои инструменты в люксе доктора Роузблума. Сестре Доун понравилось, как они отделали комнаты, но она им этого не сказала. Вместо слов одобрения она нашла полосу обоев, которая была якобы чуть сдвинута и расстояние между розовыми полосками якобы чуть нарушено. Обойщики стали извиняться и, посоветовавшись между собой, согласились на меньшую оплату. Сестре Доун полагалась также доля того, что ей удавалось сэкономить из средств бюджета, отпущенных на текущий ремонт, в распоряжении которыми она недавно обнаружила серьезные недостатки.

По мнению сестры Доун, не следует быть слишком щедрой на похвалы, потому что те, кого хвалят, перестают стараться. Будь у нее дети, они бы выросли невротиками-честолюбцами: придут они, например, домой счастливые и с гордостью скажут матери, что получили серебряную медаль, а она с презрением фыркнет — почему не золотую? Опозоренные обойщики тихонько ушли. Сестра Доун обошла апартаменты, внимательно разглядывая каждую мелочь и пытаясь представить себе следующего жильца. Она их выбирала как числа лотереи: призывала на помощь удачу и старалась угадать, какое число появится на экране.

Ванная была очень мило облицована плиткой под мрамор, которую вполне было можно принять за настоящий мрамор, уборную украшали лепные золоченые ангелочки. Сестра Доун решила, что запасным кандидатом пусть будет та самая восьмидесятилетняя Пулицеровская лауреатка и курильщица. Ей предложат занять апартаменты при условии, что она бросит курить. Она даст обещание, но не бросит, и с самого начала сестра Доун получит

психологическое преимущество над ней. Если говорить честно, то рака легких можно не опасаться, если вы прокурили восемьдесят лет и он не свел вас в могилу, значит, никакая онкология вашим легким не грозит, да и другим органам тоже, вы умрете от инсульта, или от инфаркта, или просто от того, что исчерпался ваш жизненный ресурс, а это случается с людьми, когда их возраст приближается к сотне. Пулицеровская лауреатка поджарая, строптивая и крепко пьет, такие живут долго. Не самый плохой кандидат на место в “Золотой чаше”, подумала она.

Внимание сестры Доун привлек “мерседес”, въехавший в приоткрытые чугунные с золотом ворота — точная копия ворот у входа в Гайд-парк, поставленных там в честь королевы-матери, которой как раз исполнилось девяносто восемь лет — прекрасный возраст. “Мерседес” не поехал к парадному входу, где, как естественно предположить, находится стоянка, а подкатил к стеклянной двери “Атлантического люкса” доктора Роузблума, чье имя всем надлежит забыть, и остановился в нескольких футах от сестры Доун, печалившейся по поводу пейзажа. Из машины вылезли три женщины — тощая девица в свитере и джинсах, с боттичеллиевскими волосами и высоким лбом, и две дамы преклонного возраста. Одна лет семидесяти пяти, одета чудовищно: оранжевый вельветовый тренировочный костюм и малиновая лента на голове, талия расплылась, а это не обещает надежного долгожительства; зато другая в чем-то странном, легком не по погоде и летящем, на вид сублинная, но явно заслуживает внимания. Чуть за восемьдесят, хотя с первого взгляда можно дать лет на десять меньше. Возможно, в прошлом актриса или балерина. Движения легкие и энергичные, спина почти прямая — гормонозамещающая терапия лет с сорока пяти, заключила сестра Доун, это всегда плюс, — красивая головка изящно посажена на стройной шее, задрапированный вокруг нее шарф тактично скрывает морщины.

— Стоянка у главного входа, в специально отведенном месте! — крикнула сестра Доун, когда приехавшие стали выгружаться; они не обратили внимания, хотя отлично ее слышали.

— Здесь хватает места, — сказала молодая женщина. — Да мы уже и припарковались.

У нее был английский акцент. Что ж, если родственники англичане и живут далеко, тем лучше.

— Мы хотели бы поговорить с кем-нибудь из администрации.

— Я из администрации, — сказала сестра Доун и, сообразив, что это более или менее соответствует действительности, почувствовала себя гораздо уверенней. Пусть ей за сорок и у нее нет ни мужа, ни детей, ни своего дома, один Бог знает, сколько на свете таких обездоленных женщин, зато на ее счету в банке копятся деньги, копятся очень быстро, и она не умрет нищей, как ее всю жизнь пугала мать.

Она смотрела, как Фелисити ходит по роузблумовскому люксу, оклеенному миленькими бело-розовыми обоями, любуется видом, весело смеется над идиотскими лепными ангелочками в сортире, слышала, как та сказала: “Я могла бы жить в таком месте. Оно больше похоже на меня, чем мой огромный, вечно скрипящий сарай”.

Возмущенная Джой закричала во всю мощь своего голоса:

— Мисс Фелисити, это ваш родной дом, не забывайте!

Приятно, что пристанище для себя ищет спокойная старушка, а не крикунья. Если она так вопит сейчас, что будет через десять лет? Голосовые связки обычно отказывают в последнюю очередь. И сестра Доун вздохнула чуть ли не с облегчением, услышав ответ Фелисити:

— Я никогда не умела выбирать. По-моему, больше искать не стоит. Мы нашли то, что

нужно.

Англичанка заспорила:

— Ну что ты такое говоришь. Это же первый пансион, куда мы приехали. Нельзя принимать решения с бухты-барахты.

— Можно, — сказала Фелисити. — И я уже приняла. Что мне выпало сегодня утром? “Благоприятно иметь куда выступить”. Здесь и есть то самое “куда”.

Сестра Доун повела дам по коридорам в парадную гостиную, куда им и следовало с самого начала войти и проникнуться должным благоговением среди бюстов римских императоров на мраморных колоннах-подставках, и сказала:

— Должна сообщить вам, что у нас длинный список ожидающих; мы тщательно проверяем всех кандидатов и потом голосуем “за” или “против”. Мы все здесь как одна большая семья.

Дамы заметно скисли, чего сестра Доун и добивалась. Она предпочитала просителей, а не приверед.

Особа решительная, она уже решила отдать “Атлантический люкс” Фелисити, но пусть та немного потрепыхается, это полезно. Фелисити для “Чашы” настоящая находка, она грациозна, приятно говорит, прекрасно выглядит, и хотя она явно не интеллектуалка, в отличие от Пулицеровской лауреатки, зато не будет досаждать другим обитателям “Чашы” курением. Более того, она цитировала “И-цзин” — “Благоприятно иметь куда выступить” явно из “Книги перемен”, а это означает, что доктор Грепалли возражать не будет. Юнгианцы с этими их глупостями буквально притягивают друг друга.

Вы можете убежать, но спрятаться вам не позволят. Когда мы вернулись в “Пассмур”, там стоял и ждал черный лимузин с нью-йоркскими номерами. Я срочно нужна на студии в Сохо, в монтажной. Я должна вылететь “конкордом” в 21.00 из аэропорта Кеннеди. Я уже говорила, что “Здравствуй, завтра!” — крупнобюджетный проект. Стоимость билета на “конкорд” для заблудшего монтажера ничтожна даже в сравнении с гардеробом от Версаче, который вместе с героями оказался на полу монтажной в вырезанных эпизодах. Размышляя таким образом, я велела водителю подождать, но Фелисити пригласила его в дом и угостила кофе с печеньями. Джой поспешила уехать: бородатый шофер был похож на какого-то дикого горца, и ей стало страшно. Когда она выходила из комнаты, он встал и поклонился с изысканной вежливостью, но ее это еще пуще испугало.

Сначала я никак не могла сообразить, как им удалось меня найти. После полета я обычно плохо соображаю. Правда, я сказала своей приятельнице Энни, куда лечу, но она бы никому меня не выдала; живущему надо мной дизайнеру я оставила ключ от моей квартиры, чтобы выпускал кота, но ему я просто сказала, что еду навестить заболевшую родственницу, и никаких подробностей. И вдруг я вспомнила, что мы с Фелисити в последнее время оставляли друг другу сообщения на автоответчике, скотина Краснер наверняка их прослушал и пустил по следу своих людей. Киношники, если им что-то понадобится, ни перед чем не остановятся. Подкупят операторов телефонной сети и компьютерных взломщиков, выудят все мыслимые и немыслимые гадости о ком угодно. Защищая свое право развлекать публику и зарабатывать деньги — что в сущности одно и то же, — они не знают жалости. Может быть, Краснер пробыл какое-то время в моей квартире после того, как проснулся, — сколько дней назад это было, четыре? До сих пор мне такая возможность и в голову не приходила, я была уверена, что, оказавшись в самое неподходящее время в такой запарке, он проснулся, может быть, нашел кофе и выпил (на здоровье) и сразу же бегом на студию. Будь у него чуть больше времени, он выбрал бы себе для игр и забав яркую и роскошную женщину, а не меня. Мне еще меньше захотелось возвращаться и выручать съемочную группу, мало ли что у них там стряслось. Я позвонила в монтажный отдел, но никто не ответил. Понятно, они там все безумно заняты, разве можно снять трубку, если никто из них не ждет звонка.

Я слегка приободрилась. Мне нравился прозрачный воздух и леса, олени клещи держались на почтительном расстоянии от дома, у Фелисити было хорошее настроение, Джой была забавная, мы провели славное утро в “Золотой чаше”, мир Сохо казался таким далеким, в него совсем не хотелось возвращаться, пусть даже тебе предоставили “конкорд” и осыпали кучей полагающихся его пассажиру подарков в изумительных кожаных футлярах, которые никому не нужны. Фелисити была в восторге от “Золотой чаши”: нам показали великолепную библиотеку, сверкающие чистотой кухни, где готовилась только самая лучшая и самая свежая еда, никаких полуфабрикатов быстрого приготовления нет и в помине; показали столовую, где обитатели могут есть в одиночестве за маленькими круглыми столиками на одного, хотя сестра Доун этого не одобряла: общение во время приема пищи благотворно влияет на процесс пищеварения; показали элегантные гостиные для совместного проведения досуга, флигель для нуждающихся в уходе, где не было ни одного пациента; познакомили со штатом, все были жизнерадостные, энергичные и приветливые;

познакомили с доктором философии, хотя глаза у него были тусклые и говорил он только о том, в каком состоянии находится площадка для игры в гольф. Нам сказали, что если Фелисити хочет, она может привезти свою собственную мебель, хотя обычно друзья по чаше предпочитают расстаться с материальными свидетелями прошлого, чтобы полнее раствориться в настоящем. Она будет жить почти так, как жила дома. По коридору мимо нас шли люди с доброжелательным, осмысленным выражением на лицах, лишь несколько из них двигались в ходунках, а два-три пожилых джентльмена посмотрели на Фелисити очень внимательно, даже оглянулись. Она была очень довольна. Что ж, в царстве слепых и одноглазый — король, а в таком маленьком государстве, как “Золотая чаша”, у Фелисити окажется целая свита поклонников, где бы она их нашла, продолжай жить среди людей моложе себя. Мы заглянули в зимний сад, где проходил сеанс духовной подпитки, и несколько минут послушали — ведь душа так же нуждается в пище, как и тело, считает доктор Джозеф Грепалли, с которым мы имели честь познакомиться лично в его поистине великолепном кабинете. Его комнаты находятся над портиком, это единственное помещение в “Золотой чаше”, куда надо подниматься по лестнице. Широкие окна смотрят на длинный прямоугольный пруд с лилиями. В шкафу ученые книги.

— Мадам, мы должны благодарить счастливый случай, — говорил доктор Грепалли, обращаясь к Фелисити. — Наш проспект кладут в ваш почтовый ящик в тот самый день, когда ваша внучка прилетела из Лондона; вы принимаете решение начать новую жизнь среди людей, близких вам по духу, а наш новый “Атлантический люкс”, в который мы превратили одну из наших библиотек, готов принять того, кто захочет в нем жить. Мне кажется, все это добрые знаки. Сестра Доун, вероятно, сообщила вам, что у нас длинный список желающих стать членами нашей маленькой общины, но если вы будете любезны заполнить анкету, мы постараемся оказать вам содействие и не позже чем через две недели известим о нашем решении.

Привлекательный мужчина, даже я это признала, с живыми блестящими глазами, крепким подбородком, склонный к полноте. Мне нравятся мужчины в теле типа Стэнли Кубрика. Если честно, доктор Грепалли напомнил мне это чудовище — Красснера. Вспоминая тот вечер, я не могу понять, почему я тогда не легла с ним в свою собственную кровать. Мой последний роман кончился полгода назад — так, коротенькая связь. На мою бабушку Фелисити доктор Грепалли явно произвел сильное впечатление. Морщинистые веки опустились, полуприкрыв все еще яркие большие глаза. Ресницы — вы только представьте! — трепетали, она то и дело облизывала язычком губы и сидела, сцепив руки сзади на шее. Она не прочла ни одной из того множества книг о языке тела, которые прочла я, не слышала режиссеров, которые все называют своими именами, иначе не позволила бы себе сидеть в такой позе. С ума сойти, ей восемьдесят пять, она на сорок лет старше его.

Из бокового окна кабинета доктора Грепалли было видно длинное низкое здание, оно стояло чуть поодаль от центральной виллы. Туда нас не водили на экскурсию. Пока я разглядывала здание, подъехала карета “Скорой помощи” и внутрь вошли двое мужчин с каталкой, а на улицу вышли две санитарки: химические блондинки, грубые, крикливые, в “Золотой чаше” таких не встретишь, зато во всех других домах для престарелых их полно. Доктор Грепалли решил, что солнце светит нам в глаза, и задернул тюлевые шторы, скрывшие от взгляда здание. Я не стала его спрашивать, что там происходит. Ясно же, что у некоторых стариков развивается синдром Альцгеймера, кто-то в конце концов серьезно заболевает, кто-то умирает. На других это действует угнетающе, и желательно каким-то

способом изолировать больных и умирающих, то есть это просто необходимо, чтобы поддерживать у здоровых бодрое настроение.

Я прогнала прочь сомнения. Слишком уж все хорошо, даже не верится.

Доктор Грeпалли и моя бабушка беседовали об “И-цзин”. Пусть живые и жизнерадостные откликаются на зов живых и жизнерадостных, пока хватает сил. Джой сидела с разинутым ртом. Вряд ли она до конца понимала, что происходит, потому что снова надела слуховой аппарат и незнакомый голос бил ей в уши нечленораздельным потоком слов.

— Но некоторые из этих людей пели, — возмущалась она по пути домой. — Они все сумасшедшие. А ты видела на кухне картофель? Все клубни разной формы, большие, маленькие, и на них грязь.

— Джой, картофель растет в земле, — объяснила Фелисити. — Он не рождается в супермаркете. В настоящей жизни овощи выглядят именно так. Мне это место понравилось. Все безумно забавно. Теперь остается только ждать, надеяться и молиться.

— Да возьмут они тебя, возьмут! — заверещала Джой. — Им очень понравились твои денежки.

Однако меня ждал лимузин, который приехал специально за мной, в руках у меня билет на “конкорд”, а думала я о Кубрике-Красснере, который там, в Англии. За рулем сидел водитель, его звали Чарли, он был похож на дикого горца из “Трех перьев”, глаза сверкали, от такого добра не жди, он многозначительно смотрел на часы. Не стоит выводить его из себя.

— Возвращайся в Англию, София, — сказала Фелисити. — Ты сделала для меня все, что могла. Я перееду в “Золотую чашу”. Я просто должна как-то изменить свою жизнь, иначе зачахну.

— По-моему, ты сошла с ума! — завопила Джой. — И вообще ты хочешь продать дом слишком дешево. Я поговорю с мужем моей покойной сестры, с Джеком Эпстайном. Он агент по продаже автомобилей в Бостоне.

Я подумала, что спокойно могу их оставить. Я сделала то, для чего меня сюда позвали: одобрила решение Фелисити. Кажется, она чувствует себя легко и уверенно. Она вполне может обойтись без меня. И я решила не перечить горцу и вернуться домой. Джой была не в восторге, но особенно спорить не стала: то, что я принадлежу к разряду персон, за которыми присылают лимузины из Нью-Йорка, произвело на нее сильное впечатление. Наверное, она решила, что я чей-то личный секретарь. А может быть, визажист.

Пока Фелисити читала толкование гексаграммы в “Книге перемен”, Джой пыталась помочь мне собрать мой нехитрый багаж, то есть металась туда-сюда, налетала на стулья, спотыкалась о края ковров и ужасно мешала.

— Я бы и дальше приглядывала за вашей бабушкой, но не могу! — кричала она. — Это огромная ответственность, а я слишком старая.

— Не волнуйтесь, — ответила я. — Ведь я ее родная внучка, это моя забота.

— А у меня из родни остался только Джек, — ответила она. — Муж моей покойной сестры Франсины.

Джек и покойная сестра Франсина, я заметила, мелькали в ее разговоре довольно часто. Что-то еще ее точило, кроме вины перед бабушкой за предательство.

— Вы, молодые, только о карьере и думаете! — сказала она. — Конечно, я помогу ей вывезти мебель. Кто-то же должен помочь. Думаю, большую часть можно будет сдать на

хранение.

— Не вижу в этом большого смысла, — возразила я. — Разве кто-нибудь когда-нибудь заберет ее обратно? Лучше продать и получить деньги.

Я понимала, что говорю жестокие слова, но ведь это правда. Все склады в западном мире битком набиты мебелью уже умерших хозяев, никто не знает, что с ней делать, и уж тем более — кто законный наследник. Я как-то монтировала документальный фильм об этом, он получил приз — “С собой на тот свет не заберешь”.

— Я попрошу Джека помочь ей распродать антиквариат, — сказала Джой. — Мир полон мошенников, все только и ждут, как бы обвести вокруг пальца одинокую старуху.

Я сказала, что у Фелисити есть только одна действительно ценная вещь, это Утрилло, и его она, надо полагать, возьмет с собой в “Золотую чашу”. Джой спросила, что такое Утрилло, и я объяснила ей, что это картина, и описала ее. Джой не поверила, что картина хоть чего-то стоит, там просто смотреть не на что, впрочем, рама ей всегда нравилась.

— Фелисити ведь не на край света уезжает, — утешала себя Джой. — Всего-то пересечь границу штата. Конечно, там не так респектабельно, как здесь, народец сплошь бывшие, неудачники, художники и поэты, бесконечные распродажи домашнего имущества, оптовые магазины со скидкой. И богатые и бедные норовят все купить по дешевке и при этом бог весть какого высокого мнения о себе. Вот начнут проводить новую федеральную автостраду между Востоком и Провиденсом, это сонное царство сразу проснется. Прощай тогда леса, прощай великолепные виллы, на их месте появится еще один пригород. Цены на недвижимость взлетят до небес, “Золотая чаша” продаст свою землю, и что тогда будет делать Фелисити?

Забьется под крышу сарая,
Снежинки вокруг замелькают.
Озябнет зяблик, малая пташка —
Бедняжка, —

тихонько произнесла я и тут же пожалела, потому что Джой ничего не поняла. Да и как ей было понять? Этот стишок читала мне в детстве мама Эйнджел, когда я начинала бояться и спрашивала, что с нами будет, и мне от него становилось еще страшнее.

Что делать пичуге, когда
Злые придут холода?
Глазки свои закроет,
Когда северный ветер завоет.
Озябнет зяблик, малая пташка —
Бедняжка.

— “Золотая чаша” производит впечатление очень солидного учреждения, — тут же исправилась я. — Администрация отдает себе отчет в том, какую ответственность берет на себя. Они не выбросят ее на улицу.

— Вот-вот, этого они и хотят, чтобы мы им верили, — сказала Джой. — Но облицовка

не мраморная, а под мрамор, и этот кошмарный белый камень такой дешевый, его даром никто не берет. Почему она не может найти себе что-нибудь попроще? Зачем надо вечно быть не как все?

— “И-цзин” очень положительно говорит о “Золотой чаше”, — сообщила Фелисити, когда я спустилась вниз со своей сумкой. Она закрыла книгу и завернула ее в кусок темно-красного шелка, который купила специально для этой цели. Господи, к чему такое священнодействие? — Хотя в будущем возможно что-то вроде судебного процесса. “Так в прошлые времена властители добивались исполнения законов с помощью четко определенной системы наказаний”. Как ты думаешь, что это означает?

— Понятия не имею, — сухо ответила я. — Не понимаю, каким образом шестикратное подбрасывание в воздух трех монет может повлиять на чью-то жизнь.

— Моя дорогая, речь идет не о влиянии, а об отражении. Это юнговская теория совпадений. Но я знаю, ты терпеть не можешь эту стихию образности.

Я сказала, что предпочла бы не обсуждать эту тему. Экземпляр “Книги перемен” лежал у моей мамы Эйнджел в кухне на полке. Ни в какие шелка она ее не завертывала и ни малейшего почтения к ней не испытывала. Черно-красная книга с белыми китайскими иероглифами была истрепана, со следами кофе на страницах, куда мама ставила чашки. “Ну и что, подумаешь, — говорила она, — это все равно что посоветоваться с любимым дядюшкой, мудрым старичком, который знает, как устроен мир. Совершенно не обязательно поступать так, как он советует”. И принималась цитировать предисловие Юнга: “Что касается бесчисленных вопросов, которые вызывает эта удивительная книга, сомнений, несогласий — разрешить их я не берусь. “И-цзин” не заманивает вас доказательствами собственной правоты, не рекламирует себя, не идет вам навстречу. Она, подобно явлению природы, ждет, чтобы ее открыли”.

Однажды Эйнджел принесла из магазина бекон и сардины вместо молока, которое нам было нужно, потому что перед тем, как идти за покупками, она подбросила монеты и ей выпало что-то о свиньях и рыбах, и тут я не выдержала и стала возмущаться:

— Почему ты обязательно должна кидать эти дурацкие монеты? У тебя что, своей головы нет? Хоть бы раз сварила мне кашу. Ты плохая мать!

Она влепила мне пощечину, а я стала бить ее ботинками по ногам. Она редко меня била, а когда это случалось, я ее прощала: она путала меня с собой, ей было трудно различить, где начинаюсь я и где кончается она. Наказывать меня было все равно что наказывать себя. И все равно это неожиданное рукоприкладство означало, что она опять начинает скатываться в безумие, я это знала и ужасно боялась предстоящих недель и месяцев. Я в детской злобе бросалась бить ее в отместку, ведь я была ребенок, и для ребенка это естественная реакция; мне тогда было лет десять. На ее молочной коже оставались синяки, они долго не проходили, и я чувствовала себя преступницей. Кажется, это случилось перед тем, как отец ушел и мы с ней остались одни; он просто не понимал, что у нее расстройство психики. Он считал, что это дурной характер, что она вздорная, капризная, всеми силами старается вывести его из себя и погубить, а меня обожает. Я пыталась ему объяснить, что она сумасшедшая, но он не верил. Ведь если бы он поверил, ему пришлось бы взять на себя ответственность за меня, а он был не из тех отцов, кто на это способен. Он был художник и придерживался старых взглядов: детьми должна заниматься мать. Словом, он ушел и посылал нам время от времени деньги. Я осталась с ней одна, Фелисити приехала только через полгода, чтобы заботиться о нас. Я нашла номер ее телефона в маминой телефонной

книжке и позвонила. У нас давно вышли все деньги, в доме не было ни крошки еды, а маму это никак не тревожило. Бабушка прожила у нас, пока маму не положили в больницу, устроила меня в интернат и вернулась в Саванну к своему старому богатому мужу, тому, кто оставил ей Утрилло. Здесь, с нами, ей было невыносимо. И впрямь такое трудно вынести: приходиться к Энджел в больницу, выполняя долг любящей матери, и видеть, что она привязана к кровати, с белым от бешенства лицом и остекленевшими глазами, слышать, как она с ненавистью проклинает тебя. Тогда не было психотропных препаратов, какие применяют сейчас, а детям позволяли все это видеть. В школе я говорила, что хожу к маме в больницу, но не объясняла, что это за больница. В те времена считали, что иметь душевнобольного родственника стыдно, это позор для семьи, и скрывали от всех страшную тайну. Едва Фелисити улетела, как мама просто умерла. Мне хочется думать, что она знала, что делает, что это единственный выход для нас для всех. Ей удалось задушить себя путами смиренной рубашки. “Подбрось монеты, они откроют тебе будущее”, — весело говорила Энджел в добрые времена и цитировала предисловие Юнга, которое знала наизусть, освобождая меня от обязанности верить в то, во что верила она: “Одному образы “И-цзин” кажутся ясными, как день, другому туманными, как сумерки, третьему темными, как ночь. Эта книга не для тех, кто относится к ней с предубеждением, ведь нельзя заставить себя верить насильно”.

Как будто это сразу расставляло все по своим местам. Я старалась вспоминать хорошее, но вы, я думаю, понимаете, почему я предпочитаю жить киношной жизнью, а не реальной, если только это возможно. Интересно, а почему Краснер так помешан на кино? Нет, пожалуй, я не хочу этого знать, мое любопытство бестактно. Искусство есть искусство, и не важно, что вызывает его к жизни. Кому какое дело, зачем и почему?

Фелисити проводила меня до лимузина. Походка у нее была по-прежнему легкая, голова высоко вскинута: старость не шла ей, это совсем не ее стиль. Мне захотелось плакать.

— Спасибо, что прилетела ко мне в такую даль, — сказала она. — Я тебе очень благодарна. Все стало как-то легче. “Чаша” неплохое заведение, согласна? Конечно, я предпочла бы жить с родными, но нельзя быть обузой.

— “Чаша” забавное место, — согласилась я. — Я бы попробовала. Если тебе не понравится, я снова приеду, и мы будем искать дальше.

Я опустилась на мягкое кожаное сиденье.

— Конечно, ты не единственная моя родственница, — сказала Фелисити. — Была еще Алисон. Хотя, думаю, ей дали другое имя.

Чарли смотрел на часы. Но я не закрывала дверцу, меня как громом поразило. Машина не могла тронуться с места, пока я не закрою дверцу.

— Алисон?

— Алисон родилась у меня раньше, чем твоя мама, — сказала бабушка. — В день, когда мне исполнилось пятнадцать лет. Это было в Лондоне, в начале тридцатых, и я была не замужем. Поэтому меня называли развратницей. Девочке позволили быть со мной полтора месяца, чтобы я кормила ее грудью, а потом отобрали и отдали на удочерение.

— Какая жестокость! Зачем? — Я стояла возле машины с распахнутой дверцей, в самом сердце штата Коннектикут, раздавленная налетевшим на меня прошлым. И ведь это было даже не мое прошлое, а бабушкино.

— Все во имя блага, — объяснила Фелисити. — Все жестокие поступки совершаются во имя блага. Они боялись, что мы передумаем, но разве мы могли передумать, мы, матери без

мужей? Жить нам было негде, идти некуда.

— Кто взял ребенка?

— Не знаю. Матерям этого не говорят, запрещено. Считается, что нам так легче забыть прошлое, а ребенок будет жить, не зная о позоре своего рождения. Нам внушали, что это делается для нашего же блага, а на самом деле нас карали. Но это было давно. Ты не расстраивайся. Ей сейчас под семьдесят, если только она жива.

— У меня есть родная тетка! — Я ликовала.

— Вечно думает только о себе, — фыркнула Фелисити, и этим все и кончилось. Мне было пора ехать. Обычно на машине до Нью-Йорка больше трех часов, но Чарли примчал меня в аэропорт Кеннеди за два с половиной.

Алисон! Тетя, о которой я до сих пор ничего не знала! Если только ее удастся разыскать, если только она жива! Но в западном мире шестьдесят с хвостиком — не такой уж преклонный возраст, скорее всего она еще пребывает в этом мире. Наверняка вышла замуж, у нее дети, внуки, благодаря ей у меня появится множество двоюродных сестер и братьев, маленьких племянников, и все они тут, в Лондоне, рядом. Я получу семью в готовом виде, как кекс из смесей в бабушкином холодильнике: налейте воды, размешайте — и в печь, через сколько-то минут перед вами безупречный монтаж любящего семейства. Сделайте свою жизнь легкой и приятной, покупайте полуфабрикаты. Зачем тратить время на поиски миски и деревянной ложки, сбивать масло с сахаром, пока кисть не онемееет. Развлекайтесь, а семья между тем поспеет, свежая и румяная.

Я сидела в “конкорде” на обратном пути в Лондон, прижавшись плечом к хлипкой стенке корпуса (мое кресло было рядом с окном, но смотреть было не на что, за бортом глухая чернота), пила апельсиновый сок и пыталась понять, откуда взялись эти домашние образы. Когда я была маленькая, мама Эйнджел в свои светлые периоды, которые с каждым годом становились все короче, пекла пироги и торты, а я ей помогала. Вот когда я была по-настоящему счастлива. Мы обе были счастливы. Я выскребала из миски остатки крема и облизывала деревянную ложку, чувствуя сквозь запах ванили вкус влажного дерева.

Я почти все время радовалась, что у меня нет семьи, — во всяком случае, когда работала. В отличие от других, я не мучилась сознанием вины и невыполненного долга, которые неизбежно испытываешь по отношению к родителям, их надо чаще навещать, больше о них заботиться; точно так же и с детьми: желания и долг находятся в извечном конфликте.

“Бабушка в Коннектикуте, больше никого” более чем устраивало меня: она достаточно далеко и уехала туда по своей воле, мне не приходится решать мучительные рождественские уравнения, которые сейчас почти всех вгоняют в тоску: какой пасынок должен идти к какой мачехе, какая дочь к какому отцу, кто приглашает к себе вечно обижающихся стариков. “Сейчас она, знаете ли, переехала в Род-Айленд” — звучит так, будто она не фикция, придуманная раз и навсегда, а живой человек, который может переехать, с которым поддерживают постоянную связь. И который стал лишь чуть-чуть ближе.

Я заметила, признаюсь вам, что стоит мне провести за пределами монтажной два-три дня, и я начинаю ощущать какое-то неудобство, что-то сродни неприкаянности из-за того, что я, в общем-то, одна в этом мире. У других есть родители, дети, родственники, Пасху они проводят в шумном кругу семьи, перед Рождеством составляют длинные списки того, что нужно сделать и купить, а обязательства, я пришла к заключению, менее обременительны, чем свобода, необходимость радоваться жизни в одиночестве иной раз сильно угнетает. Моя лепта в рождественское веселье сводится к тому, что я навещаю могильную плиту мамы на кладбище при крематории Голдерс Грин и с полчаса размышляю о смысле жизни и смерти, пока холод не проберется к ногам сквозь подошвы сапожек. Хоть и достаточно рано пришла к заключению, что никакого смысла ни в жизни, ни в смерти нет. Приятно, когда ты что-то хорошо делаешь, и грустно, что настанет день, когда ты уже ничего не сможешь делать, твое время кончилось. Надеюсь, никто не замечал, какая я бесчувственная. Я притворялась очень храброй. И если надо было работать на Рождество, я всегда охотно вызывалась.

В промежутках между контрактами в моей жизни становились видны трещины. Мало-помалу они превращались в пропасти, куда можно провалиться. Коллеги на студии — это все хорошо и прекрасно, они в тебе души не чают, пока идет работа над фильмом, а потом через неделю не узнают тебя на улице; можно посидеть в баре с добрыми приятелями; коктейли, анекдоты, танцы в ночном клубе как прелюдия к сексу; фильмы, пьесы, театр, книги. Хорошо, когда есть подруги, но подруги выходят замуж или обзаводятся постоянными партнерами и начинают отдаляться от тебя в своем *folie à deux*^[5] или, если появляются дети, то *à trois ou quatre*^[6], а ты незаметно превращаешься в няньку, и прежние отношения заволакивает скука повседневной обыденности, точно липкий туман, дружба съезживается до размеров рождественской открытки; люди, которых ты считала частью своей жизни, ссорятся с тобой, или ты ссоришься с ними из-за какой-нибудь несусветной глупости — надетой без спросу блузки, уязвленного самолюбия, воображаемой обиды, и это всегда огорчает, и нет секса, который бы возобновил и укрепил давнюю привязанность. Считается, будто женская дружба мало чего стоит, но это ложь; считается, будто людей по-настоящему связывают только секс и дети, но, видит Бог, даже этого мало. Некоторые экспериментируют с лесбийской любовью, но меня такие отношения никогда не привлекали: слишком в них много желания властвовать и склонности к переменам, слишком часты ссоры, и все равно ты вздрагиваешь, когда звонит телефон. Он ли звонит или она — какая разница? Странно, но самыми надежными и верными друзьями оказались молодые геи, которые сейчас буквально заполонили Лондон; конечно, они чаще меняют партнеров и разрывы сопровождаются жуткими скандалами, и все-таки их смех так естественно сменяется жалобами и слезами, рядом с ними ты чувствуешь себя словно бы в шумной семье, женщинам такое не удастся.

Когда меня в моем одиночестве одолевают вопросы, что делать и куда себя девать, я просто начинаю работу над новым фильмом. Режиссеры наперебой приглашают меня к себе, работы хоть отбавляй. Я возвращаюсь в монтажную и принимаюсь кромсать и подгонять эпизоды фантастики, вдохновляет надежда на премию, может быть — даже на “Оскара”, если не в этом году, так в следующем, приятно, что в киношном бизнесе меня ценят, хотя бы на киностудии, хоть я и не красуюсь на церемониях вручения “Оскаров” в туалете от Версаче. Ничего, прорвемся. И все же тетка мне очень даже не помешает. Пусть она появится в моей жизни уже готовая, с пылу с жару, без сложностей прожитого вместе прошлого. Тетя Алисон!

Если есть тетя, может быть, заодно есть и дядя? Впрочем, вряд ли. Мужчины в моей семье имеют тенденцию таять и исчезать в ярком свете женских характеров, с которыми их сталкивает судьба. Но в этой самой Алисон не только наша кровь, ведь был же у нее и отец. Кто дал жизнь незаконному ребенку в прошлом веке, в начале тридцатых, и потом сбежал? Явно не слишком хороший человек. Но все равно, как я поняла, Фелисити хочет, чтобы я разыскала ее давно потерянную дочь, иначе не стала бы мне говорить о ней. Или не хочет?

Пожилая дама в шарфе от Гермеса и в кроссовках, сидевшая в соседнем кресле, вызвала бортпроводника. Он явился — подобострастный, недовольный, потирая ладони. На “конкорде” трудно предоставить более роскошное обслуживание, чем в первом классе обычного самолета, точно так же как первому классу обычного самолета трудно перещеголять в этом отношении первый класс дозвукового лайнера. Есть же пределы градации сортов копченой лосося, и как определить разницу между вкусом и качеством отдельных икринок в партии черной икры. Козырями в борьбе за дополнительные тысячи,

которые заплатят пассажиры, служат не только скорость и удобства, нужно еще окружить их роскошью, которая посрамит соперников. Стараются составить как можно более изысканные меню, но фантазии не хватает. Обслуживающему персоналу приходится кланяться все ниже и ниже, а это тяжелая наука, и не всегда удается скрыть недовольство.

— Когда я в прошлый раз летела на этой дурацкой таратайке, в апельсиновом соке была настоящая живая мякоть. А этот, я уверена, консервированный, — пожаловалась моя соседка.

Бортпроводник ушел и в качестве доказательства принес ящик. На ящике была наклейка: “Свежевыжатый сок апельсинов высшего качества”. Она не поверила.

— Откуда я знаю, что сок именно из этого ящика, — заявила она. Бортпроводник предложил привести свидетелей, но она сказала — нет, не надо. Труппа, как она называла экипаж, будет поддерживать друг друга и врать.

— Почему вы не выжимаете апельсины прямо здесь? — возмущалась она.

Он ответил, что на “конкордах” очень мало места. Она на это возразила, что должным образом упакованные апельсины займут не больше места, чем ящики с соком. Он сказал, что нет, займут гораздо больше места, потому что апельсины круглые, а коробки квадратные. Они еще долго пререкались. Даже на “конкорде” люди ищут, чем бы им заняться. Махметр показывал 2.2 — “конкорд” превышал скорость звука более чем в два раза. Металл, которого касался мой локоть, стал неприятно горячим. Я подумала, а вдруг самолет расплавится? И высказала свои опасения бортпроводнику. Он пощупал рукой стенку, и мне показалось, что на его лице, когда-то красивом, но потерявшем привлекательность от привычки изображать угодливость и вечно недовольном необходимостью постоянно оправдываться и что-то объяснять, проступила тревога. Да и как не проступить.

— Такое иногда случается, — сказал он. — Если мы перегреемся, пилот снизит скорость.

И пока мы обменивались этими репликами, стрелка махметра быстро переместилась на отметку 1.5, и металл чуть ли не мгновенно остыл.

— Ну вот, видите, — сказал он с торжеством.

Моя соседка захрапела — спит. Я тоже уснула, и мне приснилась тетя Алисон — домашняя, уютная, как на пакетах с полуфабрикатами кексов. Она обняла меня и сказала: “Ну что ты, деточка, не плачь”. Только и всего, но когда я проснулась, по моим щекам текли слезы.

Разразился грандиозный скандал, теперь наш фильм нипочем не раскрутить — вот, оказывается, что случилось, вот почему меня вытребовали обратно. Такое не часто бывает. Сожительница и возлюбленная Оливии, Джорджия, возмущенная заявлением Оливии, что она-де не лесбиянка, а всего лишь жертва сексуального насилия со стороны школьной учительницы еще в детстве, совершила неудачную попытку свести счеты с жизнью, послав предварительно по электронной почте свою предсмертную записку в средства массовой информации, и ей вовремя сделали промывание желудка. Родители Джорджии еще пуще раздули бушующий в прессе скандал, обвинив нежную героиню нашего фильма, Оливию, в том, что она соблазнила их дочь буквально накануне ее свадьбы со священником. В отделе рекламы началась паника, она перебросилась в голливудскую студию. Оттуда прилетели представители в надежде хоть как-то приглушить скандал, а это случается только в поистине чрезвычайных обстоятельствах. Студийное начальство с удовольствием бы отрубило мне голову, заспиртовало мои мозги и превратило во что-то вроде банка памяти, чтобы иметь их всегда под рукой, но поскольку такое, увы, невозможно, пришлось тратиться на билет на “конкорд”, чтобы доставить в монтажную не только мои мозги, но и мое тело. Американцы вцепились в меня, как черт в грешную душу, и всякий раз, как Гарри закуривал сигарету, чуть не падали в обморок, а он, чтобы доставить им удовольствие, курил еще больше обычного. Американцев было двое: вострый молодой человек и еще более вострая молодая женщина с копной волос и крошечным узким личиком, бедра у нее как у истинной жительницы Лос-Анджелеса, то есть значительно шире, чем у лавирующих в толпе нью-йоркских фемин. Калифорнийцы крупнее, тамошние просторы позволяют. Недалеко Техас — в перцептуальной реальности.

В конце концов сошлись на том, что я перемонтирую любовные сцены с Лео и Оливией и покажу не лихорадку страсти, а скорее ее отсутствие, потому что оба юных героя находятся в поиске, стремясь понять, к какому полу их влечет. Мне это было легче легкого, потому что полностью соответствовало тому, что происходило между ними перед камерой. Конец изменим, отснятой пленки, к счастью, достаточно; традиционная, счастливая развязка станет менее традиционной, зато более убедительной: Оливия идет на закат со своей близкой подругой, Лео — со своим близким другом. Я сумею тактично и деликатно намекнуть, что подруги и друзья вскоре станут любовниками. Теперь фильм можно будет назвать смелым и эпатажным; задуманный вначале как трогательная история юношеской любви, он широко раздвинет рамки современных представлений. В исламских странах Азии он не получит широкого проката, зато протестантский Запад оторвет его с руками. Представители студии были в восторге от собственного изобретения, фильм станет (цитирую) “основополагающим в новой генерации гендерного кино”. Мы пошли в кабачок (это была их идея) отпраздновать великое событие, они пили минеральную воду с газом, разжились кокаином — в Лос-Анджелесе его запасы в последнее время явно подистощились — и последним рейсом улетели домой.

Почти все радовались неожиданному повороту событий — кроме, конечно, Краснера, он кусал меня за шею, пока я занималась тем, за что мне платят, и, что греха таить, платят очень щедро. Все считали, что профессиональные принципы Краснера оказались под угрозой, хотя у меня было подозрение, что он с удовольствием посмеялся бы вместе со

всеми, если б забыл, что надо блюсти репутацию. Сценарист тоже был не слишком доволен, но сценаристы вообще никогда не бывают довольны, ну и, конечно, наш продюсер Клайв, чей фильм теперь потребует дополнительных средств сверх бюджета, совсем спал с лица и пребывал в состоянии шока, но именно за это продюсерам и платят.

— Ты перегрызешь мне шею, — сказала я Краснеру. Однако мне уже почти нравился чуть потный, тревожный, преследующий, как наваждение, запах его дыхания, оно смешивалось с моим, когда он наклонялся надо мной к экрану. Черные пряди взлохмаченных волос сплетались с моими рыжими завитками, которые побеждали в любом сопоставлении благодаря одной своей массе и буйству кудрей. Когда я откидывала волосы от глаз — а мне их то и дело приходилось откидывать, — его пряди взлетали и перепутывались с моими. Между нами возникла некая близость, тем более ощутимая, что мы не провели ту ночь вместе, не пережили разочарования, пока были лишь надежды. Прежде чем появиться в монтажной, мне удалось поспать час-другой дома, постель дружелюбно пахла Краснером, и я, к своему удивлению, ничуть не рассердилась. Он оставил записку, написал, что дал коту глистогонную таблетку — это было очень мило и по-домашнему, однако одеяло не расправил. Впрочем, ведь и я его не расправляла, в тот вечер он лег в скомканную постель.

— Не перегрызу, — заверил меня он. — Я просто нежно тебя покусываю на нервной почве. — И правда, его зубы — все до единого его собственные, в изумительных коронках, или идеально выбеленные и отлакированные, или имплантированные, или что там еще делают сейчас с зубами не слишком молодых людей, — едва ощутимо скользили по моей коже, и его полные губы тоже. В киношной среде не принято протестовать против сексуальных домогательств, это путь в никуда, пусть возмущаются те, кто и без того решил расстаться с кинобизнесом. Вы получите щедрое вознаграждение, но работать больше никогда не будете. Некоторые считают, что оно стоит того, лично я — нет. К тому же мне нравилось, как он меня покусывает.

Через три часа работы Краснеру позвонили из Лос-Анджелеса. Настал его черед выпутываться из моих волос, но несколько прядей так в них и остались. Он взял трубку.

— А, привет, дорогая, — сказал он. — Да, слухи не врут, мы опять по уши в дерьме. Я должен быть здесь. Слушай, раз я не могу к тебе приехать, прилетай ко мне ты, что скажешь?

Я перестала слушать. Еще немного — и я бы вляпалась в такую глупость! Теперь все как ножом отрезало. Мое плечо для Краснера — всего лишь первое попавшееся плечо, на которое можно опереться в беде. Кто-то тронул меня локтем и сказал, что это звонит Холли Ферн — я о ней слышала, да и кто не слышал: новая звезда на голливудском небосклоне, поет, танцует, ну просто новая Джинджер Роджерс, как уверяют ее поклонники (и очень глупо, подумала я, кто нынче помнит Джинджер Роджерс), имеет диплом по философии, о чем пиарщики по дурости всем уши прожужжали — колледж-то из самых захудалых. “Глупость непобедима, — сказала мне однажды мама Эйнджел, — против нее даже боги бессильны”.

Ни у кого нет таких красивых волос, как мои, но волосы еще не все; да, я встаю утром, и мне ничего не надо с ними делать, однако кто угодно может добиться того же эффекта, если готов провести в элитном салоне полдня. Я выкинула Краснера из головы и отодвинула плечо подальше от него. Вернувшись к пульта, он толкнул меня локтем в бок и спросил: “Что стряслось?”, но я не снизошла до ответа. Не надо летать слишком высоко, слишком уж больно, когда упадешь и разобьешься.

Поздно вечером я позвонила Фелисити. Хотела, чтобы она рассказала мне побольше о тете Алисон, но Фелисити уперлась.

— Зря я о ней вспомнила, — ответила она. — Ни к чему это все.

И процитировала “Вкушающих лотос” из Теннисона:

О, долго плыли мы, и волны-исполины
Грозили каждый миг бедой, —
Мы ведали труды, опасности, измену,
Когда среди стонущих громад
Чудовища морей выбрасывали пену,
Как многошумный водопад^[7].

Нет, “Золотая чаша” пока ответа не дала, но если там ей откажут, она все равно продаст дом и поселится где-нибудь поблизости в многоквартирном доме. Приезжал зять Джой, Джек, и сказал, что хочет купить дом, так что пришлось ей отказать Ванессе.

— За сколько? — спросила я.

— За семьсот пятьдесят тысяч, — ответила она.

Я изумилась:

— Но ведь это на сто пятьдесят тысяч меньше!

— У него больше нет, и потом, мне не придется платить комиссионные агентам, ну, и не хочется расстраивать Джой.

— Откуда ты знаешь, что у него больше нет? Потому что так Джой сказала?

— Не понимаю, почему ты так настроена против Джой. Я от нее видела больше добра, чем от тебя, хоть ты и внучка. Да, она отвратительно водит машину, но это не значит, что она плохой человек.

— Ну что ты, добрейшая душа, — язвительно подтвердила я. — Только животных любит больше, чем людей. И на том спасибо. Сестра Джой тоже переедет?

— Она умерла год назад, Джой ее терпеть не могла, а его всегда любила.

Я спросила, не назревает ли там роман, но Фелисити сказала, что за чепуха. Джой терпеть не может секс, но любит, чтобы под рукой был мужчина, надо ведь на кого-то кричать.

Фелисити ничуть не тронула моя тревога по поводу того, что дом продан, а “Золотая чаша” до сих пор не подтвердила, что “Атлантический люкс” принадлежит ей. Она сказала, что в старости становится все равно, где жить, в той ли комнате или в этой, какой стейк есть, — все одинаково не по зубам. По “Книге перемен” ей выпало “Стиснутые зубы. Шихо”. Она должна со всей решимостью прорываться сквозь препятствия. Я поняла, что все это тактика маневренной обороны: она готова говорить о чем угодно, только не о моей канувшей в неизвестность тетке. Я прервала ее и напрямик спросила, кто отец ее первого ребенка. В наше время нельзя принимать решений, касающихся семьи, не посоветовавшись со всеми ее членами, напомнила я ей, ведь если вы отрекаетесь от ребенка, значит, вы отрекаетесь и от всех его детей, внуков, правнуков и так далее, за это вам придется нести

ответственность.

На это она мне колко возразила, что хорошо мне говорить, я-то вообще ни за что не несу ответственности, ведь я не родила ни одного ребенка. Действительно, не родила, подтвердила я, и потому ни перед кем отвечать не буду, мне повезло. А вот она будет, потому что у нее дети есть. Нужно знать своих родственников хотя бы для того, чтобы поддерживать деятельность страховых компаний.

Она сказала, чтобы я не учила ее жить, это смешно: ведь она живет в штате Коннектикут, в страховой столице мира. Нужно только помнить две вещи: если ты страхуешься на случай смерти, это означает, что они делают ставку на то, что ты проживешь дольше, чем сама надеешься прожить, а аннуитет означает, что ты ставишь против них и проживешь дольше, чем они прогнозируют. И у них целые отделы сидят и занимаются этими самыми прогнозами, а ты одна, ну и конечно они, как правило, выигрывают.

Хоть она и увела разговор в сторону, я попросила ее не уваливать от ответа и повторила свой вопрос:

— Кто отец ребенка, которого у тебя отняли для удочерения?

— В хорошем обществе таких вопросов не задают, — ледяным тоном отрезала Фелисити. — И потом, в тебе нет ни капли его крови, какое тебе до него дело?

— Надеюсь, он хотя бы успел снять галоши и представиться, — настаивала я.

Я задела-таки Фелисити за живое, как и надеялась, и она надменно проговорила:

— Разумеется, я его знала, но это не та тема, которую я хотела бы обсуждать. Я родила ребенка в тот день, когда мне исполнилось пятнадцать. Признайся, София, разве ты сама не постаралась бы такое забыть? Сейчас пятнадцатилетние девчонки невесть что творят, а в мое время, в начале тридцатых, это был неслыханный позор. Рожала я в католическом приюте для незамужних матерей, и таким распутным женщинам, как я, во время родов даже хлороформа не давали, тогда это было единственное обезболивающее средство для рожениц. Хотели проучить нас, чтобы больше не развратничали.

— Не помогло. Потом ты родила Эйнджел.

— Я позаботилась, чтобы у меня был муж. И к тому времени уже применяли закись азота с кислородом. Прошу тебя, не вороши прошлое. Я считаю, что моя настоящая жизнь началась, когда я вышла замуж за фермера-птицевода из Саванны. Все, что было до того, я просто вычеркнула из памяти. Оно не имеет ко мне никакого отношения.

Интересно, подумала я, каково ей будет в “Золотой чаше”, где старинная мудрость — не следует думать о неприятном — совсем не в почете. Впрочем, Фелисити при желании может сочинить какую угодно историю своей жизни, если ей так удобнее. Или фантазия иссякает с годами, как иссякают наши чувства и физические силы? Ее голос дрожал от жалости к себе, такого с ней никогда не случалось. Мы попрощались, недовольные друг другом: я тревожилась о ее будущем, она требовала, чтобы я оставила в покое ее прошлое, и все же я узнала то, что мне было нужно, — еще две подробности: день рождения ребенка и место — католический приют для незамужних матерей.

Съемочная группа “Здравствуй, завтра!”, я знаю, оплачивает услуги детективного агентства. На следующий же день я попросила это агентство разыскать Алисон. Мне предложили отнести эту работу на графу прочих расходов по фильму, но я сказала не надо, это расследование лично для меня и платить за него буду я. Все сейчас обсуждали название фильма — не переменить ли на “Завтра... Завтра!” Я не видела разницы. Фелисити родилась шестого октября. Весы, середина знака, красивая и сильная, предпочтительнее в роли

любовницы, чем в роли жены, не подумайте, что я хоть сколько-нибудь серьезно отношусь к астрологии. Вряд ли 6 октября 1930 года в Лондоне в католическом приюте для незамужних матерей родилось много младенцев, и надеюсь, что записи об усыновлении сохранились. И если повезет, те, что мне нужны, не сгорели во время налетов, я всегда считала себя везучей, хоть и узнала во время работы над фильмом “Англия в огне”, какая огромная часть национальных архивов погибла в лондонском блице в сорок первом.

Что ж, если я не могу быть с Краснером, пусть у меня будет семья. Хочу чувствовать, что меня поддерживают, защищают, что у меня есть тыл, чтобы кто-то был рядом, когда я заболею, чтобы кто-то заглянул в мой ежедневник и напомнил, что пора коту давать следующую глистогонную таблетку. Можно сколько угодно писать себе записки с напоминаниями и развешивать их на доске, но как заставить себя читать их? Кто-то должен стоять у тебя за спиной.

Что делают друзья по чаше?
 Пьют жизнь из полной чаши.

В конце ноября Фелисити поселилась в “Атлантическом люксе” комплекса “Золотая чаша”. Дом свой она продала зятю Джой, Джеку, за смехотворно низкую сумму. В последнюю минуту он стал сомневаться, а стоит ли его вообще покупать, и она снизила цену еще на пятьдесят тысяч. Подумаешь, не велика потеря. На ее счету в банке пять миллионов, процентов с них хватит, чтобы оплачивать все расходы, связанные с “Золотой чашей”, хотя если она доживет до девяноста шести, а плата в “Чаше” будет продолжать увеличиваться на десять процентов в год, то дальше ей придется начать тратить сам капитал. Она может позволить себе купить кому-то небольшой подарок, пожертвовать толику на благотворительность, но ведь она никогда не любила наряжаться, ходить на приемы и афишировать свои жертвования. Золото, бриллиантовые ожерелья, декольте, открывающее дряблую кожу, — все это слишком вульгарно для мисс Фелисити.

Душеприказчик Фелисити Берт Геллер, старинный друг Эксона, был очень доволен тем, что наилучшим образом уладил дела своей старушенции — как-то раз Фелисити нечаянно услышала, что именно так он ее за глаза называет, это было неприятно. Ее завещание было в полном порядке, она все оставляла своей внучке Софии, которая живет в Англии. Джой была рада, что ее подруга живет недалеко и к ней можно ездить в гости и что теперь вместо старой одинокой вдовы, за которой надо присматривать, потому что вдруг она упадет, вдруг у нее инсульт случится, соседом ее стал зять, а о нем не надо заботиться, скорее уж он будет заботиться о ней. Так что от перемен все только выиграли.

Теперь, по мнению окружающего мира, Фелисити оставалось только обжиться, успокоиться и тихо-мирно доживать свой век.

Да и что ей здесь не жить? В “Атлантическом люксе” три большие комнаты, крошечная кухня, ванная с позолоченной фурнитурой, вместительная гардеробная; вид из окон радует глаз, комнаты полны света и воздуха. Мир приходил к ней в гости на канале Си-эн-эн, если ей хотелось узнать, что в нем происходит, вообще же в “Золотой чаше” это мало кого интересовало. Большинство предпочитало углубляться в свой собственный внутренний мир и ждать, когда можно будет рассказать о нем на сеансах групповой терапии. Отделка интерьера и мебель были приятные, свои собственные вещи Фелисити отправила на аукцион, она никогда не питала к ним сентиментальной привязанности. Иногда она вспоминала какое-нибудь любимое платье и думала, что-то с ним стало, или изысканное декоративное блюдо, или альбом, куда она клеивала вырезки. Кто-то их украл, или она их потеряла, а может быть, отдала? Зачем вспоминать? Теперь это все не важно. На столике возле кровати стояла фотография внучки в серебряной рамке, исключительно ради спокойствия сестры Доун. Когда Фелисити только что сюда приехала и сестра Доун помогала ей раскладывать вещи, она нашла эту фотографию и поставила ее сюда, и Фелисити в ту минуту не захотелось объявлять бой сестре Доун, лучше подождать до какого-нибудь более важного случая. Фотография кого-то из членов семьи на столике у кровати означала для сестры Доун, что жизнь — а жизнь для Фелисити, как она предполагала,

равнозначна любви — в прошлом.

К тому же София унаследовала боттичеллиевские волосы Эйнджел, а Фелисити не слишком хотелось видеть их и днем и ночью. Поэтому она просто клала фотографию лицом вниз после того, как горничная закончит уборку, а на следующий день горничная снова ее ставила. Этот компромисс всех устраивал.

Фелисити переехала в “Золотую чашу” с жестокой простудой. Из-за слабости и болей в животе она оказалась в большей зависимости от распоряжений сестры Доун, чем ей хотелось. Когда она поправилась, то обнаружила, что ее жизнь расписана до мелочей в соответствии с удобствами “Золотой чаши”, а не с ее, Фелисити, желаниями, — например, за нее решили, когда ей будут подавать в ее люкс завтрак, когда забирать грязное белье и приносить чистое, сколько времени она может проводить в библиотеке, когда ее ожидают на сеансах групповой терапии и так далее. Фелисити пожаловалась доктору Бронштейну; он задумался и потом загадочно произнес:

— Очень странно: когда люди переезжают жить в “Золотую чашу”, многие болеют и чувствуют себя беспомощными.

— Вряд ли это подстроено, — возразила Фелисити. — Никто здесь не заставит нас болеть нарочно.

— Как знать.

Едва Фелисити полегчало, как она вышла пить утренний кофе в гостиную. Ей хотелось общества. Она села за столик к доктору Бронштейну и мисс Кларе Крофт. Они улыбнулись ей приветливо и опустили свои журналы. Мисс Крофт, как оказалось, в тридцатые годы работала корреспондентом “Пост”, сейчас у нее сильно испортилось зрение; за кофе она листала последний номер “Вог”. На ее лице был толстый слой яркого, грубо наложенного макияжа, жидкие волосы заплетены в тоненькие косички, и эти косички свисают с черепа, спина колесом. Фелисити заключила, что Клара, как и многие женщины, не пытающиеся противостоять естественным процессам разрушения, не принимала заместительных гормонов. Доктор Бронштейн был элегантен и читал “Харперс”, правда с помощью лупы. Сестра Доун крутилась и вертелась возле них, старалась подслушать.

Глаза у доктора Бронштейна были с поволокой, как у спаниеля, в уголках скапливались слезинки, он буквально взывал к вашей жалости. Сестру Доун это возмущало. Кроме того, она не одобряла его выбор чтения, для нее подобная литература была китайская грамота, но по условиям договора о проживании в “Золотой чаше” она предоставлялась подопечным заведения бесплатно. Журналы — это, само собой разумеется, “Тайм” и “Ньюсуик”, ну, в крайнем случае “Вог”, хотя в руках Клары Крофт “Вог” — полнейшая несообразность. Мисс Фелисити выбрала для себя “Ярмарку тщеславия”, тоже никчемный журнал, статьи длинные-предлинные, но там, в отличие от “Харперса”, среди текста попадаются фотографии хорошеньких девушек и реклама.

— Мы все приезжаем сюда усталые и замученные, — сказала Фелисити. — И к тому же теряемся в новой обстановке, где нам предстоит доживать свои дни. Иммуниетет у нас понижен, что же тут удивляться, если мы заболеваем. Или нам плохо оттого, что мы вдруг начинаем есть три раза в день нормальную здоровую пищу. Я, например, последние пять лет питалась из пакетиков.

Она отлично понимала, что сестра Доун подслушивает под предлогом того, что надо привести в порядок стоящий в вазе букет. Она обрывала пожелтевшие листья и завядшие цветки и складывала в небольшую сумку. И при этом ничуть не спешила.

— Здоровую? — переспросил доктор Бронштейн. — Забудем, что я слышал это слово, а вы его произнесли. Какое заблуждение считать, будто нам что-то полезно только потому, что оно экологически чистое! Природе нет дела, живы мы или умерли. У нее единственная цель — любым способом дотянуть нас до прокреативного возраста, а когда мы утрачиваем способность воспроизводить себя, она теряет к нам всякий интерес. Мы живем благодаря собственной изобретательности, вопреки ее воле. Нам, старикам, следует относиться к природе как к врагу, а не как к другу.

— Человеческая изобретательность! — прервала его Клара Крофт. — Должна сказать вам, мисс Фелисити, что я видела, как при посадке загорелся этот трансатлантический гигант “Гинденбург”^[8]. Это было в тридцать седьмом году. Одна из самых эффектных воздушных катастроф десятилетия. Я была в толпе убегающих от пламени, это сняли на киноплёнку. До сих пор не понимаю, как я осталась жива.

Сестра Доун слышала про пожар на “Гинденбурге” тысячу раз, ей стало скучно, хоть она и подслушивала: ведь, когда подслушиваешь, интересно каждое слово просто потому, что это все тайком, и она ушла из комнаты. Мисс Фелисити тут же забыла о Кларе с ее приключениями, которые от повторения звучали как с заезженной пластинки, и порадовалась, что находится в обществе мужчины, который в обычной, повседневной жизни употребляет слово “прокреативный”. В лексиконе Джой таких слов нет, Фелисити почувствовала, что ее кругозор расширяется. Стоит только забыть, что у стариков не осталось ничего, кроме старости, что годы стирают все индивидуальное, что и сама ты такая же старая, как все вокруг, и мир начинает казаться не столь мрачным. Клара неожиданно уснула. “Вог” упал на пол и так и остался там лежать. Доктор Бронштейн рассказал Фелисити, что ему восемьдесят девять лет, он биохимик, работал до тех пор, пока его не вынудили уйти на пенсию; еще он с полным доверием открыл Фелисити, что всю жизнь был убежден, что всем в мире правят преступные кланы тайных заговорщиков. Здоровье у него превосходное, хотя он считает, что между коленными суставами из титана и одним пластиковым и другим стальным бедренным суставами (их пришлось поставить более сорока лет назад по медицинским показаниям — он играл в бейсбол за команду своего колледжа, а потом в теннис, а ведь никто так часто не ломает руки и ноги, как спортсмены, но разве об этом думаешь, когда ты молод и полон сил) возникает разница электрических потенциалов, она пагубно сказывается на его умственной деятельности. Речь его так и журчала, и если это была не совсем беседа — он почти ничего не слышал, — то вполне оживленный монолог.

В тот вечер, когда сестра Доун пришла к Фелисити погасить свет — Фелисити просила ее не беспокоиться, она прекрасно может погасить себе свет сама, но сестра Доун расстроилась, и Фелисити так и быть уступила, — она сказала:

— Хочу дать вам дружеский совет. Не уделяйте слишком много внимания милейшему доктору Бронштейну. Он слишком авторитарная личность. Дайте ему волю — и он вцепится в вас и заговорит до смерти.

Фелисити вдруг с ужасом поняла, что эту самую смерть она скорее всего встретит здесь, в “Золотой чаше”. Она не стала просить сестру Доун, чтобы ей принесли на ночь легкий обезжиренный шоколадный напиток, и решила смириться с тем, что сестра Доун сочтет для нее полезным. Что касается фотографии внучки, это и вовсе пустяк, она должна беречь силы для более важного сражения, которое, она не сомневалась, ей в скором времени предстоит. А пока она убаюкает бдительность сестры Доун. Не так ли ведут себя жены с мужьями?

Откладывают объяснение до подходящего момента, а этот момент никогда не наступает. И кончается тем, что из-за одного этого бездействия ты в конце концов начинаешь жить жизнью мужа, а не своей собственной. Но здесь-то, в “Золотой чаше”, зачем это ей?

Сестра Доун принесла ей выпить перед сном полуснятое непастеризованное молоко с размешанной в нем ложечкой акациевого меда — чтобы снились сладкие сны, объяснила она. Едва она ушла, Фелисити встала с кровати и выплеснула тошнотворную жидкость в раковину в ванной, стараясь не глядеть в зеркало в золоченой раме.

В первый день, когда она сюда переехала, ей показалось, что из зеркала на нее глядит лицо старика. Очень ясное изображение, хотя оно в тот же миг исчезло. Она стала убеждать себя, что это от переутомления, но так и не убедила. Да, ей явилось видение. Что ж, такое время от времени с людьми случается, но от видений отмахиваются, иначе можно потерять рассудок. Она только надеялась, что это видение не вещее и что она увидела самое себя через десять лет. Как ни горько, приходится признать, что чем мы старше, тем труднее отличить мужское лицо от женского, однако усы есть усы, и от лохматых бровей над слезящимися глазами тоже никуда не денешься. Неужели наступит время, когда она, Фелисити, перестанет выщипывать пинцетом волоски из ноздрей и из подбородка? Немыслимо! А может быть, на нее смотрел чей-то дух? Кот Фелисити, который прожил у нее десять лет и погиб под колесами автомобиля, месяца полтора после смерти оставался в доме: то она заметит краешком глаза мелькнувший хвост, то вдруг услышит мурлыканье, хотя мурлыкать решительно некому, то что-то пушистое ласково потрется об ее ногу. Бывает, все бывает. Она догадывалась, что “Атлантический люкс” ей достался потому, что умер его предыдущий обитатель, иначе зачем было покупать новую кровать, почему в такой спешке заново отделявали комнаты? И если ей явился тот, чье место она заняла, приветствовал он ее или предостерегал?

Визит привидения был очень коротким: она в испуге отпрянула, а когда снова заставила себя посмотреть в зеркало, то увидела лишь себя. Неприятно, что и говорить. В зеркало смотрится молодая женщина, а на нее из зеркала глядит она же в старости. И если эта старуха к тому же переменит пол, что тут такого особенного? Глядясь в зеркало, вы всегда можете увидеть что-то незнакомое, страх всегда с вами. Так стоит ли пугаться?

Она ничего не рассказала администрации. Старые люди должны быть очень осмотрительны, не надо давать окружающим повода заподозрить, что вы не в своем уме. Фелисити очень недолго пробыла в клинике для душевнобольных во время одного из своих разводов, однако слишком хорошо поняла, как трудно доказать, что ты здорова. Если ты плачешь, потому что тебя заперли в четырех стенах и тебе тяжело, врачи ставят диагноз “депрессия, требующая лечения в стационарных условиях”, и объявляют, что ты не подлежишь выписке. Если ты не плачешь, кто-то другой решит, что ты социопатична и представляешь собой угрозу для общества. Администрация подобных учреждений склонна считать критику в лучшем случае проявлением неблагодарности, а в худшем — доказательством психической патологии, и хотя “Золотая чаша” не относилась к заведениям, где тебя могут удерживать насильно, но уже одно то, что ты стар, ставит тебя в зависимость от людей, которые могут решить, что тебя и твои пять миллионов долларов необходимо защищать ради твоего блага и сохранности этих пяти миллионов.

Разумнее счесть, что неожиданно возникшее в зеркале лицо было не оккультным феноменом, а проекцией ее собственных страхов, и помалкивать об этом. Мисс Фелисити надеялась, что смерть навсегда положит конец всем впечатлениям и чувствам, ей хотелось

со всем покончить, а не начинать заново. И все равно, выливая в раковину переслащенное молоко сестры Доун, она старалась не смотреть в зеркало. Уже поздно, она устала, не было ни малейшего желания испытать шок и потом строить предположения.

Улегшись в постель, она поняла, что не заснет. И позвонила внучке Софии в Лондон. Так, здесь двенадцать ночи, значит, там около семи вечера. Естественно, она отняла, вместо того чтобы прибавить.

София сонно буркнула “алло”, но, услышав бабкин голос, сразу проснулась:

— Фелисити! Что случилось?

— Почему тебе всегда кажется, что у меня что-то случилось?

— Потому что в пять утра просто так никто не звонит, значит, человеку нужна помощь. — Шепот Софии летел вверх, к спутнику, падал вниз и на том берегу Атлантики превращался в шелест. — Подожди минутку, я подойду к другому аппарату.

— Зачем? — спросила Фелисити. — У тебя кто-то есть?

— Что за глупости.

Конечно, у нее был Краснер, длинные пряди его волос разметались на полосатой подушке, по странной случайности повторяющей бело-розовое чередование на обоях “Атлантического люкса”. Холли отказалась приехать к нему в Англию. “Здравствуй, завтра!” вышел на экраны и через два месяца сошел, критика фильм похвалила, в больших городах он имел успех, в провинции не слишком, но в общем обещал окупить затраты. Его напечатали на видеокассетах скорее, чем предполагалось, так что недобор в кинотеатрах возместится за счет аудитории у домашнего камелька. Нельзя сказать, что фильм принес Краснеру бешеный успех, однако ж и урона его репутации не нанес. Он по-прежнему мог капризничать и привередничать, выбирая следующий проект. Гостиницы он терпеть не мог, а от квартиры Софии можно дойти пешком в любое место, куда ему надо попасть. Лондонские такси он тоже не выносил: у них варварская подвеска, и к тому же сначала надо вылезти из машины, а потом уж платить таксисту, у таксистов, видите ли, спина болит, если они поворачиваются к вам. У Софии не хватило духу протестовать, что ж, раз ему так удобно, пусть так и будет. Он был ей благодарен, внимателен и не играл в эмоциональные игры. Она знала, что все это ненадолго. Он был по-детски домашний и все умел. Приносил ей аспирин, когда у нее болела голова, находил куда-то запропастившиеся перчатки, покупал фрукты и всякие вкусности в дорогих магазинчиках Сохо и ставил перед ней; в любви был властный и нежный, хотя всегда казалось, будто он думает о чем-то другом. Подруги ей завидовали. Гарри Краснер, великий режиссер! Она находилась в промежутке между фильмами, один фильм она кончила, другой еще не начался, и она была счастлива, паря в невесомости между нынешней фантастической реальностью и следующим фильмом-фантазией, который ей предстоит делать. Гарри все это понимал. Он сказал, что проживет здесь до марта, пока София не вернется в студию, а он тогда полетит в Лос-Анджелес, сейчас пока у Холли все равно съемки.

Нынче не такая уж редкость приспособливать личную жизнь к профессиональной. Все, кого она знала, так поступали.

Я взяла с постели одно из одеял и прокралась на цыпочках в гостиную, чтобы спокойно поговорить. Гарри, чье тело лишилось ощущения привычной тяжести, плотнее закутался в оставшееся одеяло, но не проснулся.

— Пора тебе кого-то завести, — сказала Фелисити. — Я чувствую, что долго не протяну. Одна-единственная внучка — это же курам на смех. Здесь, в “Чаше”, у некоторых чуть не по двадцать.

— По-твоему, это достаточно убедительная причина, чтобы рожать детей? Я так не считаю. — Я подумала, что если бы я захотела ребенка, то могла бы родить его от Краснера. Просто и спокойно, обманным путем. При нынешних тестах на ДНК можно добиться, чтобы он всю жизнь его содержал. Только разве я осмелюсь? Никогда. Тут вступят в действие могущественные силы, таким, как я, с ними не тягаться. Простым смертным не подобает дразнить сошедших с Олимпа богов. Его ребенок был бы огромным, волосатым созданием, такого не назовешь младенцем, он появился бы на свет, уже умея ходить и говорить, и ничего-то в нем не было бы от меня, ни единой черты. Тема детей от нашего с Гарри союза никогда не обсуждалась. Само собой подразумевалось, что я рациональная, трезвомыслящая коллега по бизнесу. Естественно, я принимаю меры предосторожности. И я их, естественно, принимала.

— Может, ты и права, — отозвалась Фелисити. — Согласна, качество важнее количества. Чем больше в семье детей, тем меньше им достается красоты и ума, и так поколение за поколением. Достоинства сходят на нет, недостатки вроде чуть скошенного подбородка доходят до полного уродства. Нет, пожалуй, София, тебе ни в коем случае не стоит иметь детей. Кровь в нашем роду не слишком хорошая.

Спасибо, Фелисити, огромное спасибо! Возможно, шизофрения и в самом деле наследственное заболевание, возможно, ее ген и вправду очень силен, хотя некоторые это отрицают, и я, конечно, хочу, чтобы они были правы. Я не обрадовалась, что Фелисити мне напомнила об этом, но я и сама боюсь рисковать: родишь ребенка, а он будет ненавидеть меня, как Энджел ненавидела Фелисити. Когда человек переходит от любви к ненависти с такой же легкостью, с какой комфортабельные отели выключают отопление и включают кондиционеры, окружающие теряются и страдают. Чем больше заботы было в любви Фелисити к Энджел, тем яростнее Энджел ее отталкивала и тем больше боялась. В материнской заботе дочь видела желание подчинить ее своей воле, поданный на стол обед означал попытку отравить ее. Энджел была убеждена, что это из-за Фелисити мой отец-художник ушел из дома, она во всем виновата, а вовсе не Энджел, которая вдруг решила, что секс несовместим с искусством, когда же стало ясно, что картины, которые он пишет, не могут сравниться с полотнами Пикассо, — да и кто стал бы этого ожидать? — она перекрестила его в Мазилу. (Вообще-то его звали Руфус, что само по себе не подарок.) Но нет, по мнению Энджел, Фелисити вмешивалась в их жизнь: она платила за его холсты, покупала ему краски, чинила нашу крышу, делала все, что могла. Обвинения так и сыпались: Фелисити должна всех подчинить себе! И так далее и тому подобное. Совсем маленькой девочкой я уловила в маминых приступах безумия хитрый умысел: безумию многое позволено, оно дает тебе право ненавидеть, делать гадости, издеваться над людьми и при этом ни за что не отвечать, ответственность за тебя несут другие. Главная цель — причинить

другим как можно больше зла и горя, оставаясь при этом невинной жертвой. И все же я восхищалась тактикой Эйнджел. Я от нее не слишком страдала, вот Фелисити приходилось ох как несладко. Для ребенка мать со всеми ее чудачествами — нечто само собой разумеющееся: мать всегда защитит ребенка. Злоба Эйнджел, ее бешенство и издевательства редко обрушивались на меня; я лишь однажды почувствовала, что это за ужас, когда она решила, что меня подменили, и отдала в интернат. Накануне вечером, перед тем как везти меня туда, Эйнджел пришла ко мне в комнату, сказала, что я отродье дьявола, меня прислала вавилонская блудница, чтобы шпионить за ней, и хотела задушить меня подушкой. Жутковатая история. Но такое случилось всего один раз, это самое страшное, что мне пришлось испытать. А до того мы с Эйнджел жили нормально, временами с нами жил и Руфус. Мазила.

Когда мне было восемь лет, она решила, вопреки полному отсутствию доказательств, что у меня завелись вши, и обрила наголо тупой бритвой Мазилы, а потом три месяца не пускала в школу. Я была очень довольна. Брала в библиотеке книги и читала их целыми днями, валяясь на кровати, ходила каждый день в кино, иногда по два раза в день — в субботу и в воскресенье. Голову я повязывала косынкой. Часто со мной ходила Эйнджел. Так мы и жили. Школа не обращала на нас внимания. Думаю, там были рады, что Эйнджел не приходит забирать меня у ворот школы. Она иногда так странно выглядела и вела себя тоже странно. Волосы, которые сначала были у меня прямые и жидкие, после бритья наголо выросли густые, жесткие и кудрявые, как у мамы, из-за них-то Красснер и обратил на меня внимание. Я была благодарна судьбе. Если Эйнджел однажды решила, что мы с ней по нравственным соображениям должны жить на улице, какое до этого дело социальным работникам? В тот раз меня отобрали у Эйнджел из нашего с ней картонного ящика под арками вокзала Кингс-Кросс (мы жили в северной части Лондона), и я несколько месяцев прожила в семье, взявшей меня на воспитание; в конце концов мама помирилась с Руфусом и смогла забрать меня домой. В картонном ящике нам жилось отлично. Стояло лето, мы ходили в отель “Риц” и стирали там в машинах свои вещи. Эйнджел всегда очень красиво одевалась, туалеты она крадала в магазинах, если ей что-то понравилось. Ели мы в дорогих ресторанах, а потом удирали. Семья, которая взяла меня на воспитание, покупала мне старье, собранное разными благотворительными организациями, и кормила высохшими бутербродами. И когда я наконец вернулась домой, вши у меня в голове были настоящие, а не выдуманные. А Руфус опять исчез.

Однажды я пришла из школы и увидела, что Эйнджел яростно колотит подушку, в ней, сказала она, сидит дьявол; в воздухе кружатся перья, совсем как снежинки в “Снежной королеве”. Я испугалась и позвонила Фелисити в Саванну. На следующий день, когда перья уже растаяли, а дьявол улетел, в наше полуразрушенное жилище ворвалась закутанная в шарфы и шали бабушка, она причитала, носилась по квартире, приводила психиатров, социальных работников. Если бы я ей не позвонила, наверное, мы с мамой продолжали бы спокойно жить. Сознание у нее то помрачалось бы, то прояснялось, она пекла бы пироги и громоздила баррикады, чтобы в дверь не вошел владелец дома; носила бы плакаты с разными требованиями на Даунинг-стрит; заходила бы в модные рестораны и била там тарелки в знак протеста против убийства телят — задолго до того, как стало модным защищать права животных, и ничего бы со мной не случилось. Еще какие-нибудь двадцать лет — и Эйнджел можно было бы спасти, ведь сейчас есть лекарства, которые удерживали бы ее от срывов и позволяли быть более или менее такой, как все. И у меня по-прежнему была бы мама.

Последние осмысленные слова, которые я услышала от Эйнджел после того, как врачи объявили, что она представляет угрозу для себя и для общества, накололи всякими лекарствами и повезли в психиатрический центр (из которого она вскоре улетит на свободу), а я сидела рядом с ней в карете “Скорой помощи”, были: “Во всем виновата Фелисити”, Фелисити погубила ее, Эйнджел, погубит и меня.

— Твоя бабушка — ведьма, — сказала она. И тут я поняла, что Эйнджел и в самом деле сумасшедшая. Фелисити была самая обыкновенная, чем-то хуже, чем-то лучше других: например, добрее учительниц в разных школах, где я училась или не училась; порядочнее отца, который просто сбежал, вместо того чтобы положить свою жену в больницу, руки пачкать не захотел, бросил меня, своего ребенка, выкарабкиваться как умею. Но школа мне была нужна больше, чем Фелисити, и кино тоже, без него я не могла жить, а уж о подругах и говорить нечего. У меня всегда было много подруг и их мам, мамы забирали меня к себе, если дома у нас бывало плохо. К детям все удивительно хорошо относятся. Знаю, Фелисити сделала все возможное — в пределах доступного ее собственным представлениям о возможном. Но ведь и все так поступают. А последние слова матери забыть трудно — хотя бы потому, что их положено помнить. Да вы и сами все понимаете.

И конечно мне не хотелось, чтобы Фелисити ворошила эти мучительные воспоминания тридцатилетней давности в пять утра. Я предпочла бы лежать рядом с Краснером, наслаждаясь каждой минутой драгоценного времени, пока он со мной, я, женщина без прошлого, без семьи, которая лишь иногда ненадолго покидает монтажную и окунается в живую, настоящую жизнь.

Я решила сменить тему, а то вконец расстроюсь и рассержусь, и рассказала ей новость, которую сберегла напоследок, как в детстве оставляла глазурь на лимонном кексе, который покупала мама, когда у нас была хорошая квартира, как у всех нормальных людей, потому что папа продал картину и мы могли платить квартплату.

— Знаешь, по-моему, я нашла Алисон, — сказала я Фелисити. — Твою давным-давно потерянную дочь. — В кои-то веки за окном была тишина. Любители предаваться излишествам наконец-то разбрелись по домам спать и восстанавливать силы, туристы еще не проснулись, только возле рынка на Бервик-стрит, в нескольких кварталах от меня, все еще грохотали мусоропогрузчики, убирая контейнеры с останками овощей и фруктов. Краснер тихонько посапывал на кровати. Он ночевал у меня третью ночь подряд. Между ног у меня все приятно ныло. Он должен лететь домой в пятницу, а сейчас среда, раннее утро. Когда он улетит, я отнесу вещи в чистку, подстригу немного волосы и осветлю пряди, сделаю уйму необходимых мелких дел, которыми не стоит заниматься, когда рядом с тобой мужчина, потому что дела будничные, повседневные — кинозвезды до такой прозы не снисходят.

На атлантическом конце провода наступило долгое молчание. Лимонная глазурь, о которой я так мечтала, помню, иногда оказывалась кислой, даже горьковатой. Фелисити прервала молчание такой увесистой оплеухой, что и самого кекса в руках не удержала.

— Я не просила тебя ее разыскивать, — ледяным тоном произнесла она. — Я только сообщила тебе, что она существует. И зря. Теперь очень об этом сожалею.

— Я разыскиваю ее не только ради тебя, но и ради себя, — жалко пролепетала я.

— Довольно с меня этой психотерапевтической дребедени, — фыркнула Фелисити. — Для себя, для себя! Почему ты отводишь себе такую важную роль в этом раскладе? Какое тебе дело до того, что случилось со мной семьдесят лет назад и что я потом всю жизнь пыталась забыть?

— Но что тут плохого? Еще один родственник...

Никогда не знаешь, чего ждать от незнакомого человека, считает Фелисити, не важно, родственник он тебе или нет, и это свое убеждение она тут же довела до моего сведения. Постучат к тебе в дверь с улыбкой, а потом спалят дом. Я слишком молода, жизни не знаю. Чем дольше варишься в котле жизни — прощу прощения? — тем гуще и круче становится варево, чего только не оседает на дне, и уж если осело, то пусть оно там и лежит, нечего его вытаскивать на свет божий.

— Так вот почему ты питаешься из пакетов, бабушка, теперь я все поняла. — Я старалась говорить шутливо, не хотела, чтобы мой голос дрожал, и вспоминала, как бессмысленно ненавидела ее Эйнджел. — Куриный суп с овощами и целым набором витаминов, налить воды, довести до кипения — и пожалуйста к столу, и никакой вам мути на дне тарелки.

— Что ты там такое несешь? — возмутилась мисс Фелисити. — Не сбивай меня с толку. Я от души надеюсь, что ты не привела в действие силы, над которыми у тебя нет власти.

Господи, я устала, у меня нет сил, и мне так нужно, чтобы меня любили. Я хочу к маме.

Дверь между мной и Красснером отворилась. Он заворочался во сне. И с ним у меня тоже ничего не получится, я должна быть к этому готова. Я для него всего лишь удобная постель, от меня ему не надо ездить на его разные встречи на такси. Я толкнула дверь ногой, и она закрылась. У меня красивые ноги. Красснер ими тоже восхищается, он любит нежно раздвигать мои пальцы и любоваться розовым совершенством внутри, говорит, если затенить рукой, цвет там становится как у моих волос. До чего смешно ведут себя в постели мужчина и женщина, но какой чудесный праздник среди будней эти ласки и игры любовников — или квазилюбовников, вроде нас с Красснером. Всего лишь секс, всего лишь воспоминания, лекарство от скуки — так, мимолетное приключение, курортный роман, случайная связь не с той женщиной, попытка забыть ту, настоящую, любимую. Только у меня-то никогда не было настоящего, любимого, поэтому с чего я вздумала себя оплакивать? Радуйся тому, что есть.

— У вас с ней всего четверть общей крови и разрыв в целое поколение, — внушала мне Фелисити. — Вас решительно ничего не связывает. Ты в точности такая, как вся нынешняя молодежь: и знать вы ничего не знаете, и понимать не понимаете. Беретесь с налету решать самые сложные проблемы. А большинство проблем вообще не имеет решения.

Здорово она меня отчитала. Я с трудом удерживала слезы. Уж очень неожиданно она нанесла удар. Мы расстались с ней в Род-Айленде так душевно, так ласково, будто мы и впрямь любящая семья, живем сейчас врозь, но очень заботимся друг о друге. Но нет, старые раны болят, и боль вырывается на поверхность, разрушая все вокруг. Мне снова семь лет, мои родители ссорятся из-за меня, отец злится, мама — в лучшем случае в состоянии психической дисфункции (термин в то время еще не был придуман, поэтому и состояние наблюдалось реже, чем сейчас), в худшем — вполне невменяема. Я раскладываю на ковре пасьянс липкими картами и хочу, чтобы он сложился сам собой, чтобы все получилось. Как все-таки унижительно, что узор, который жизнь складывает из вашего детства, будет повторяться потом всю вашу жизнь, до конца дней, и у каждого этот узор свой. Будут лишь слегка меняться формы, но суть останется прежней. Вам давали карманные деньги, теперь вы будете их сами зарабатывать, вместо родителей появятся мужья или жены, но по-настоящему не изменится ничего, разве что узор на ковре, и то если вам повезет. Что такое Красснер, как не пасьянс, который я раскладываю липкими картами и который никогда не

сложится? Я недостаточно красива, недостаточно богата, недостаточно интересна, но главное — я слишком робка, мне не хватает храбрости плевать на то, что думают обо мне другие. Побеждают те, кому плевать на людей. Потому-то Холли и процветает в этой жизни.

— Ну вот, кажется, я тебя все-таки проняла, — сказала Фелисити уже мягче. И вдруг — о счастье! — добавила: — Ах, да делай что хочешь.

До меня донеслись приглушенные голоса, там спорили, потом бабушка снова заговорила со мной:

— Прости, это приходила сестра Доун, объясняла, что нельзя ночью разговаривать по телефону. Помнишь сестру Доун?

— Конечно. А ей-то какое дело?

— Она считает, что разговаривать с родными — все равно что есть на ночь сыр: будут сниться кошмары.

— По-моему, все зависит от разговора.

— Именно так я ей и сказала.

— Но наш с тобой разговор был сам по себе кошмар. Как она узнала, что ты говоришь по телефону?

— Я со своего аппарата не могу выйти на международную линию, только через нашу местную АТС. Вот секретарша ей и доложила. Знаешь, никакой это, по-моему, не дом для престарелых, это учебный центр ЦРУ для освоения современных методов слежки и ведения психологической войны. Ладно, давай прощаться.

Было очень приятно, что Фелисити относит меня к числу родных. Это слово грело и защищало, давало ощущение, что я в конце концов не так уж сильно и отличаюсь от остальных людей. Однако не менее приятно было думать, что это фантастическое существо — моя бабушка — должно подчиняться распоряжениям сестры Доун. Может быть, в “Золотой чаше” я найду союзников, может быть, они поймут, каково это, когда твоя мама — Эйнджел, а бабушка — Фелисити. И тут я почувствовала себя предательницей, почувствовала себя слабой, потому что хочу иметь семью, мне стало жалко Фелисити, ведь ее жизнь подходит к концу, а она не может ее остановить, не может нажать кнопку и перемотать пленку, не может ее перемонтировать: все, фильм вышел в прокат. Теперь не вырежешь скучные эпизоды, их надо прожить в реальном времени, а тело неумолимо стареет, и все усилия “Золотой чаши” не могут ей помочь.

Конечно, я никогда не рожу ребенка ни от Красснера, ни от кого-либо другого. Чем меньше семья, тем лучше. Сейчас вы своих родных ненавидите, через минуту льете о них слезы, чувствуете, что должны им помочь, скучаете о них.

Теперь я слышала в трубке лишь шорох звездных колесниц и пение небесных сфер. Фелисити отключилась. Я еще немного послушала птичье щебетанье космоса и положила трубку. Внизу компания проституток громко цокала по мостовой высоченными каблуками, они, надо полагать, вернулись с какой-нибудь оргии, которую устроили арабские шейхи в одной из фешенебельных гостиниц на Парк-лейн, и теперь весело прощались друг с дружкой. Люди всегда ухитряются находить в своей жизни островки удовольствия, что бы там другие о них ни думали. Они собираются вместе и веселятся. Либо так, либо ложись и помирай.

Я тихонько скользнула в постель к Красснеру, и едва он почувствовал прикосновение моего тела, как его член вырос, будто шомпол, хоть сам он и не проснулся. Я не приписала это ни любви, ни страсти: просто он сильный, темпераментный мужик и у него мгновенная,

здоровая, автоматическая реакция. А я — с меня словно с живой содрали кожу, я вся оледенела, и не было желания воспользоваться столь легкой добычей. Я вернусь в монтажную скорее, чем предполагала, буду монтировать триллер в зале суда “Разве что чудо” режиссер Астра Барнс. Когда Краснер вернется к Холли, я буду по крайней мере занята. Обычно работа успокаивает. Но одной работы мало.

Первого декабря Фелисити поехала на похороны — вопреки сопротивлению сестры Доун и даже доктора Грепалли, который пришел к ней в люкс и стал ее всячески отговаривать. В Мистике в одной из приморских гостиниц был обнаружен труп мужчины, в его записной книжке нашли имя Фелисити и ее адрес — Дивайн-роуд, 1006. К счастью, зять Джой помог полиции и сообщил ее новый адрес. Смерть произошла вследствие естественных причин: мужчина был пьян и захлебнулся собственной рвотой. Его звали Томми Солсберджер. В Мистике он пробыл всего два дня. Полицейские приехали в “Золотую чашу” побеседовать с Фелисити; хорошо, что они предварительно позвонили и сестра Доун попросила их приехать не на полицейской машине и не в полицейских мундирах, так их можно будет принять, скажем, за страховых агентов или за юристов, и те и другие, случается, посещают “Золотую чашу”. Она также убедила их поставить машину у веранды Фелисити, чтобы их появление не вызвало любопытства у других обитателей.

Томми Солсберджер был пасынок Фелисити и сын ее давно скончавшегося первого мужа Джерри Солсберджера, сержанта ВВС Соединенных Штатов, призванного от штата Атланта. Мисс Фелисити охотно это признала. Она понятия не имеет, почему Томми оказался в этих краях, она не видела его лет пятнадцать, но если его появление в Мистике как-то связано с ней — хотя лично она считает это чистой случайностью, может быть, он, как и ее последний покойный муж, интересовался историей военного флота, по внешнему виду судить нельзя, — то, возможно, он хотел разжиться у нее деньгами. Она ему не раз одалживала какие-то суммы в прошлом, хотя он никогда их не возвращал. Он был игрок и пьяница.

Полицейские приехали к ней еще и на следующий день и сообщили, что у Томми Солсберджера в здешних местах живет женщина с двумя его детьми, он пришел к ней, но она его выставила, ясно, что он пытался утопить горе в вине и умер. Фелисити удивила их, спросив, где и когда похороны, и привела сестру Доун в состояние шока, заявив, что поедет его хоронить.

— Вы расстроитесь, — залепетала сестра Доун. — Вы простудитесь и принесете инфекцию сюда, в пансион. Это несправедливо по отношению к другим нашим гостям. Вы совершенно не обязаны быть там. Стариков, как и детей, освобождают от присутствия на похоронах.

— Но я хочу пойти, — ответила Фелисити. И когда ей позвонила Джой, спросила, не составит ли та ей компанию. Джой, к ее немалому удивлению, завопила, что непременно составит, ведь у нее сейчас есть шофер, он возит ее и Джека.

— Нам ведь не обязательно выходить из машины, когда мы туда приедем, правда? — уговаривала ее Джой.

Родной сын — ладно, но бродяга пасынок от неудачного короткого брака, даже и не родственник вовсе — нет, ради него не стоило рисковать простудой. Можно посидеть в “мерседесе” и посмотреть на церемонию из окошка. Она никогда не любила кладбищенские похороны, когда гроб опускают в могилу. В здешних краях не раз свирепствовала чума, конечно, это было давно, но остались массовые захоронения, всем известно, и бог знает, какая зараза там гнездится до сих пор. Наверняка микробы еще живы. Кремация куда гигиеничнее.

— Ты в таком преклонном возрасте, тебя извинят! — кричала Джой в страдающее ухо Фелисити. — Могла бы и не взваливать все это на себя, не понимаю, почему ты не отвертелась.

— Он был в детстве такой прелестный мальчик, — ответила Фелисити, — а когда вырос, отравил всем жизнь. Я иду на похороны в память о ребенке, каким он когда-то был, а не о пьянице и картежнике, каким стал. Если я не приду, кто еще там будет?

— Какие похороны мы заслужили, такие нам и устроят! — прокричала Джой всему миру. Теперь, когда по соседству с ней поселился Джек, ей стало легче самоутверждаться. Она чувствовала себя под защитой. Джек был человек компанейский, когда он появлялся у нее в доме — а появлялся он там каждый день, — вместе с ним врывались вихри мужской энергии. Он делал то, что принято называть мужскими делами. Отвел “вольво” в мастерскую, и там выправили все вмятины на корпусе; нанял рабочих переложить низкую каменную ограду. Даже шторы в его присутствии висели не так уныло, а диванные подушки словно бы сами собой взбивались. Во всем появился смысл. Когда Джек говорил, что она, Джой, напоминает ему покойную сестру Франсину — а он это часто говорил, — она не обижалась и не дулась на него, наоборот, выслушивала его слова благожелательно, почти как комплимент. С тех пор как Джек переехал сюда, она чувствовала, что наконец-то получила то, что принадлежало ей по праву. Никаких особых причин так думать не было, просто Джой, как старшая сестра, всегда считала своей законной собственностью все, чем когда-либо владела ее сестра Франсина.

В жизни все в конце концов складывается наилучшим образом, только не надо спешить умирать и ни в коем случае не падать духом. Франсина родилась через три года после Джой, а умерла три года назад, так что Джой уже прожила на шесть лет дольше своей сестры, хоть сейчас туга на ухо и подслеповата, и все равно она чувствовала себя победительницей: погодите, то ли еще будет. Интересно, можно ли выйти замуж за мужа покойной сестры? Фелисити в таких тонкостях наверняка разбирается. И Джой позвонила ей в “Золотую чашу” выяснить, но обсудить с подружкой животрепещущую тему не удалось, подружка заарканила ее сопровождать себя на похороны подзаборника и алкаша, которого она, Джой, никогда в жизни не видела и о котором никто бы доброго слова не сказал.

В честь похорон и предполагаемой скорби своей приятельницы Джой оделась в приличествующий случаю черный цвет, волосы были не так ярко блондинисты, как обычно, и глаза подкрашены лишь самую малость. Она приколотла брошку в виде ярко-желтого пушистого медвежонка, чтобы отвлекать присутствующих от мрачных мыслей; глаза у

медвежонка были из настоящих бриллиантов и подвешены к изумрудным гвоздикам, когда Джой двигалась, они поворачивались то вправо, то влево. Эти глаза купил для нее Джек у приятеля, который занимался импортом ювелирных изделий. В магазине за них пришлось бы выложить тысяч пять долларов, не меньше, а Джек приобрел за пятьсот. Ему это проще простого.

Мисс Фелисити все еще сердилась на Софию, однако же и волновалась за нее. Начать вдруг ни с того ни с сего разыскивать дальних родственников — как это похоже на одержимость, которая охватывала Эйнджел, хотя, конечно, будь София действительно психически больна, болезнь давным-давно бы проявилась. Фелисити убеждала себя, что это ее беспокойство — всего лишь симптом беспричинной тревоги, которую однажды диагностировал у нее какой-то врач, от нее не отвяжешься, липнет, как муха, без всякой причины и смысла, нужно просто ждать, когда она уйдет сама, и она в конце концов обязательно уходит. Пока же Фелисити лишь остается надеяться, что поиски Софии ни к чему не приведут и что отсутствие вестей от нее — добрый знак.

Кладбище, где должны были хоронить Томми, находилось на окраине Мистика за маленькой деревянной церковкой, очень живописно расположенной среди заснеженного пейзажа. Снег, впрочем, был неглубокий, но мир от него стал ярким и чистым, он скрыл опавшие листья, которые в это время года толстым слоем лежат на земле, черные, гниющие, смотреть неприятно. Шофер оказался Чарли, тот самый Чарли, который приехал из Нью-Йорка за Софией, когда она летела на “конкорде”, и вид которого так испугал Джой. Он оставил в холле “Пассмура” на столе свою визитную карточку, но карточка слетела на пол, так уж случилось. Когда Джек поселился в доме, он ее поднял и усмотрел в находке знамение Всевышнего. Джой как раз говорила, что неплохо бы нанять шофера, чтобы был мастер на все руки и делал разные домашние дела, — что ж, пусть это будет Чарли. Джой он вполне по карману. Когда Джой возразила, что нет, не по карману, Джек ответил, что он на редкость выгодно купил дом благодаря ей и с удовольствием возьмет на себя какую-то часть расходов по содержанию шофера, он будет пользоваться его услугами, но лишь от случая к случаю. Чарли был приглашен и расспрошен, оказалось, он из бывшей Югославии, приехал три года назад по программе расселения беженцев. Джек и Джой оказали ему доверие и наняли.

Его поселили в помещении для гостей над гаражом Джой. Конечно, семья может к нему приехать, отказать было бы бесчеловечно, ведь каждый должен сделать все возможное, чтобы мир стал лучше. Само собой, Джой пришлось подписывать какие-то анкеты не читая; само собой, помещение для гостей наполнилось женами, детьми, сестрами, невестками, снохами, там появились молодые женщины с томными лицами и глазами, полными непролитых слез, а также старухи с платками на голове. Две из томноликих, само собой, оказались беременны, и никому не хотелось вникать, кто отец или отцы. Само собой, благодаря умению Чарли пользоваться Интернетом и знанию иммиграционных законов рассеянные по всему свету родственники начали слетаться в Бостон, дабы воссоединиться под единым кровом в лесах штата Коннектикут. Одна из жен, черноглазая, крепкая, энергичная и вечно беременная молодка, заняла место вороватой экономки Джой. Со временем семья расчистит примыкающий к владениям Джой лесной участок, хозяин которого так до сих пор в точности и не установлен, и начнет выращивать все необходимое для собственного пропитания. В конце концов они даже заведут корову, а корове нужно очень много сена для прокорма, ведь в здешних лесных краях с пастбищами плохо, ну, и она,

Джой, по доброте своей станет оплачивать ее содержание. Да что там корова, на одни только бриллиантовые глаза новой брошки Джой, этого пушистого медвежонка, которого ей подарил Джек и который доказывает, как она ему дорога, можно спокойно содержать целое стадо. Кто заботится о ближних, не забудет и дальних. Конечно, ни о чем подобном они с Джеком сначала и думать не думали, но не могут же люди сердобольные вечно отгораживаться от остального мира, такого огромного и бурлящего страстями, да и не надо так уж особенно стараться. Сегодня ты проявишь участие к животным, завтра — поможешь людям. Лиха беда начало.

Все это будет потом, а сегодня, в день первого декабря, мисс Фелисити и Джой ехали на похороны Томми, их вез Чарли, из которого получился отличный, вышколенный шофер, правда, несколько меланхоличный и с разбойничьим взглядом. Он носил шоферскую фуражку, из-под которой выбивались черные курчавые волосы, и у него был ноутбук. Сидя в “мерседесе” и дожидаясь своих хозяев, он прояснял с его помощью туманные положения закона об иммигрантах. Батарейка была рассчитана всего на три часа работы, и Чарли просил, чтобы ему не приходилось ждать больше трех часов или чтобы у него хотя бы был доступ к источнику питания. Фелисити заверила его, что похороны Томми продлятся не больше получаса.

На кладбище было сиротливо, в небе кружились чайки, как будто им взбрело в голову, что они не чайки, а стервятники. Возле зияющей могилы стояла кучка людей, все с откровенным любопытством глядели на остановившийся неподалеку “мерседес” и на двух старушек в дорогах туалетах, которым Чарли помог из него выйти. Да и на что еще было смотреть? Перед ними была лишь зияющая чернотой могила, дешевый гроб, который опускали в нее на веревках равнодушные могильщики, и поглощенный собственными заботами священник.

У Джой замерзли ноги. Надо было надеть меховые сапожки на высоких каблуках, в них ногам тепло, но походка делается нетвердой, а ей не хотелось, чтобы Чарли видел, как она ковыляет, пусть лучше знает, что она крепка и здорова и душой и телом. Прошло время, когда можно было ходить неряхой и распустехой, теперь вокруг нее сплошь мужчины: ее ближайший сосед — Джек, в домике для гостей живет Чарли. И зачем только она пошла к могиле, это так невыносимо тяжело. И с Фелисити напрасно дружит. Ну ладно, дружит и дружит, но Фелисити должна была хотя бы оставить ее, Джой, в машине. Стариков вообще не следует возить на похороны, жестоко лишний раз напоминать им о смерти. Жизнь — это длинная дорога в гору, ты едешь в машине, которую ведет кто-то другой, и лучше уж любоваться окрестными пейзажами, чем размышлять о том, что будет, когда ты доберешься до вершины и заглянешь за нее вниз.

Один из внуков Джой увлекался компьютерными играми, она видела, как в какой-то игре тебя зашвыривают за край и ты падаешь в белую сверкающую пустоту, и это было очень страшно. Сейчас она именно так и представляла себе свою жизнь: нечто на грани виртуального, балансирующее у бездны. Джек протягивает ей руку, но ее не спасти, она все равно сорвется в белое сияние, а там, внизу, в белых волнах плавает Франсина, она, мертвая, тянет ее на дно, как тянула живая, и торжествующе смеется. Джой поняла, что спит, стоя возле зияющей могилы, и даже видит сон. Осторожно, так недолго сорваться и упасть в могилу.

Она стряхнула сонную одурь и принялась считать собравшихся вокруг страшной ямы, их оказалось двенадцать, кого-то, наверное, специально позвали из церкви. Интересно,

подумала она, кто оплатил похороны. Приличные похороны стоят больших денег. А покойный был явно не богат и сколько-нибудь заметного положения в обществе не занимал. На месте Фелисити любой нормальный человек просто послал бы венок. Сестра Доун даже спустилась с мисс Фелисити до автомобиля, умоляя ее не ездить, вдруг она простудится, расстроится, сломает ногу в снегу, и вообще надо концентрироваться не на смерти, а на жизни. Да уж, Фелисити не ошиблась с “Золотой чашей”: здесь о тебе действительно заботятся, что есть, то есть.

Кто Фелисити этому самому Томми и кто он ей? Пасынок, сказала она, сын мужа, с которым она развелась сто лет назад. А разве кто-нибудь знает правду о прошлом, знает, за кем мы были замужем, а за кем нет? Все лгут, даже она, Джой, лжет самой себе, она ходила к психоаналитику, и ей все про это известно. В наших воспоминаниях любовники становятся мужьями, мужья — любовниками. Возраст дает нам привилегию подгонять факты под собственные представления о них. Тем более что и сама память становится дырявой: например, ты помнишь антураж церкви, в которой венчалась, помнишь тарталетки с закуской, помнишь, в чем была одета твоя новая свекровь и что тебе ее туалет не понравился, но помнишь ли ты лицо мужчины, который поцеловал тебя и надел на палец кольцо? Не всегда.

Джой была замужем четыре раза и может подтвердить это свидетельствами о браке: сначала за врачом, потом за адвокатом, потом за деятелями страхового бизнеса — именно в такой последовательности. Если ты сама бросаешь мужа, ты поднимаешься в обществе на более высокую ступень; если же он тебя бросает, выбирать тебе особенно не из чего. В первый же день совместной жизни мужья меняются, хотя все как один утверждают, что изменилась как раз ты, потеряла к ним интерес, то есть можешь заснуть, когда они в сотый раз рассказывают какую-нибудь историю. Зря она ушла от врача, к нему хотя бы приходили разные пациенты, и болезни у них были разные, случалось, они даже умирали, а вот судебные дела не отличишь одно от другого, и уж тем более попробуй не заснуть, когда тебя с увлечением посвящают в тонкости страхового бизнеса. Все это можно было обсуждать с мисс Фелисити; когда Фелисити переселилась в “Золотую чашу”, Джой радовалась, но, оставшись без нее, стала скучать. Теперь не забежишь в “Пассмур” по-соседски, надо ехать в “Золотую чашу”, хорошо еще, что есть Чарли, Джек не хочет, чтобы она водила машину. Джек начал вести себя как муж, то есть она начала засыпать, когда он говорит. Он то появится, то исчезнет, даже не заказал ей кредитную карточку со своего счета, а уж о том, чтобы утешить ее в постели, и не мечтай. Всем этим владела Франсина. Теперь Франсина умерла и хотя бы не стала ее, Джой, наследницей. Ладно, каждому свое. Фелисити вредная, не рассказывает о своем прошлом, однако с интересом слушает других, и на том спасибо. Джой предвкушала, как они наконец-то наговорятся, когда будут ехать домой на заднем сиденье “мерседеса”.

Джой думала, что, возможно, здесь, на похоронах, появится кто-нибудь из бывших мужей Фелисити, это объяснит, почему она так рвалась на кладбище, но нет, никакого мужа не было. Против них, по ту сторону могилы, над которой под вой ветра что-то бубнил священник, стоял довольно красивый пожилой мужчина, правда, не в ее вкусе: Джой нравились мужчины блондинистые и уверенные в себе, в серых костюмах и с бычьими шеями. Богатые мужчины с возрастом делаются жизнерадостными и корпулентными, а этот вряд ли чего-то добился в жизни — кожа да кости, высокий, поджарый, скорее уж в духе Фелисити, но лет семидесяти, по возрасту ей не подходит. Пальто словно с чужого плеча,

ботинки сто лет не чищены. Наверное, так будет выглядеть Чарли в старости. Орлиный нос, острый взгляд, густая белоснежная шевелюра — именно белоснежная, а не седая, есть же счастливики, совсем не лысеют. Мужчины с густыми волосами обескураживали Джой, это противно природе, считала она, они ее обманывают. Мужчинам положено лысеть, так Господь наказал их за то, что они мужчины. С седым была женщина лет сорока в дешевом пальтишке, возле нее стояли два угрюмых подростка, наверное — жена и дети покойного. Седой что-то сказал женщине, и она пошла вместе с мальчиками прочь от могилы, не то чтобы сломленная горем, скорее очень сердитая. Интересно, почему она так рассердилась, подумала Джой.

На гроб упали брошенные сверху комья земли, несколько жидких голосов нестройно затянули гимн. Джой молча открывала и закрывала рот, зачем попусту напрягать голосовые связки, все равно ветер уносит звуки... А это как прикажете понимать? Что за фантазмагория? Фелисити и снежноволосый переглядываются, и при этом как переглядываются! Ну просто двое юнцов, которые понравились друг другу с первого взгляда: отведут глаза чуть в сторону, не встречаясь взглядом, потом поймают ответный взгляд. Она что, умом повредилась? Джой толкнула Фелисити локтем в бок, чтобы та перестала изображать из себя посмешище, но Фелисити — ноль внимания. На ее лице горел яркий румянец. Может быть, это от холодного ветра, какие там румянцы, когда тебе за восемьдесят? Кому интересно, краснеешь ты или нет? С годами мы становимся словно бы невидимы, мир скользит по нас взглядом, не замечая. Продавцы в магазинах продолжают болтать, будто нас и нет. Мы растворяемся на заднем плане среди множества неотличимых друг от друга старушек. По мнению Джой, бороться можно только одним способом: надо одеваться в яркие цвета и носить как можно больше золотых украшений, тогда на тебя будут обращать внимание. Надень она сегодня свои драгоценности, вместо того чтобы из дурацкого уважения к покойному, который его явно не заслуживал, оставить их все дома, этот снежноволосый уж конечно выбрал бы ее, Джой, а не Фелисити. Они с Джой одного возраста, а Фелисити — на тысячу лет старше.

— Ты знаешь этого мужчину? — спросила Джой.

— Нет, — ответила Фелисити. — Пожалуйста, потише.

— У него парик, — сообщила Джой, надеясь по привычке в зародыше пресечь самую возможность развития новых нежелательных отношений. Именно так следует поступать, заботясь о благе подруг, именно так она всю жизнь и поступала. Однако старалась она зря. Пока пели гимн, мужчина потихоньку-полегоньку передвинулся на другую сторону могилы и встал рядом с Фелисити. У Фелисити до сих пор сохранился приятный голосок, в один из трудных периодов своей жизни она зарабатывала пением, это была ее профессия — Фелисити мало рассказывала о себе, но это рассказала. Конечно, ее голос потерял силу и слегка дрожал, но она искусно им владела и сейчас так и разливалась соловьем для незнакомца с белыми волосами. Заговорить им, ясное дело, проще простого: у них общий покойник. Джой услышала, как он с участием спросил Фелисити:

— Ваш близкий родственник?

Чего ему надо? За деньгами охотится? Фелисити выглядела роскошно, она всегда выглядит роскошно, хотя весь ее гардероб не стоит и десятой доли того, что заплачено за брошку Джой, за этого медвежонка.

— Пасынок, — ответила Фелисити и — нет, вы только подумайте! — потупила глазки. Глаза у нее остались красивыми и в старости — большие, серо-зеленые, с тяжелыми веками,

они почти не ввалились, может, Фелисити даже делала когда-то подтяжку. Джой проследила за кокетливо опущенным взглядом Фелисити: она вроде бы рассматривала более чем странные башмаки незнакомого мужчины, грубые, тяжелые, стоптанные, бесформенные.

— Печально. — Мужчина удивился. — Сочувствую вам. Я и понятия не имел. — Голос у него был мягкий, спокойный; Джой подумала, что он, может быть, приехал на похороны из Бостона. Сама Джой была склонна всех презирать, она родилась в Нью-Джерси и тем гордилась.

— Всего лишь пасынок. — Видно, Фелисити решила ничего не скрывать. — Пасынок, а не родной сын. Я его пятнадцать лет не видела и не могу сказать, чтобы он занимал в моей жизни большое место. Одолжила ему денег, и он навсегда исчез. Так уж люди устроены. Ни один добрый поступок не остается безнаказанным.

— Это уж да. — Он засмеялся. — И все же вы пришли на его похороны. У вас доброе сердце.

— Не велика заслуга — постоять полчаса на холоде в память о том добром, что в человеке было. Как иначе поддерживать в людях добрые чувства?

От такого назидательного занудства любой нормальный мужчина сразу скиснет, подумала Джой. А мисс Фелисити на все плевать, поразительная женщина. Мать Джой с детства ей внушала, что никогда не следует показывать мужчинам свой ум, ни в коем случае нельзя говорить то, чего бы они сами не сказали, иначе они убегут от тебя без оглядки, и видите, как удачно она, Джой, всю жизнь устраивала свою жизнь. А Фелисити готова поставить все на карту и проиграть. Слава богу, кажется, и в самом деле проиграла. Их разговор иссяк. Теперь можно идти к машине. Джой потянула Фелисити за рукав ее расшитого индейским орнаментом зелено-кремового пальто, желая напомнить о своем существовании. Кстати, о пальто: Фелисити ужасно странно одевается. Мать Джой считала, что главное для девушки — это излучать радость и здоровье, все у нее ясно и просто. Фелисити же всегда казалась загадочной, кто знает, какие тайны скрывают летящие шарфы и вышивка.

Джой поняла, что напрасно теряет время. Фелисити и седой теперь смотрели друг другу в глаза. “В волшебный сказочный вечер свою любовь ты встретишь...” Да, именно так Джой встретила своего юриста, хотя уже была замужем за врачом... “В шумном зале, в толпе...” Такое и в самом деле случается. Вдруг налетит невесть откуда, закрутит вихрем, и ничего от прежней жизни не останется. Но Джой тогда было тридцать лет, а Фелисити сейчас за восемьдесят, и нет никакого шумного зала, есть кладбище, на дешевый гроб летят комья земли, никто не бросил ни единого цветочка. Двух мужей Джой кремировали. Чем импозантней и дороже гроб, тем легче прогнать мысли о лежащем в нем мертвце: тот, кто когда-то делил с тобой постель, превратился во что-то холодное и неподвижное, но и это не окончательное превращение, за холодной неподвижностью следует разложение. Трупам свойственна спокойная непреложность, они кажутся более реальными, чем мы. Но думать обо всем этом невыносимо. Может быть, Фелисити для того и затеяла этот флирт — именно флирт, никак иначе ее поведение не назовешь, — чтобы не думать. Джой совсем извелась от мрачных мыслей, к тому же ее начал смаривать сон. Она одна вернется к “мерседесу”. Чарли закроет ее ноги пледом... Она все еще его побаивалась, но Джек уверял ее, что он и мухи не обидит. Что ж, ему виднее.

— Вы на машине? — спросила мисс Фелисити Уильяма Джонсона, ибо таково было его имя.

— В общем-то нет, — ответил Уильям. — Машина уехала вместе с моей падчерицей десять минут назад.

— На похоронах кто-нибудь кого-нибудь обязательно обхамит, — отозвалась мисс Фелисити. — Позвольте подвезти вас куда-нибудь, это кладбище — не самое уютное место в мире.

— Мне нужно в Мистик, — сказал он. — Я там временно живу. И к моим услугам нет целого парка лимузинов.

— Да, светлые и темные полосы в жизни чередуются, — отозвалась Фелисити.

Пока они шли к “мерседесу”, он коротко рассказал ей, что Томми прожил с его падчерицей Маргарет пятнадцать лет, они то расходились, то сходились, Томми крепко пил и не мог содержать семью, он, Уильям Джонсон, помогает им по мере возможности.

— Не заметила, чтобы она испытывала к вам благодарность, — отозвалась Фелисити.

— Вы же сами сказали: ни одно доброе дело не остается безнаказанным. — И он снова засмеялся.

Она старалась идти с ним в ногу. Он тоже замедлил шаг. Выглянуло солнце, и снег засверкал. Мрачный, окутанный сырým туманом пейзаж послушно преобразился, наполнился живыми красками, поэзией. Джой сердито смотрела на них из машины.

А они ничуть не спешили.

— Но вы все равно пришли на его похороны, — сказала Фелисити с восхищением.

— Пришел, — согласился он. — И вы тоже пришли.

Он сказал, что не склонен винить во всем Томми, в нем было много хорошего. И еще он сказал, что его жена умерла четыре года назад.

— Подумать только, — отозвалась Фелисити: ведь и она вдова, и тоже похоронила мужа четыре года назад, как оказалось, в том же месяце, что и он жену. Еще одна ниточка, связывающая их. Фелисити поведала ему, что все это время жила одна, совсем недавно переселилась в “Золотую чашу”, там неплохо.

— Еще бы, за такие-то деньги. — Оказывается, он читал их буклет, но сам ничего такого позволить себе не может; их с женой дом он отдал Маргарет, а сам скитается по местным пансионатам, самым пристойным оказался “Розмаунт” — дыра, конечно, но приятная дыра.

Возле машины он закурил сигарету, и всем пришлось ждать.

— Первая за пять месяцев, — объяснил он. — Похороны выбивают из колеи. — Он затянулся в последний раз и втоптал окурок в снег. — Ну вот, теперь вам известны все мои грехи.

— У меня их побольше будет, — ответила она. — Я прожила нелегкую жизнь.

Услышав, что они повезут в “мерседесе” этого незнакомого курильщика, Джой высоко вскинула свои нарисованные брови. И то, что его зовут Уильям Джонсон, ничуть не развеяло ее подозрений. Мошенник, ясно как день. Уильям Джонсон — да кто поверит, что это его настоящее имя? Половину американцев так зовут. Фелисити и Уильям втиснулись на заднее сиденье рядом с ней. Джой не захотела ехать в тесноте, вылезла из машины и пересела

вперед, к Чарли. Воспитанный человек не позволил бы такого и сам сел сюда. Какой смысл ездить в лимузине, если ты не можешь захлопнуть дверцу перед сомнительными личностями? А ведь лимузины именно для того и заводят. Давно ей не было так горько и обидно, со школьных времен, когда подруги начали встречаться с мальчиками, а про нее забыли и она осталась одна. Неужели жизнь никогда не меняется к лучшему? Вместо одной вредной сестры, Франсины, она завела себе другую вредную сестру, Фелисити, и как рассказать об этом Фелисити, если та ее даже не замечает? Первый муж Джой был психоаналитик-фрейдист, он восхищался ее проницательностью. “Женская интуиция! — с нежностью восклицал он. — Ум тут решительно ни при чем!” Он был старше ее на восемнадцать лет. Она ушла от него к юнгианцу. Когда ты выходишь замуж в первый раз, то попадаешь в определенный круг и чаще всего остаешься в нем, хотя бы потому, что мужчины, которых ты встречаешь, как правило, коллеги твоего мужа. Джой всегда завидовала Франсине, та вышла за торговца автомобилями и прожила с ним всю жизнь, хоть и была уверена, что Джек ей изменяет. Вечно ходила мрачнее тучи, никто не видел, как она улыбается.

А Фелисити меж тем рассказывала самозванцу Уильяму Джонсону, как она приехала в Штаты, выйдя замуж за американского солдата — отца Томми. Плантация в Атланте и великолепный дом, о которых он ей рассказывал, оказались курятником, вокруг которого разгуливали род-айлендские красные. Она стала упрекать мужа, что он ее обманул, и тот ответил: “Мне так хотелось, чтобы это было правдой”.

Врет, подумала Джой. Она никогда раньше не слышала эту историю.

— Представляю, какой это был удар для вас, — отозвался Уильям. — Иные воспоминания лучше не тревожить.

— Это не самое худшее, что мне довелось пережить, — возразила Фелисити.

Фелисити вышла замуж за американского солдата? Джой была потрясена. Гуляющая девка, авантюристка, каких полно в Европе, они, как хищницы, подстерегают американских военных, когда те оказываются за рубежом, и отнимают женихов у девушек, которые ждут их дома. Неужели Фелисити одна из них? Очень может быть, Джой была вынуждена это признать со стесненным чувством. Ну и поделом ей, если она сейчас попала в лапы мошеннику. Они друг друга стоят. Джой и пальцем не шевельнет, чтобы ее спасти.

— Уильям, сколько вам лет? — спросила Фелисити. Вот так, в лоб, как это только ей сходит с рук?

— Семьдесят два, — ответил он.

— Младенец в сравнении со мной. Мне восемьдесят один.

Сколько можно врать!

— Женщины лучше сохраняются, чем мужчины, — сказал он. — Я решил, вы моложе меня. Да и все так думают.

Брови Джой взлетели выше лба, она повернула к ним голову — с некоторым трудом, у нее болела шея, артрит разыгрался, — и попросила Уильяма объяснить, куда именно его надо отвезти.

— Пансионат для престарелых “Розмаунт”, — сказал он. — Это в Мистике, вам по пути, только придется сделать совсем небольшой крюк.

— Для мисс Фелисити, может быть, и небольшой, — отрезала Джой. — Только машина не ее, а моя, и мне никакие крюки не нужны!

— Очень сожалею, что доставляю вам неудобства, — вежливо извинился он, и ей сразу

стало стыдно, она сказала, что ничего, пожалуйста, они его подбросят.

Уильям Джонсон объяснял Чарли, куда надо сворачивать в лабиринте узких улочек на окраине Мистика, где живет одна шантрапа. “Мерседес” остановился возле большого обшарпанного деревянного дома; на веранде сидели закутанные в пледы старики и клевали носом. Во дворе была протянута бельевая веревка, на ней сушилось аккуратно прищепленное мужское нижнее белье. Джой неодобрительно хмыкнула. Вывеска над входом гласила:

Розмаунт

Пансион для престарелых

Душевный покой для тех, кто его заслужил

— Здесь тихо, спокойно и удобно, и к тому же видно океан, а это больше, чем я заслужил, — объяснил Уильям. Он вылез из машины и поблагодарил всех; дружески, в знак прощения, улыбнулся Джой, чем привел ее в ярость; кивнул Чарли, потом прижал пальчики Фелисити со сверкнувшим кольцом к своей морщинистой щеке.

“Какая гадость”, — подумала Джой. Он пошел по дорожке к ржавой, провисшей калитке. Чарли тронул машину. Фелисити влюбленно глядела ему вслед.

— Забыла спросить его телефон, — сказала она. — Но ты же знаешь мужчин: если женщина их заинтересовала, они ее найдут. Он знает, где я живу.

На переднем сиденье то ли фыркнули, то ли всхрапнули, это был Чарли, но ему все-таки удалось превратить смех в чиханье.

Частное детективное агентство “Аардварк” замечательно помогло киностудии, когда Оливия и Лео чуть не погубили наш фильм. “Аардварк” — я не шучу. Почти все выбирают детективные агентства в “Желтых страницах”, и хотя сначала идут сокращения — “А.А.А.”, “А.А.Б.” и так далее, читать слитное слово приятнее, к тому же “Аардварк” привлекает и соответствием смыслу: этот зверек питается муравьями, все время вынюхивает своим длинным носом-хоботком себе пропитание, разыскивая ускользящую добычу. Благодаря названию это сыскное агентство завалено работой, к нему постоянно обращаются все новые и новые клиенты, кто-то просит следить за мужем, кому-то нужно проверить платежеспособность покупателей дома, и оно, соответственно, процветает. Они разыскали мне Алисон всего за две-три недели — мне понадобилось куда больше времени, чтобы собраться с духом и обратиться к ним.

Приняла меня Уэнди. Она была одним из партнеров-учредителей “Аардварка”, приятная словоохотливая дама в элегантном темно-синем костюме со стильной бижутерией — той, что не звенит, не сверкает и не бросается в глаза. У агентства “Аардварк” есть хорошо оплачиваемые связи и источники информации во всех учреждениях государственного аппарата, сообщила она мне: в управлении социального страхования, в национальной службе здравоохранения, в управлении регистрации транспортных средств, в налоговой службе, в рейтинговых агентствах, ну и так далее, и уже через несколько часов они могут предоставить обратившемуся к ним клиенту — если, конечно, агентство сочтет его достаточно законопослушным гражданином — самые разнообразные сведения, добытые не вполне законным путем. Просто удивительно, как много говорят о жизни человека выписки со счетов и сводки расходов по кредитным карточкам, его покупки, а в некоторых случаях, как рассказала мне Уэнди, и расходы на благотворительность. Один тратит уйму денег в дорогих ресторанах, платит по счетам ветеринару и жертвует в фонды защиты животных, так вот, у него нет ничего общего с теми, кто покупает продукты в супермаркете, играет в спортивный тотализатор и жертвует на детские приюты. Конечно, некоторые умудряются вести двойную жизнь, имеют кредитные карточки на разные имена, фальшивый паспорт, иногда предпочитают расплачиваться наличными — совсем не обязательно из преступных побуждений, иным просто тошно, что государство с такой легкостью узнает о каждом их шаге, но даже и они вынуждены в конце концов прийти на прием к врачу или лечь в больницу, и тогда все, маска сорвана. По мне, так пусть кто угодно знает обо мне что угодно, а после того, как я съездила отдохнуть в Индию, где никому ни до кого вообще нет дела, человек умрет и будет несколько дней валяться на улице, все спокойно перешагивают через труп и идут себе дальше, я стала думать, что общество, которое хотя бы внесло тебя в свои компьютеры, обладает некоторыми преимуществами.

Архивы по усыновлению не такая простая штука. Мне это хорошо известно, я в свое время работала над лентой, которая называлась “Наши дети”, и мне пришлось в последний момент вырезать пятиминутный эпизод, консультанты прозевали, что с того времени, как был написан роман, по которому делался сценарий, законы изменились. Пять минут — это огромный метраж отснятой пленки, в фильме вопиюще не сошлись концы с концами. Но зрители все как один плакали и потому, мне хочется думать, не заметили несоответствий.

Записи сохранялись в тайне до середины семидесятых, мать могла отказаться от своего

младенца и жить в полной уверенности, что никогда больше его не увидит и не услышит. Но потом, после того как появился фильм “Наши дети”, а компании медицинского страхования и страхования жизни стали настаивать, что им необходимо знать медицинскую наследственность своих клиентов, — ответ “родители неизвестны” звучит для них как приговор судьбы: о каких прибылях может идти речь, если приходится рисковать вслепую, — и потому было решено, что каждый имеет право знать, кто его родители, а если дети не узнают, то будут страдать и болеть; более того, дети, от которых отказались, должны иметь право по достижении восемнадцати лет отыскивать свою родную мать. Право же матери отыскивать своего ребенка не оговаривалось, идея наказания все еще витала в воздухе, хоть и не слишком явная. Наше время считает отказ матери от ребенка поступком противоестественным и жестоким; в старину, когда никаких государственных пособий не существовало и детей, прижитых незамужними женщинами, по большей части ждала сиротская доля, все хорошо понимали, что для ребенка лучше всего, если его усыновят младенцем. Одинокой матери удавалось кое-как продержаться со своим ребенком не больше года, женщинам тогда платили слишком мало, и если ей не посчастливилось найти мужчину, который согласился содержать ее с ребенком за те услуги, которых он от нее требовал, она вынуждена была отдать ребенка в чужие руки или в приют.

В восьмидесятых и девяностых годах появились организации, задавшиеся целью воссоединить матерей прежнего мира с детьми нынешнего; они деликатно устраивали их встречи, велеречивые консультанты искусно золотили горькую пилюлю правды — так мы глотаем аспирин в защитной пленке, чтобы не разъедал слизистую желудка. Мы все должны знать, кто наши родители, это, несомненно, поможет нам обрести душевное спокойствие. Миллионы брошенных в детстве молодых людей кинулись искать свою родную мать, радуясь полученному задним числом праву на ее любовь, и почти все ушли разочарованные, с обидой на весь свет. Из всех, кто встретился, только шесть процентов захотели узнать друг друга получше. Но я в то время этого не знала, лента “Наши дети” представила совсем иную картину.

Брошенные дети утверждали, что земных благ им мало, им нужна еще и материнская любовь, это их неотъемлемое право. Не могли они понять, эти дети психоаналитического века, что когда-то существовали ценности поважнее, чем рекомендация избегать стрессовых ситуаций. Они понятия не имели о мире без страховки на случай потерь, о мире, где люди умирали от голода, а если женщина в этом мире прыгала в Темзу, прижимая к груди новорожденного младенца, то ее вылавливали и казнили через повешение. Я это знаю по фильму, который в свое время монтировала, — “Подводная могила”.

Многие девочки лет в восемь-девять думают, глядя на своих родителей: “Нет, конечно, я не их дочь, они такие обыкновенные, скучные, меня подменили при рождении”. То же самое творится с приемышем, когда она узнает, что ее удочерили (“Мы сами тебя выбрали, крошка”), как буйно разыгрывается ее фантазия, рисуя королевский дворец, в котором она должна бы жить по праву рождения, не случись эта ужасная ошибка. Увы, найденная родная мать оказывается не принцессой крови, а точно такой же судомойкой. Более старое и более мудрое поколение социальных работников всеми силами препятствовало встрече ребенка с родной матерью, нынешние деятели безжалостно рвутся напролом, губя семьи и жизни во имя генетической истины.

Вы можете меня спросить, зачем же я, зная все это хотя бы по фильму “Преступная мать” (у меня с его режиссером тоже был роман, его звали Том Хамбл, и мы чуть не

поженились, но я не хотела, чтобы после всего, что пришлось пережить, меня называли София Хамбл^[9]), зачем я так упорно пытаюсь отыскать Алисон для Фелисити? И я отвечаю: не знаю. Почему мы делаем глупости?

Из мести? Нет, таких сильных чувств я не испытывала. Я любила Фелисити, в этом мое оправдание. Я хотела иметь родных, пусть она с этим смирится. Может быть, мне нужна была частица моей бабушки для себя: мне всегда не хватало ее любви и тепла. Глупая, сентиментальная причина, по ведомству психоаналитиков. В реальной жизни мы сначала совершаем поступок, а потом думаем. Причины нужны в суде и в мыльных операх. Вопрос “почему?” возникает лишь в том случае, если все пошло не так. Объяснения нужны, чтобы успокоить зрителей и зевак. “Это случилось потому, что...” годится для науки, но не для живых людей. Мне просто хотелось найти Алисон, вот и все.

Ну да, признаюсь, из-за Гарри Краснера, моего личного, персонального “Харе Кришна”, который то спал в моей постели, то не спал, и тогда почва уходила у меня из-под ног, а я хотела чего-то прочного, постоянного. Это вас устраивает?

Любимым шпионом Уэнди в зарегистрированном фонде поддержки сирот, у которых мать неизвестна, была двадцатичетырехлетняя Мелисса, она только что окончила университет и не видела причин, почему мать, которой за восемьдесят, не должна встретиться со своей семидесятилетней дочерью; так вот, Мелисса просмотрела кипы пыльных архивов приютской больницы — компьютеров тогда, естественно, не было, — пострадавших от пожара, который вспыхнул во время бомбежки, залитых водой, когда пожар тушили, сваленных в подвале церкви Святого Мартина на Темзе в Кингстоне, куда его перевезли для безопасности, чтобы сохранить, и там забыли, и отыскала в записях, что шестого октября 1930 года Фелисити Мур, пятнадцатилетняя девица, принадлежащая к приходу церкви Святого Мартина, разрешилась незаконнорожденным младенцем женского пола. (Отец младенца неизвестен.) Документы, касающиеся усыновления (они сохранились значительно лучше), свидетельствовали о том, что в середине ноября три младенца по имени Алисон были взяты на воспитание приемными родителями; согласно записям Службы регистрации актов гражданского состояния, две девочки из этих трех умерли — одна в возрасте трех лет (от полиомиелита), другая в возрасте четырнадцати (погибла во время немецкого налета), а третья, Алисон Мур, вышла в двадцать один год замуж за некоего Марка Доусона, палеонтолога по профессии. Один шанс из трех, что миссис Доусон — дочь Фелисити. Лично я ничуть не сомневалась, что это именно она. Когда ты все время имеешь дело с вымыслом, твоя собственная жизнь тоже превращается в вымысел. Я попала в ловушку киносценариев.

Фелисити вернулась с похорон оживленная, в приподнятом настроении, и сестра Доун сочла это странным: неадекватные эмоции могут свидетельствовать о наступлении начальной стадии старческого слабоумия. Она сообщила о своих подозрениях доктору Грепалли, он перехватил свою новую и самую любимую пациентку в длинном коридоре с мягкой дорожкой поверх сверкающего паркета и с двухкамерными стеклопакетными окнами, по которому она шла к своему “Атлантическому люксу”, и зашагал с ней в ногу.

Она на ходу сняла перчатки, и он заметил, что на ее пальцах только одно кольцо, все остальные она сняла перед уходом. Обитателей “Золотой чаши” настоятельно просили не надевать драгоценности, если они непременно желали уехать из пансиона без сопровождения, дабы не провоцировать грабителей. Доктор Грепалли подумал, что одно кольцо — это компромисс, она вроде бы и признает, что мир за пределами “Золотой чаши” полон опасностей, и в то же время как бы насмехается над ее мудростью. Ничего, скоро она перестанет бороться и будет всем довольна. Фелисити рассматривала свои пальцы, будто видела их в первый раз. Кожа на руках сморщилась, стала сухой, вся в пигментных пятнах, но пальцы по-прежнему длинные, изящные, полные жизни. Она их растопырила, словно проверяя и гоня прочь артрит.

— С похорон, Фелисити? — сказал он. — Какая вы отважная, да еще в такую погоду. Наверное, расстроены. Если хотите, зайдите ко мне, мы поговорим.

— Я ничуть не расстроена, — возразила Фелисити. — Я столько народу перехоронила, и ничего, осталась жива без вашей помощи.

Он в порыве преувеличенного участия схватил ее за локоток:

— Фелисити, Господь посылает нам возможность испытывать чувства, чтобы мы их выражали, иначе нас ждет кара. Отказ открыто проявить то, что мы чувствуем, приводит к постоянным головным болям, к обострению артрита.

— Лично я считаю причиной артрита сырость, а не подавленные чувства. Кстати, ветер сейчас восточный, а у меня в комнатах батареи слишком слабо греют. Может быть, вы позаботитесь, чтобы я не замерзала. — Она улыбнулась ему так обольстительно, что он просто не мог на нее рассердиться, и ушла. Обескураженный, он сдался. Сестра Доун выждала десять минут, подошла к двери люкса, сделала вид, будто стучит, но к двери не прикоснулась и вошла. Фелисити сидела за столом и подбрасывала в воздух монеты, а потом, когда они падали, рисовала линию.

— Как интересно, — сказала сестра Доун. — Это такая игра?

— Можно назвать и так, — ответила Фелисити. — Я не слышала, чтобы вы постучали.

— Я стучала довольно громко, — возразила сестра Доун. — Естественно, мы должны знать, что с возрастом наш слух слабеет. Некоторые из наших гостей не полагаются на свой слух и предпочитают иметь над дверью сигнальную лампочку.

— С этим мы пока повременим. Чего вы, собственно, добиваетесь, хотите лишить меня уверенности в своих силах?

— Зачем же отрицать очевидное, правде всегда лучше смотреть в глаза, — заметила сестра Доун. — Игра, видно, в самом деле очень увлекательная. Может быть, вы научите ей и всех нас? Прекрасный способ лучше узнать друг друга.

— Еще чего не хватало. Мне выпала пятьдесят четвертая гексаграмма, и ни одна черта

не говорит о развитии: “Невеста. Не следует никуда выступать. Несчастье”.

— Мисс Фелисити, сейчас в библиотеке начнется тренинг “Спокойствие духа и умиротворение”, — залепетала растерявшаяся мисс Доун.

— Пожалуйста, называйте меня мисс Мур, — ответила Фелисити. — Фелисити я только для родных и друзей. Кажется, я вам уже говорила.

— Неформальное обращение расковывает людей, — продолжала настаивать мисс Доун. — Исследования доказывают, что близкие, дружеские отношения помогают нам оставаться молодыми телом и душой. А мне хочется думать, что я ваш друг и советчик.

— И в той и в другой роли вы самозванка, — возразила Фелисити. — Мне от “Золотой чаши” нужен только бытовой комфорт, а душу мою оставьте в покое.

— Боюсь, у вас небольшие нелады с памятью. Вы зарегистрированы в “Золотой чаше” как миссис Фелисити Бакс. И вдруг сейчас оказывается, что вы — мисс Мур.

— Пусть вас это не волнует, миссис Бакс будет по-прежнему подписывать все чеки.

И Фелисити встала, выпроводила сестру Доун из гостиной и очень решительно закрыла за ней дверь. Казалось, она вернулась с похорон на десять лет моложе и на тридцать — озорней. Сестра Доун пожалела, что не взяла в “Чашу” Пулицеровскую лауреатку, как планировала сначала, пусть бы себе курила на здоровье.

Сестра Доун пошла в библиотеку, где доктор Грепалли проводил тренинг “Спокойствие духа и умиротворение”. Собралось десять обитателей “Золотой чаши” — и то спасибо. Посещение, разумеется, было добровольным, никакого принуждения, сохрани Господь. Какой толк от тренинга, если твоя душа в нем не участвует? Однако присутствующим всегда подавали херес (умеренное количество алкоголя помогает старческим сосудам сохранять эластичность), а также сообщали о предстоящих экскурсиях: например, в морской музей, где всегда можно увидеть какую-нибудь вновь приобретенную рыбину, во вновь открывшийся музей индейского быта, искусств и ремесел, о выступлении какого-нибудь танцевального ансамбля.

А вот посещение казино на территории индейской резервации в Фоксвуде “Золотая чаша” решительно не приветствовала, азартные игры здесь осуждались: ведь старики могут пристраститься к ним, как к наркотику, человек забывает обо всем на свете и просаживает денежки до последнего гроша. Нельзя старикам играть в кости, тут нужны лихость и сноровка, что уж говорить о картах и рулетке, когда ты тупо делаешь ставку за ставкой и просто ждешь, повезет тебе или не повезет. Не повезло... опять не повезло, в который уже раз... а потом ты вдруг выиграл. Но выигрыш выпадает так редко и такой мизерный, оно и понятно, если у тебя есть хоть капля разума: выигрывать должно казино, иначе оно не сможет существовать, не будет этой приглушенной музыки, притененного света, звона сыплющихся монет, плывущего в воздухе запаха барбекю и пряного соуса, дешевой еды; не будет плотной толпы в несколько рядов пожилых дам и вдов с подсиненными волосами, которые играют без всякой системы, вслепую, положась на волю Судьбы. Ужасное плебейство, обитателям “Золотой чаши” там делать нечего.

Да, родственникам поистине есть за что благодарить “Золотую чашу”: она не подпускает своих подопечных к игровым автоматам и тем самым сохраняет завещанное им наследство. А индейцы, на чьих территориях — стало быть, и в Фоксвуде тоже — не действуют законы, ограничивающие создание игорных заведений, и потому они не платят налогов со своих баснословных барышей, — эти самые индейцы еще имеют наглость прибедняться и вопить об исторической несправедливости, хотя чистокровного индейца там

днем с огнем не сыскать, они давным-давно переженились с афроамериканцами. Словом, если кому-то из обитателей “Чашы” и удавалось улизнуть на денек в Фоксвуд, они о своей вылазке помалкивали. Дома, в “Золотой чаше”, им всегда предлагались развлечения куда более возвышенные — духовное самоусовершенствование. Да, дома, ведь “Золотая чаша” — их дом.

Доктор Грeпалли сидел в глубоком кресле, окруженный стеллажами книг в кожаных переплетах. Беспощадная белизна покрывающего землю снега отражалась, пробившись сквозь створчатые окна, на иссохших лицах, на аккуратно причесанных волосах. Кто-то из этих людей прожил восемьдесят зим, кто-то девяносто, кто-то даже больше ста, и все-таки они держались изо всех сил.

— Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Давайте, хором! — пропел своим низким, глубоким голосом доктор Грeпалли.

— Наполовину полон, доктор Грeпалли! — убежденно ответил разброд дрожащих голосов.

Мы дышим полной грудью,
Мы пьем из полной чаши.

— Как живут друзья по чаше?

— Наша жизнь — полная чаша! — раздался ответ.

Сестра Доун понемногу успокоилась, взъерошенные перья улеглись. Она смотрела на доктора Грeпалли с чувством собственницы: сегодня он как-то особенно аристократически красив и доброжелателен. И он принадлежит ей, только ей! Что касается Фелисити, рано или поздно жизнь поможет ей образумиться и научит должной благодарности. Вот понадобится поставить искусственный тазобедренный или коленный сустав, сведет артрит пальцы, начнет слабеть память, и прощай, независимость, она станет такой же беспомощной, как и все на закате дней, забудет, что когда-то считала себя, видите ли, особенной. Время было на стороне сестры Доун, это великое преимущество молодых перед старыми.

Фелисити решила узнать по телефону номер пансиона для пожилых “Розмаунт”. Сама она звонить Уильяму Джонсону не будет, подождет, когда он ей позвонит, однако номер телефона записала в блокноте, что был на тумбочке возле ее кровати, — вдруг она передумает, мало ли. Разница между ними не так уж велика, она старше Уильяма на двенадцать лет, но, как он верно заметил, мужчины стареют быстрее женщин, а женский век длиннее мужского минимум на семь лет, и если говорить о браке и о том, кто из супругов кого переживет и на сколько, то Уильяму после нее останется протянуть всего четыре года. Что ж, не такой уж плохой расклад. Однако мысль о неизбежных похоронах будущей спутницы жизни не слишком-то вдохновляет делать предложение, она это понимала.

Фелисити снова бросила монеты, и на этот раз ей выпала пятьдесят четвертая гексаграмма, “Гуй-мэй”, получающая дальнейшее развитие в пятьдесят пятой, “Фын”. Это уже лучше — “Невеста” и следующее дальше “Изобилие”. Разве получишь правильный ответ, когда в комнате сестра Доун? “Книга перемен” просто не сможет отразить жизнь иначе, как в неподвижности, в застывшем бездействии, в несчастье. Едва эта особа ушла, обстановка в комнате разрядилась, в нее хлынули потоки энергии, они подхватывали летящие монеты и опускали их именно так, как надо, и сразу соотношение сил изменилось, каждая позиция приближала достижение цели. Жизнь накатывает на нас волнами: только что все у нас плохо, хуже и быть не может, и так все навсегда и останется, и вдруг что-то начинает меняться, в жизни появляется просвет. Всего две черты изменились, и “Движение может привести только к бедствию” превращается в “Изобилие. Свершение. Печали не будет. Будешь как солнце в полдень. Встретишь одинокого путника”.

Разве не Уильям Джонсон этот самый одинокий путник? Или древний оракул хочет сказать, что мужчине и впредь следует продолжать свой путь в одиночестве? Нет, не может быть.

Ах, как она торопится, как спешит. Но ведь она и всегда была такая. Стоило ей встретить кого-то мало-мальски пристойного, и ее воображение пускалось вскачь, она вопреки здравому смыслу начинала мысленно вить гнездо, подбрасывала монеты, как последняя дурочка, пытаясь угадать свою судьбу, даже жульничала, подгоняя комбинацию орел-решка под желаемую гексаграмму. Неужели все женщины до такой степени кретинки? Впрочем, может быть, она такая же, как все в ее поколении: их бросили в жизнь беспомощными, они были вынуждены существовать за счет мужчин, потому что не умели сами содержать себя, в них так легко вспыхивала надежда — вечная надежда, они так склонны ко всяческой мистике. Вот София наверняка другая, она — центр своей собственной вселенной, ей жизнь вполне по плечу. София сама решает и сама выбирает, ждать и мечтать достается мужчинам. Печально, в сущности: такая богатая, плодородная почва прошлого всего-то и дала жизнь что крошечному, хилому, дрожащему ростку женской независимости, решительно не желающему плодоносить.

Что касается секса, его вовсе не следует считать привилегией молодых, просто с возрастом физическое желание начинает проявляться в иных формах: например, вы испытываете тревожную неудовлетворенность, и лишь по привычке вам кажется, будто от нее можно избавиться в постели. Эта тревога рождается в голове, а не в лоне, лоно, как ему и положено, съезжилось и скукожилось, от близости никакой радости, то ли дело в молодости,

когда все шло как по маслу. После смерти Эксона у Фелисити не было мужчин все то время, что она жила в “Пассмуре”, лишь один раз случилась мимолетнейшая связь, да и то с человеком, который приехал купить у нее старинную мебель и просто надеялся таким способом сбить цену, она была в этом уверена, Но ее не обведешь вокруг пальца... И все же она тосковала по состоянию влюбленности: как прекрасна мантра “Я люблю тебя, люблю тебя, люблю”, звучащая фоном для всех речей и всех мыслей, и как отвратительно пустозвонство, которым маскируют свое поражение обитатели “Золотой чаши” — “Мы пьем жизнь из полной чаши”. Зачем им эта ложь? Никакой самогипноз не превратит ее в правду. Они утонули в дурацких глубоких креслах, из них невозможно подняться. Состояние влюбленности вовсе не требует физического завершения, она, впрочем, не совсем в этом уверена, но ведь все равно после двадцати-тридцати лет большого секса мужчины выбывают из игры и начинают изо всех сил пыжиться или же уныло смиряются. Ей не хватает, решила Фелисити, ощущения, что ее душа причастна к жизни тайного мира, в котором происходят важные события, недоступные пониманию рационального ума, в этом мире разворачиваются спирали галактик, раскрываются смысл и назначение жизненной энергии, и все это в рвущемся из глубин шепоте, в наивном лепете заклинаний, пронизывающих каждый миг жизни женщины: “Я люблю тебя, люблю тебя, люблю...”

Фелисити вдруг поняла, что напевает песенку Элвиса Пресли — только этого не хватало! Слов она не помнила, просто мелодию “там та-та-та, там та-та, та-там, я всегда любил тебя одну... Я любил тебя всю жизнь...”, вот в чем секрет: всегда любил, всю жизнь, а не только что появился. Неудивительно, что мир полвека отказывается верить в его смерть, люди видят, как он идет по земле, толстая, безнадежная развалина. Он открыл истину: “Я всегда любил тебя одну...” В конце жизни рядом с каждым должен быть кто-то, кто всегда любил его одного. Ее восемьдесят три года негодуяще кричали: ты с ума сошла, впала в маразм, это начало конца! Ну и пусть, ей наплевать. Да, у нее был микроинсульт, да, она всю жизнь обманывает себя, что с того? Все искупает этот восторг: “Нет начала и конца любви моей, я всегда любил тебя одну...”

Узнав телефон пансиона “Розмаунт”, Фелисити позвонила зятю Джой, Джеку, попросила согласия пользоваться иногда его лимузином; конечно, она будет ему платить. Из разговора Джой она заключила, что Чарли большую часть времени простаивает. Такое соглашение будет выгодно всем. Джек, как Фелисити и ожидала, согласился. Он при покупке дома обманул ее минимум на двести тысяч, а то и больше, а Фелисити позволила себя обмануть. Очень удобно, когда люди перед тобой виноваты, ей ли этого не знать. Но всех одной меркой мерить нельзя, иной раз люди причинят тебе зло и потом всю жизнь будут тебя же и винить, но обычно они как-то пытаются загладить вину.

Уильям позвонил ей на следующий день, как раз когда секундная стрелка подошла к двенадцати: Фелисити сидела и смотрела на часы. Она пригласила его на чашку чая. Он сказал, что с удовольствием. Она сказала, что договорилась с Чарли, он съездит за Уильямом в “Розмаунт”, привезет к ней и потом доставит обратно домой. Он спросил, не слишком ли быстро она все решила за него, и она ответила, что нет, ничуть, просто у нее осталось слишком мало времени и она не может позволить себе игр с выжидательной политикой, ведь она на двенадцать лет старше его. На это он ответил, что она в двенадцать раз богаче, ей, стало быть, и командовать парадом. Фелисити возразила, что ничем командовать не желает, просто это их уравнивает. Он признался, что не спал всю ночь, все думал, хватит у

него духу позвонить ей или не хватит. Она ответила, что если бы он не позвонил, она бы сама ему позвонила через три дня. После чего разговор иссяк.

— Как все просто по телефону, вы согласны? — сказала наконец она. — Трехминутный разговор избавил нас от необходимости целый месяц играть в игры с ожиданием. Сложности начинаются при личном общении.

— Если вы предпочитаете телефонное общение, давайте им и ограничимся, — ответил он. — Может быть, так будет милосердней для нас обоих.

— Вдохни поглубже и прыгай — это мое жизненное кредо.

Он сказал, что придет сегодня часов в пять.

— Постарайтесь, чтобы вас никто не увидел, — сказала она. — А то непременно поднимут шум.

— Мы вольны делать что нам нравится, — возразил он.

— Напрасно вы так в этом уверены. Я старше вас и лучше знаю жизнь.

Вот что я узнала от Уэнди о ее визите к Алисон Даусон, урожденной Мур, удочеренной четой Уоллес, по адресу, где, как заключило сыскное агентство “Аардварк”, она с наибольшей вероятностью могла проживать. Адрес respectable, сообщила Уэнди, на Ил-Пай-Айленде, милях в двух от того места, куда Темза еще позволяет подниматься приливу, там она, широко раскинувшись, спокойно несет свои светлые, чистые воды к морю, и разве что особенно высокая приливная волна может иногда откинуть мощное течение вспять. По берегам, на безопасном расстоянии от воды, стоят очаровательные особнячки, какие строили в конце девятнадцатого — начале двадцатого века, от каждого к воде спускается ухоженный травяной газон, хотя сейчас, в ноябре, газоны больше похожи на болота. (У меня сложилось впечатление, что сельские пейзажи и водоемы не вызывают у Уэнди особенно теплых чувств.) Часть яхт зачехлена на зиму, некоторые брошены без присмотра, швартовы ослабли, и, когда мимо проплывает прогулочный катер, они подпрыгивают на разбегающихся от него волнах и бьются о пристань или о стены будки. Почти все эти прогулочные парходики на самом деле просто плавучие бары, и пассажиров ничуть не интересует ни время года, ни пейзажи и уж тем более дух поздневикторианской Англии, который продолжает жить в этих живописных садах: счастливое детство, множество братьев и сестер, родных и двоюродных, веселые развлечения без спиртного и наркотиков, полдник с чаем, булочки, сливки, джем, никто еще не боится жирного и сладкого...

На эти дома сейчас большой спрос, их покупают рок-певцы и звезды кино и эстрады в надежде воскресить для своих детей атмосферу безмятежного спокойствия, создать иллюзию уединенности, жизни вне времени, которую навеивает река. “Милая Темза, тише, не кончил я песню мою...”^[10] Уэнди чуть ли не с благоговейным ужасом собралась обрушить на меня краткую сопоставительную сводку цен на недвижимость в этом районе, но я сказала нет, нет, не надо. Например, дом Алисон, не имеющий номера, но зарегистрированный в почтовом ведомстве под названием “Отрада”, оценили в миллион фунтов стерлингов и лишь потому, что он обветшал, последние пять-десять лет о нем почти не заботятся. Очень характерно для множества состоятельных пожилых дам, заметила Уэнди, они живут себе и живут, а потом вдруг спохватятся, что пришла старость, одной жить трудно, и переезжают к детям или в дом для престарелых, а кто-нибудь покупает дом за гроши и отделяет заново.

Уэнди поднялась на парадное крыльцо, и дверь ей открыла женщина под сорок, ученого вида, как определила Уэнди, то есть у нее было бледное, худое лицо, большие близорукие глаза, с которых она то и дело откидывала неухоженные волосы, подбородок чуть не упирался в плоскую грудь от привычки проводить время за чтением книг, выражение отсутствующее, как у всех, кто живет в мире идей и далек от реальной жизни. Я сама немного этим грешу, хотя отрывают меня от жизни не мои собственные идеи, а чужие фантазии, которыми я забиваю свою голову. И все же хочется думать, что хотя бы в перерывах между периодами запойной работы над фильмами я могу показаться на людях с волосами, от вида которых можно лишь ахнуть, с безупречным маникюром и в туфельках — последний крик моды, так что меня легко примут за непременно члена светских тусовок. Впрочем, Краснер не замечает разницы. Может быть, он и вовсе не связан с реальной жизнью, и я в его представлении всего лишь статистка, которая ждет на съемочной

площадке, когда ее позовут в эпизод.

Но бог с ним со всем, сейчас для меня самое главное — найти родных, а эта женщина, возможно, моя — кто? двоюродная сестра? Двоюродная сестра — это дочь родной тетки, дочь единоутробной сестры моей мамы — седьмая вода на киселе. Не слишком близкое родство, чтобы искать фамильного сходства или ожидать традиционного приглашения на рождественский ужин, но хоть что-то. У Алисон были дети, эта женщина — ее дочь. Я с замиранием ловила каждое слово Уэнди.

Женщина отнеслась к Уэнди, объяснившей цель своего визита, не то чтобы враждебно, но настороженно. Сказала, что она дочь Алисон, Лорна, у нее есть старший брат, Гай, и призналась, что с прошлым матери связана какая-то тайна.

Агентство “Аардварк” потрудились на славу. На стене у парадного крыльца Уэнди с удовлетворением прочла на почерневшем и замшелом деревянном указателе выжженное раскаленным железом название — “Отрада”. Мисс Даусон сказала, что ее мать, миссис Даусон, недавно перевезли в платный интернат для престарелых. Уэнди увидела за спиной Лорны уютный захламленный холл, всюду книги, бумаги, дверь из холла распахнута в просторную гостиную с огромными окнами, из окон вид на спускающийся к берегу газон и Темзу. У нее сложилось впечатление, что детей в доме нет. Лорна не пригласила Уэнди войти, так и держала ее на пороге. Прежде чем принимать какое-то решение, сказала она, ей нужно обсудить все с братом Гаем. Она обещала позвонить Уэнди, взяла ее визитную карточку, однако своего телефона не дала. Агентство “Аардварк” этим не смутишь, для них электронный адрес, факс, телефонный номер, срок окончания действия кредитной карточки, все данные о проведенном отпуске, пределы расхода средств, установленные банком, — открытая книга. Вы только скажите, что вас интересует, они тут же вам предоставят.

Когда Уэнди уже прощалась, Лорна сказала:

— Мне казалось, что закон 1974 года о правах детей разрешает только детям разыскивать родителей; по-моему, родители не получили права искать своих детей.

На что Уэнди тотчас возразила, что в законе ничего не говорится о внуках. Однако она уверена, что Лорна все равно сразу же проверила это обстоятельство в справочнике законодательства. Недоверчивая особа.

Узнав имена — Лорна и Гай Даусоны, Уэнди без труда нашла все, что касалось их жизни. Гаю сорок шесть лет, он разведен, насколько известно, не голубой, преподает международное право в Лондонской школе экономики. Лорне тридцать восемь, она не замужем, преподает кристаллографию в Имперском колледже науки, техники и медицины, где когда-то учились ее родители. Лесбийских связей не обнаружено, всего один многолетний вялотекущий, насколько можно судить, роман с коллегой профессором — ее счет в магазине “Джон Льюис” не показывал никаких внезапных крупных покупок в отделе дамского белья: такие вещи говорят сами за себя языком финансов, — но и этот роман год назад кончился. (Такое заключение было сделано на основе записей службы заказа такси, которым она вдруг почти перестала пользоваться.) Она продала свою квартиру в Уэст-Хэмпстеде и переехала в родительский дом, чтобы ухаживать за матерью. Это произошло три года назад. Чтобы выяснить, что она сделала с полученными за квартиру деньгами, потребуются дополнительные расследования, достаточно дорогостоящие: для получения доступа к выпискам по банковским счетам требуются самые большие затраты. Я сказала Уэнди, что заниматься этим не стоит — какая мне разница? Интересно другое: почему два месяца назад Алисон пришлось поместить в частную лечебницу. Оказывается, она страдала

болезнью Альцгеймера и в конце концов у нее началось недержание мочи. И документы ее врачей, и данные службы социального страхования характеризуют Лорну с самой положительной стороны: она ухаживала за матерью преданно и квалифицированно, но вдруг получила травму спины и больше не могла справляться одна.

— По-моему, со спиной у нее все в порядке, — заметила Уэнди, — но что нам за дело? Это же не случай страхового мошенничества.

Письменный отчет агентства “Аардварк” содержал еще больше подробностей. В нем, в частности, сообщалось, что Марк Даусон был первым и единственным мужем Алисон и отцом двух детей, Гая и Лорны. По профессии палеонтолог, Марк почти всю свою жизнь проработал в запасниках Музея естественной истории в Лондоне и в возрасте пятидесяти трех лет скончался от рака легких. Вероятно, все вокруг курили, предположила я, но курильщица Уэнди тут же объяснила, что люди, которые работают с ископаемыми останками и вдыхают тысячелетнюю пыль, не дотягивают до средней продолжительности жизни, повинны тут не сигареты и уж конечно не древние проклятья. Археологи, вскрывшие гробницу Тутанхамона, все умерли молодыми, но погубила их пыль, а не проклятье. И Гай и Лорна были на хорошем счету как преподаватели, однако общительностью не отличались и развлечений не любили. Я к тому времени уже представляла себе, что такое Лорна, и сама могла бы с уверенностью все это рассказать.

Вскоре после того, как миссис Даусон поместили в дом для престарелых, Гай переехал жить к сестре. К Лорне нельзя было предъявить никаких претензий в плане правонарушений, но вот у Гая была небезупречная кредитная история, к тому же он два-три привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Обратите внимание, эти нарушения совпадают по времени с его разводом, поэтому Уэнди не склонна считать его закоренелым преступником. Жена Эдна отсудила себе ребенка (отличная новость: у меня есть еще и племянник!), дом, алименты и теперь живет с новым любовником. Она не позволяет Гаю видеться с ребенком — а вот это дурная новость, не успел племянник появиться, как его отняли! Бывшие супруги никак не могут договориться и за один только год обращались в суд пять раз. Вполне возможно, что у Лорны и Гая возникнут денежные затруднения, сказала Уэнди, почти все деньги, оставленные Марком, могут уйти на адвокатов, ведь Лорне в университете платят мало, ученые сейчас относятся к беднейшим слоям нашего общества. Надо платить за содержание Алисон в клинике; если бы расходы взяло на себя государство, оно потребовало бы в возмещение части расходов продать ее дом. Конечно, какие-то деньги могут быть спрятаны через трасты, но пока никаких следов этого не обнаружено. Уэнди предложила проследить за движением средств по банковским счетам и за кредитными историями, но я чувствовала, что с меня более чем довольно, сначала надо все это переварить, и сказала ей нет, не надо.

В зыбкой системе координат, предложенной нашим временем, Даусоны представлялись уважаемой, даже интеллигентной, хотя и очень скучной семьей; будь это фильм, все бы отныне жили долго и счастливо. Гай встретил бы какую-нибудь хорошую женщину, а освободившаяся от матери Лорна расправила бы крылья и полетела. Хотя, если судить по описанию Уэнди, это не в ее характере. Не надо судить о людях по себе. Но, может быть, я встретила с Даусонами в черную полосу их жизни, и вот теперь их кузина Deus ex machina все уладит, как по мановению волшебной палочки.

Лорна позвонила Уэнди, а Уэнди позвонила мне и сказала, что Гай согласился

пообедать со мной. Мы встретимся в “Рулз” на Мейден-лейн, это между Лондонской школой экономики, где он преподает, и Сохо, где работаю я, но гораздо ближе к нему, чем ко мне, подумала я. Значит, вот какие рестораны он любит: телячьи ребрышки, йоркширский пудинг, пирог с патокой, никаких вольностей в одежде. Добротная, дорогая еда. Я радостно трепыхалась и паниковала, как будто я наконец-то сама снимаю фильм, а не просто его монтирую. Странная меня ждала встреча: я знаю о людях так много, а они не знают обо мне ничего, это дает приятное, правда ни на чем не основанное ощущение власти.

У двери ресторана возникло небольшое недоразумение, меня не хотели пускать: я шла из Сохо пешком и потому надела кроссовки, а там сочли, что это неподобающая обувь для заведения такого класса. Я пригрозила, что приведу себя в соответствие, сняв кроссовки, и пойду в носках, и швейцар тут же сдался. Гай уже ждал меня за столиком. Он вежливо поднялся мне навстречу. Его вид не вызвал у меня никаких родственных чувств, да и с чего бы? Общей крови у нас с ним было немного, всего-то одна шестая. Гай был коренастый, в теле, можно даже сказать — толстый, казалось, он так и родился стариком, но взгляд был острый, живой, пронизательный. Большие залысины, массивная челюсть, длинный подбородок, придающий лицу скорбное выражение, — а может, это просто тяжелая челюсть оттягивает уголки рта вниз. Я напомнила себе, что не любовника выбираю, а пытаюсь обрести семью. Кто сказал, что родственники непременно должны быть писаными красавцами, это полная несообразность. Тем не менее я поймала себя на том, что стараюсь расположить его к себе. Я чувствовала, что не слишком ему нравлюсь. Он заказал ростбиф, а я салат “Цезарь” без гренков, он счел это чудачеством и извинился перед официантом. Я сказала, надеюсь, он не считает меня психопаткой, помешанной на модных течениях и направлениях, он вежливо улыбнулся и сказал: ну что вы, конечно нет, однако тон был не слишком убедительный. Я стала рассказывать о своей работе, а он смотрел на меня с изумлением и никак не мог понять, чем я занимаюсь и зачем мне все это нужно. Мне такая реакция, в общем, даже понравилась. Приятно встретить человека, который не имеет никакого отношения к твоей профессии. С годами оком нашей жизни суживается, нам нужно так много сказать, а чтобы это сказать, остается так мало, что мы только и можем говорить на профессиональном жаргоне, который отталкивает непосвященных. Гай и понятия не имел, кто такой Гарри Краснер, чье имя я упомянула в беседе. (Я заметила, что оно то и дело срывается у меня с языка, я ничего не могу с собой поделаться.) Он, Гай, сказал мне, что знакомиться с Фелисити ему ни к чему, Род-Айленд далеко, а она очень стара и живет в пансионе, с него более чем достаточно собственной матери. По работе он редко бывает в Штатах, в основном читает лекции в Европе. Он понимает, что его мать Алисон наверняка захотела бы познакомиться со своей родной матерью, но Фелисити поздно спохватилась. Его матери уже все безразлично, лишь бы ей не мешали спокойно лежать в постели. Я пила кофе — он курил сигарету с фильтром — и старалась не показать, что считаю его редкостным занудой. Когда принесли счет, он предложил заплатить по нему мне, потому что в нашей встрече была заинтересована я, а не он. Я изумилась и заплатила. Он вежливо поблагодарил меня за удовольствие, которое ему доставила наша встреча, сказал, что очень приятно познакомиться с дальней родственницей, чем поставил меня на место. У выхода из ресторана мы простились, я ушла, оскорбленная до глубины души, пылая ненавистью.

Я позвонила Уэнди и сказала, что встреча оказалась полным фиаско, и Уэнди ответила, что очень огорчена за меня, но этого следовало ожидать. Люди за тридцать не склонны к

рискованным эскападам, они не хотят никаких перемен. Им бы справиться с тем, что у них прямо перед носом, на это уходят все их силы. Я — исключение из правила. Я решила, что постараюсь пережить разочарование. Но на следующий день мне в монтажную позвонило другое чадо Алисон, Лорна, и пригласила как-нибудь зайти выпить чаю. Сейчас у нее очень много работы со студентами, но как только возникнет просвет, она звякнет. Я была на седьмом небе от счастья. Вечером дома я танцевала по квартире голая, и Краснер, который уже вернулся в Лондон, спросил, что за бес в меня вселился. Хотя и был в восторге от моего вида, ведь я обычно ныряю к нему в постель одетая, у меня сил нет даже раздеться.

— Булочки с джемом, сэндвичи, семейные фотографии! — пела я. — Наконец-то у меня появилась семья!

Он был изумлен и заинтригован. Мне кажется, американцы так замечательно осваивают пространства своей огромной страны лишь для того, чтобы убежать от семьи, и лицемерно изображают преданность домашнему очагу только в День благодарения. Они не дорожат родственными узами, не то что мы, для нас наша маленькая семейная ячейка — защита от враждебного мира. Они смелее и крепче нас. Родители Краснера поженились в Буффало; сейчас его отец живет в Техасе, а мама в Сакраменто, у него другая жена, у нее другой муж, оба начали жизнь заново. Краснер напоминает им о том, что оба они хотят забыть: об их совместной жизни. Отец твердит ему, как он похож на мать, мать внушает, что он совсем как отец. Оба утверждают, что гордятся им, и оба требуют от него денег. По ночам, лежа рядом со мной, он иногда тяжело вздыхает во сне, и мое сердце готово разорваться от жалости к нему, но все нанесенные жизнью раны не залечишь, а он получил всего лишь свою долю страданий. Не понимаю, почему мы рождаемся с такой способностью страдать. Но ведь на свете есть кино, оно всегда поможет нам перенестись в другое измерение.

Вот уже полтора месяца Фелисити и Уильям встречались почти каждый день, а сестра Доун ничего об этом не знала. Между двумя и пятью дня все в “Золотой чаше” затихало: ее обитателям было рекомендовано уединяться в собственных апартаментах для отдыха и медитации. Можно было посмотреть что-нибудь на видео, в “Чаше” имелась целая коллекция черно-белых фильмов — шедевры Голливуда, как было сказано в рекламном проспекте, а также великое множество руководств по нравственному усовершенствованию: “Правильное дыхание как путь к достижению высшего душевного спокойствия”, “Искусство совершенной памяти”, “Встретьтесь со своим истинным Я” и прочее в таком же роде. Большинство обитателей, давным-давно пересмотревшие все старые фильмы и эмоционально опустошенные ежедневными усилиями на пути самосовершенствования и самопознания, просто спали. Сестра Доун проскальзывала наверх к доктору Грепалли, и весь персонал вздыхал с облегчением, когда она исчезала. Заведение погружалось в дрему.

В Западном флигеле, том самом длинном, низком строении, которое София увидела из окна в кабинете доктора Грепалли, день мало чем отличался от утра. Жужжали и гудели установки, поддерживающие жизнь, то и дело подавали сигналы тревожные датчики: не справляется с работой сердце, давление поднялось слишком высоко или опустилось ниже нормы. Кроткие старческие глаза сонно глядели в потолок, весь пыл жизни давно погас, оставалось только плавать в приятных снах, какие вызывает коктейль нынешних снотворных. Здесь, в Западном флигеле, ухаживали за теми пациентами, кто впал в старческое слабоумие или перестал контролировать свои естественные отправления. Сюда время от времени приходили священники, чтобы совершить последний обряд, в основном это делалось ради обслуживающего персонала (среди медсестер и санитарок много ирландцев и католиков), отходящих в мир иной пациентов уже давно не волновала загробная жизнь, спасение души и небесная кара. Сюда же подъезжали неприметные катафалки похоронных бюро и увозили брентную оболочку некогда полных жизни людей через задние ворота. В “Золотой чаше” сразу становилось известно, если задние ворота открыли: шушукался персонал, да и сами ворота скрипели на всю округу, сколько их ни смазывай. Доктор Роузблум был один из немногих, кто умер в главном здании, такое случалось, хоть и редко. Наметанный глаз сестры Доун сразу замечал признаки возможной скоропостижной смерти: например, острая боль в большом пальце правой ноги, которая не вызывает у пациента особой тревоги, может быть предвестником инфаркта; или вдруг человек сделался прозрачно-бледным, стал уходить в себя — это его душа готовится покинуть тело, как будто ее заранее известили. Пациенту тут же вливали седативное средство в витаминный коктейль, который полагалось пить три раза в день, и незаметно перевозили в Западный флигель; если опасное состояние удавалось благополучно купировать, его дня через два-три возвращали в главное здание. А доктор Роузблум взял и исподтишка скоропостижно скончался, назло ей, сестре Доун, как она считала, и это был диссонанс в гармоничном многоголосии, фальшивая нота резала слух. “Золотая чаша” была словно послушный инструмент в ее искусных руках, она не выносила, когда струны плохо держат строй и западают клавиши. Сейчас, она это чувствовала, рояль в отличном состоянии, играть на нем одно удовольствие, звучит отлично, даже весело, ну прямо пианола. Она может подняться к доктору Грепалли и расслабиться или хотя бы помочь расслабиться ему, к ее услугам корсеты, высоченные шпильки и небольшая плетка.

Фелисити договорилась с Джеком, что Чарли будет каждый день (кроме субботы и воскресенья) привозить Уильяма к “Атлантическому люксу” в половине третьего и увозить обратно в четыре. Джой непременно ложилась соснуть днем, и незачем ей зря волноваться, незачем знать, чем в это время занят Чарли. Если она увидит, что его нет, решит, что Джек усладил его по каким-то своим делам.

Завидев “мерседес” и его водителя, привратник без единого слова открывал ворота “Золотой чаши” и впускал машину, но Чарли, вместо того чтобы ехать к массивной парадной двери, которую всем так и хотелось назвать “Золотыми воротами”, подкатывал к веранде “Атлантического люкса”, высаживал Уильяма и преспокойно уезжал. Чарли умел заработать на хлеб с маслом, и держать язык за зубами он тоже умел. Даже у него на родине подобные отношения стали бы осуждать, а уж толкам и пересудам конца-краю бы не было. Только в Соединенных Штатах у стариков хватает здоровья и сил так осложнять свою жизнь, думал он. Это давало веру в будущее. Может быть, он даже бросит курить, чтобы лучше приспособиться к здешней жизни.

Во время первого визита Фелисити, которой предварительно пришлось отделить свое романтическое представление об Уильяме Джонсоне — она трудилась над его сотворением целый день — от реального Уильяма Джонсона, вздохнула с облегчением, увидев идущего к ней худощавого, хорошо сложенного мужчину в джинсах и рубашке с распахнутым воротом. Он не хромал, не волочил ногу, не пускал слюни, словом, не делал ничего такого, о чем она сочла бы за благо забыть. Издали ему вполне можно было дать лет сорок пять, но вблизи — да, серо-зеленые глаза были в склеротических прожилках, губы иссохли и все прочее. Ну и какая разница? Ему семьдесят два года, ей восемьдесят с хвостиком. Такая уж нынче жизнь. Что означает для женщины возраст? В основном отсутствие эстрогена. Она с сорока семи лет принимает ежедневно маленькую желтенькую таблетку и даже не заметила, когда у нее начался климакс — если он вообще начался. Двадцать минут назад она посмотрелась в зеркало и в кои-то веки осталась довольна тем, что увидела. Это зеркало волшебное, решила она, оно показывает тебе твою душу, а не внешность. Свет мой зеркальце, скажи: кто на свете всех милее? Я, я, я! Ну пожалуйста, ну в последний раз, прошу тебя.

Первые две недели они сидели за столом и изучали друг друга на расстоянии.

— Что произошло? — спрашивала его она. — Почему вы оказались в “Розмаунте”? Разве у вас нет пенсии, страховки, льгот, пособий, как у всех?

Он отвечал уклончиво. Он ищет, присматривает для себя что-то более подходящее. Он много лет преподавал английскую литературу в Бронксе, был заведующим учебной частью, в те времена миссию учителя считали высокой и благородной, учитель был подвижник, посвятивший свою жизнь благу общества, он воспитывал возвышенные идеалы в душах детей. Сейчас, конечно, ничего этого и в помине не осталось. Сейчас учитель ничто, пустое место, на него смотрят сверху вниз. Уильяма много раз хотели повысить в должности, он мог стать директором, войти в школьный совет, да мало ли чего еще, но он слишком любил сам процесс преподавания, это его призвание, профессия, дело его жизни. А после смерти бывшей жены возникли сложности, выяснилось, что была большая переплата по налогам, а гонорар юристов, которые судились с государством за возврат денег, превысил выигранную сумму. И потом, ему нравится в “Розмаунте”.

— Люблю общество, — говорил он. — Конечно, одиночество имеет свои преимущества, я пытался жить один; но когда по несколько дней не слышишь человеческого голоса, в конце

концов перестаешь понимать человеческую речь.

Иногда она чувствовала, что он говорит не всю правду. Нет, не лжет, но о чем-то умалчивает. Может быть, она и сама не хотела знать, что именно он скрывает. Или ты человеку доверяешь, или нет. Она доверяла.

— Я думаю, с чужими иной раз легче, чем с собственной семьей, — заметила она, и он согласился, однако о своей семье рассказывать не стал. Она спросила, что за жизнь они ведут в “Розмаунте”.

— Там стараются напичкать вас успокаивающими таблетками, — объяснил он. — Если их не глотать, все нормально.

— Кому нужен покой, — сказала Фелисити.

— Верно, — согласился Уильям, — когда нам больно, мы хотя бы знаем, что еще не упокоились.

Так прошла их первая встреча, она задала тон последующим свиданиям. Они сидели и разговаривали, но никогда не прикасались друг к другу. Может быть, ему только этого и надо — просто с кем-то разговаривать? Может быть, его отношение к ней лишено мужского интереса? Ей за восемьдесят, но она этого не чувствует: наверное, в делах сердечных жизнь ничему нас не учит, мы снова и снова совершаем все те же глупости. Глядясь в зеркало, мы всегда видим что-то иное: то оно показывает нам нашу душу, юную и прекрасную, то состарившуюся плоть. Раз или два в последние дни перед ней опять мелькнуло в его глубине что-то смутное — то была укоряющая тень доктора Роузблума: когда доживешь до такой глубокой старости, говорил он, не все ли равно, кто сделает первый шаг — мужчина или женщина? Настаивать на том, что это совсем не все равно, было бы унижительно. В свое время она знавала мужчин моложе себя, которым доставляло удовольствие вести себя как девушки с пожилыми мужчинами: разжечь чувственный интерес и потом в решительную минуту изобразить ужас: “Ты что? Ведь тебе столько лет, ты мне в матери годишься! Я думал, мы просто друзья!” Такое началось, когда ей стукнуло сорок. Может быть, она и глупа, но не настолько, чтобы подставить себя под такой удар еще раз. Однако ясный, открытый взгляд серо-зеленых глаз Уильяма, устремленный на нее, гнал страх: он не из тех, кто ведет двойную игру. И все же иногда в этих глазах что-то вспыхивало, она ловила в них блеск сродни азарту, какой горел в глазах солдат, опьяненных боем, где убивают. Ей хотелось почувствовать вкус этого азарта.

— Хорошо, когда есть с кем поговорить, — сказал он во время их третьего свидания.

— Вы можете разговаривать со своими соседями в “Розмаунте”, — отозвалась она. — Стоит ли ехать ради разговоров в такую даль?

— В “Розмаунте” люди просто обмениваются информацией, там никто не обсуждает идей, — объяснил он.

Она понимала, что в “Золотой чаше” в этом смысле дело обстоит гораздо лучше, здесь при выборе будущих обитателей отдают предпочтение самым умным и образованным, добившимся признания своими достижениями — предпочтительно в науке, хотя бы потому только, что, по убеждению сестры Доун, люди с активным умом живут дольше. Если не считать доктора Бронстейна, чьи мысли, такие интересные, когда он излагал их впервые, повторялись и повторялись в каждом его разговоре с вами, будто ходили по замкнутому кругу, публика в “Золотой чаше” не отличалась говорливостью. Если кого-то и осеняли великие мысли, их хранили при себе. Ученые даже на пике успеха не станут обсуждать

промежуточные результаты. Иногда она скучала по Джой, не хватало ее шумной нескончаемой болтовни о пустяках, касающихся исключительно ее собственной особы, все это не подпускало сомнения и страхи слишком близко.

— Почему бы вам не переехать сюда? Он засмеялся:

— Пусть уж лучше будут сыты волки.

Во время своего четвертого визита он рассказал ей чуть больше — к слову пришлось. Его последний и очень болезненный развод нанес тяжелый удар по его сбережениям. Он отдал падчерице свой дом, который находится неподалеку, на опушке заповедника Грейт-Суомп. Это случилось в дни его относительного благоденствия, а сейчас она не позволяет ему там жить. Он чувствует себя почти королем Лиром, с юмором заметил он.

— Почему она так настроена против вас? — спросила Фелисити. — Чем вы ей досадили?

— Тем, что существую. Тем, что я такой, какой есть.

Фелисити хотелось утешить его, согреть добротой, которой не оказалось у жены, проявить участие, в котором отказала падчерица. Но примет ли он от нее участие? Она не знала. Да, он привлекает ее как мужчина, но это вовсе не значит, что и его влечет к ней; может быть, он появляется здесь каждый день лишь потому, что в назначенный час приезжает Чарли и везет его сюда бесплатно, а в конце пути его ожидают водка и соленые сухарики. И еще потому, что он может рассказывать о себе в такой приятной обстановке, далеко от развешанного на веревках белья и замусоренного двора. Может быть, он видит в ней что-то вроде матери.

У нее никогда не было сына, и впервые в жизни она этому радовалась: ей не грозит опасность начать относиться к нему как к сыну, она просто не знает, что значит иметь сына.

Нет, ничего-то, ничегошеньки на свете не меняется, всю жизнь она влюбляется именно так. Только сейчас не было рядом подруг, на которых надо равняться, которые объясняли, что, по их мнению, будет дальше, помогали разобраться в том, что ты себе нафантазировала, а что происходит на самом деле: “Любит — не любит?..” Единственно, кто мог ее понять, — это живущая в Лондоне София. Но София слишком импульсивна, оброни ей Фелисити хоть слово, она, чего доброго, решит, что надо немедленно лететь сюда и поближе познакомиться с Уильямом. Такая перспектива была Фелисити не по душе: вдруг София изгонит Уильяма или Уильям влюбится в Софию — полная чушь, конечно, не может же она ревновать его к собственной внучке, и все равно рисковать не стоит. Поделиться с Джой и думать нечего, та сразу же завопит, что Уильям — проходимец, охотится за ее денежками. И очень может быть, что так оно на самом деле и есть, хоть ей даже думать об этом не хотелось: еще одно соображение, почему Фелисити предпочитала молчать. В том, что Уильям рассказывал о себе, не всегда сходились концы с концами.

— Это Утрилло? — спросил он на восьмой день.

— Всего лишь копия, — ответила она.

Он встал и принялся рассматривать картину. Дома, ветки дерева, мостовая, небо. Подлинник, подлинней не бывает. Она очень любила эту вещь.

— Я бы не стал утверждать это с такой уверенностью. Вещь очень хорошая. Белый период.

— За подлинник я могла бы получить семьсот пятьдесят тысяч. — Она и сказала ему

правду, и в то же время не сказала. Конечно, это Утрилло, и заключение искусствоведов у нее есть, подтверждающее его подлинность, это часть того, что ей досталось при разделе имущества старины Бакли, ее спасителя и мучителя. Старина Бакли, так она и назвала его мысленно по привычке. Забавно: когда он умер, ему было на двадцать лет меньше, чем ей сейчас.

Уильям Джонсон приезжал каждый день, и каждый день они сидели и разговаривали, а пока они разговаривали, сомнения у нее не появлялось. Вот только она ни разу не прикоснулась к нему, стол так их и разделял — нейтральная полоса между желанием и страхом последствий.

Каждый раз, уходя, он спрашивал: “Мне приехать завтра?”— и она каждый раз отвечала: “Конечно”. И на его лице, когда он оглядывался, было такое удивление и такая радость, что сомневаться в его интересе к ней было невозможно. Теперь Фелисити чувствовала себя никому не нужной, выжившей из ума старухой, только когда к ней в пять пятнадцать деловито заглядывала сестра Доун — удостовериться, что она жива и здорова, и пригласить в библиотеку на сеанс укрепления жизнеутверждающей жизненной позиции или еще на какой-нибудь тренинг, в зависимости от дня недели, и чувствовала она себя старухой именно потому, что таковой ее считала сестра Доун.

Фелисити заказала себе по почте косметику, кремы для лица и даже кружевное нижнее белье. Нет, она не надеялась, что косметика ей поможет, а в белье она сможет покрасоваться, просто эта привычка сохранилась со времен молодости, так поступают все женщины, когда влюбляются. Она всю жизнь выходила замуж по расчету: этот добродушный и богатый, будет о ней заботиться, тот принадлежит к высшему обществу и введет туда ее, следующий даст ей тихую пристань, и хотя одному только богу известно, как ей было скучно, она никогда не роптала, честно выполняла взятые на себя обязательства и не использовала мужей в своих интересах. Любви она им не обещала, только внимание и заботу. Это было взаимовыгодное соглашение, мужчины всё понимали и довольствовались тем, что им будет принадлежать не вся ее душа целиком, а всего лишь прелестная улыбка, хрупкое тело, она всегда поддержит остроумный разговор, сделает жизнь приятной и комфортной. Что касается любви, мисс Фелисити представляла ее себе как бурную страсть исключительно за пределами супружеских отношений, страсть, которая неизбежно погаснет, если ты попытаешься втиснуть ее в рамки домашнего обихода. В браке любовь превращается в привычку, но, лишённая прочной основы, она умирает. Зато пока она жива, какое ты испытываешь волшебное опьянение, радость, как остро чувствуешь, что ты жива. Пожалуйста, еще один только раз, и пусть на этот раз все будет по-настоящему! Настоящая любовь! Неужели она в самом деле придет, если ты умеешь просто жить и ждать бесконечно долго? Ждать и верить? И вот когда ты совсем не думала о ней, она наконец-то явилась?

Драгоценные находки множатся! Агентство “Аардварк” разыскало еще одну родственницу, единокровную сестру самой Фелисити, моложе ее на семь лет, это миссис Люси Форграсс, урожденная Мур, она жива, здорова, в ясном уме и твердой памяти, живет в фешенебельном Хайгейте, на севере Лондона, в богатстве и, можно сказать, в роскоши! “Можно сказать, в роскоши” в устах Уэнди означало, что у Форграссов большой, красивый, в идеальном состоянии дом, который мог стоить от миллиона до полутора миллионов фунтов стерлингов, а в саду плавательный бассейн с подогреваемой водой, и это в стране, где подобные расточительные излишества достаточно большая редкость, и правильно — зачем это все, когда вечно идет дождь. Так что теперь у меня есть не только кухня и кузен, но и двоюродная бабушка. Но она подождет, я еще не познакомилась с Лорной, не побывала у Алисон. Мисс Фелисити я пока не рассказывала о своих успехах, боялась получить еще один выговор.

— Пусть все идет своим чередом, не спешите, — советовала мне Уэнди. Хорошо советовать. В жизни все происходит так медленно, это фильм с невырезанными длиннотами, там показано, как человек идет от стула к двери, складывает белье, ждет такси. Хочется крикнуть: “Все это лишнее, надо вырезать вон!” — а тебя одергивают: “Не торопись!”, и я тоже одергиваю сама себя.

Агентство “Аардварк” просмотрело документы, хранящиеся в Сомерсет-Хаусе^[11], и теперь знает семейную историю Фелисити. Фелисити Мур родилась шестого октября 1915 года. Ее отец, Артур Мур, был писатель и журналист; мать, Сильвия, — концертирующая пианистка. Бедняжка умерла в 1921 году от гриппа, эпидемия которого свирепствовала в Европе после Первой мировой войны и унесла больше жизней, чем сама война. Фелисити в то время было шесть лет. Не прошло и года, как ее отец снова женился — на некоей Лоис Вассерман, уроженке Вены. В этом браке был рожден один ребенок, девочка Люси, появившаяся на свет в 1922 году. Артур умер в 1925 году, когда Люси было три года, оставив сироту Фелисити на попечении мачехи. Все свое состояние Артур завещал Лоис и Люси, Фелисити по каким-то причинам не была в нем упомянута. Да, Люси жива, троекратная вдова, живет в Хайгейте.

Троекратная вдова! Мне однажды довелось монтировать фильм ужасов, вариация на тему “Основного инстинкта”, там серийный убийца — жена — убивает своих мужей одного за другим ножом для колки льда. Я очень жалела, что взялась за этот фильм, и никогда потом больше с такими мерзостями не работала. Лужи крови, трупы, расчлененка, зверское насилие — смотреть на все это по несколько раз очень трудно. Некоторые монтажеры привыкают, и ничего, а я не могу.

Я по-прежнему не сомневалась, что поступаю правильно, начав ворошить прошлое. У меня появилась тетя Алисон, пусть и страдающая болезнью Альцгеймера, двоюродная бабушка Люси с плавательным бассейном в Хайгейте, кузен Гай и кухня Лорна, племянник (седьмая вода на киселе) — сын Гая, за права на которого отец судится. Скоро мой список родственников, кому непременно надо купить подарок к Рождеству, будет полным, я смогу присоединиться к остальному человечеству, которое завязывает на коробках ленты и жалуется на свою горькую судьбу все праздничное время. Чего мне еще желать?

Красснер улетел домой, к Холли, не на Рождество — она еврейка, как, впрочем, и он, по

матери, — а потому что она захотела усыновить ребенка и требовала, чтобы он подписал какую-то бумагу, что-то вроде декларации, что он обязуется исполнять по отношению к ребенку отцовские обязанности. Подписать ее надо непременно лично, факс и электронная почта здесь не годятся. В Голливуде детей не рожают, а усыновляют, ведь беременность может помешать карьере звезды или испортить идеальную фигуру. Вы только представьте: вам предлагают роль, о какой вы мечтали всю жизнь, съемки чуть ли не завтра, а у вас только что начались схватки. Приемного ребенка вы получаете готовеньким, и его сразу же можно отдать на попечение няnek.

Краснер удивился, когда я спросила: а как же наследственность? Неужели Холли не хочет своего собственного, родного ребенка? Зачем ей чужой? Краснер ответил, что мы, европейцы, помешаны на генах, а в Соединенных Штатах главным считается воспитание: все дети рождаются на свет умными и красивыми, и тот, кто их воспитывает, должен сохранить эти качества. Холли уж конечно получила медицинское подтверждение, что настоящие родители здоровы физически и душевно, и убедилась, что они красивы. Я твердила, что невозможно любить чужого ребенка как своего собственного, никогда в это не поверю, а Краснер доказывал, что еще как возможно, но зачем мы спорим, ведь я все равно решила, что у меня детей не будет. Наверное, в Соединенных Штатах любовь не такая сильная и мучительная штука, как в Европе: Краснер легко простился со мной, рассеянно чмокнул, мысленно уже на полпути к Голливуду, и улетел.

Мне предстояло провести три недели рождественских и новогодних каникул вне стен монтажной. Я довольно лихо справлялась с “Разве что чудо”, покрывая пол толстым слоем вырезанной пленки. Три часа бессвязной мешанины приведены в божеский вид, подстрижены, причесаны и готовы к премьерному показу в феврале. Я считала, и не без оснований, что Астри Барнс, которую, естественно, отстранили с ее режиссерским занудством от участия в монтаже по финансово-рекламным соображениям, злословила обо мне как могла по всему Лондону, но этого и следовало ожидать. Моя связь с Краснером, став публичным достоянием, ничуть не повредила моей профессиональной репутации. Наоборот! Если он не нес свою долю расходов, живя со мной, он, безусловно, понимал, что каждый проведенный им со мной день повышает ставки моих гонораров. Молва бывает очень полезна.

Но вот Краснер улетел, оставив меня один на один с моей ревностью — чувством, дотоле мне неведомым, и для укрощения зверя, терзавшего мое нутро, у меня имелись лишь возвышенные чувства, друзья и попытки обрести семью. Работа на сей раз не помогала. Агентство “Аардварк” закрылось 21 декабря и вновь начнет работать только 8 января. Я чувствовала себя всеми брошенной и забытой. Уэнди была точно строгая, все на свете знающая и вечно занятая мать; вырастая, от такой матери отдаляешься, твоя чрезмерная эмоциональность не находит у нее отклика, но когда ее больше нет и ты осталась одна, ты все равно по ней скупаешься.

Я позвонила Фелисити в “Золотую чашу”. Мне сказали, что сейчас у них тихий час и ее не следует беспокоить. Я решила, что так оно, пожалуй, и к лучшему. Вдруг ей там невыносимо плохо и она потребует, чтобы я немедленно летела ее спасать? И я просто послала ей рождественскую открытку. Разущу сначала всех ее родственников и тогда преподнесу сюрприз: приеду навестить ее и привезу имена, адреса, телефоны, фотографии, то-то будет радости.

Три недели Фелисити смотрела на Уильяма Джонсона, сидя против него за столом. Они открывали для себя друг друга и чего только не обсуждали: ее политические взгляды, потом его (ничем оригинальным они не отличались, просто он постоянно кипел от негодования), какую музыку любит она и какую он (тут они разошлись по поводу Вагнера, но это как раз естественное гендерное различие, так, во всяком случае, они себя убедили); она в молодости бросила Англию и уехала в Новый Свет, чтобы заново найти себя в Америке, земле обетованной; а он, когда ему было за тридцать, напротив того, вернулся в Англию, надеясь расстаться с прежним собой на родине Шекспира, но это ему не удалось, он встретил там Мэри, женщину, которая потом стала его женой, и увез ее в Америку. Он хотел детей, а она не хотела, у нее уже была дочь от предыдущего брака. Да, это она была на похоронах Маргарет, мать сыновей Томми. Он ждет не дожидается Судного дня, когда закончится великое дознание и все тайное станет явным: тут-то все наконец узнают, обижал он Эльзу или нет, был ли несправедлив к Маргарет, кто убил Кеннеди, что случилось с командой “Марии Селесты” и так далее.

— Вы что, в самом деле говорите о дне Страшного суда? — спросила она, тревожно встрепенувшись. Чего доброго, он из секты вновь рожденных христиан, только этого ей не хватало.

— Иногда приятно помечтать. Разве плохо, если бы там, наверху, кто-то держал все карты в своих руках. Великий игрок, великий небесный картежник.

Какой странный образ, но Фелисити не стала в него вдумываться. С каждым днем крепло доверие, росла надежда, у них обнаруживалось все больше сходства во мнениях, а порой и единомыслие; они чувствовали, что становятся ближе друг другу, избавляются от настороженности, она рассказывала ему о себе, разматывая нить жизни из настоящего в прошлое, потому что с годами ее жизнь складывалась все лучше, а он, у кого все получилось как раз наоборот, двигался из прошлого к настоящему, так им обоим было безопаснее. И оба, как ей казалось, старались отдалить тот день, когда придется признать, что они уже совсем не молоды. Даже в двадцать лет трудно преодолеть физическое расстояние, отделяющее от физической близости, ведь это настоящая проблема — как пересесть со стула на диван, переместиться с дивана на кровать. Проходит пятьдесят, шестьдесят лет, и сложности все те же. Она рассказала ему о себе далеко не все и не сомневалась, что он тоже о чем-то умолчал. Он не глуп и, как и она, в свои годы понимает, что какие-то признания лучше делать после близости, а не до, иначе никакой близости может просто не случиться. Им становилось все труднее разговаривать, наступали долгие паузы. Она стала беспокойной, даже раздражалась.

Чарли обычно стучал в окно, напоминая, что время истекло. Она стук слышала, а Уильям нет. Она понимала, что он глух как пень, только этим, наверное, и объясняются его молчания, никакой серьезной подоплеки у них нет, просто он не слышит, что она сказала. И зачем только она в самом начале решила хранить все в тайне, какая глупость. Почему Чарли должен быть непременно дома, когда Джой просыпается после своего послеобеденного сна, почему Уильям должен уйти до того, как появится сестра Доун, сгоняя обитателей “Чаши” в отряд для очередного штурма нынешнего дня. Она предложила Уильяму оставаться дольше, если он хочет, но он ответил, что ему надо быть в “Розмаунте” к сроку, он сидит с ребенком Марии, пока та забирает старших детей из школы. Кто такая Мария? Да так, одна из

горничных в “Розмаунте”.

— Ей тридцать один, мне семьдесят два, — сказал он. — Я только и гожусь что в няньки.

А ведь Фелисити ни о чем его не спросила. Он уже научился читать ее мысли. Ей это не понравилось.

— А что вы делали до того, как появилась я? — спросила она. — Вы для меня загадка.

— Так, ничего особенного, — ответил он. — А вы?

— И я ничего особенного. Но женщина может себе позволить так жить, а мужчина — нет.

Он посмотрел на нее серьезно, словно бы споря с самим собой, потом сказал:

— Почему я всегда сижу против вас? А что, если нам сесть рядом на диване?

И, не дожидаясь ее ответа, развернул и подвинул диван, так что стол оказался перед ними и теперь, разговаривая, они могли прислониться друг к другу. Когда она прикоснулась к нему, ее словно ударило электрическим током, как будто она дотронулась пальцем до металлической накладки звонка, придя утром в офис первой. Если ковролин нейлоновый, а стены покрашены акриловой краской, разряд может отшвырнуть тебя в конец коридора — не повезло так не повезло. Она однажды работала в таком офисе. Пожаловалась на звонок и потеряла работу. А может быть, ее уволили потому, что босс хотел с ней спать, а она в кои-то веки послала его подальше. Как бы там ни было, искра проскочила и исчезла, какая-то часть энергии ожидания нашла выход. Может быть, и он почувствовал искру, но если и почувствовал, виду не подал. Пока ничего еще не было сказано. Может быть, она ошибается, может быть, он дразнит ее, жестоко играет ею. Может быть, она ведет себя как последняя идиотка, может быть, напридумывала бог весть что. Ей семьдесят три года! Но ведь вот сидят они сейчас рядом, касаясь друг друга, все их изъяны при них, и ничего, вроде бы его это не оттолкнуло. Кожа на его руках, как и на ее, сморщилась, покрылась пигментными пятнами. Хотя ей показалось, что ее пятна заметно посветлели от новых кремов, которыми она сейчас пользуется. Это придало ей смелости. Она отважно подняла руки и показала ему. Рискнем!

— Какие старые руки, — сказала она. — Вы способны принять эту реальность? Или мы так и будем беседовать до скончания века?

— Будет так, как вы пожелаете, — ответил он. — Я ведь не ясновидец.

— Мы могли бы просто полежать рядышком на кровати, — сказала она. — Мне столько лет, я ведь устаю сидеть так долго на стуле. Неплохо бы об этом подумать.

Он ответил не сразу.

“Конец, я все погубила, — подумала она. — Всю жизнь я только и делаю, что все гублю. Вечно слишком спешу, слишком доверяю. И вот теперь я умру и буду знать, что сама во всем виновата, как ты начала жизнь, так ее и проживешь, это судьба”.

Он резко встал.

— Вы не представляете себе, как я волнуюсь, — сказал он. — Я старик. Я вас только разочарую. Думаю, мне лучше сейчас уйти.

“Ну и уходи, — сказала бы она в молодости, уязвленная, что ее отвергли как женщину. — Уходи, и чтоб я тебя больше никогда не видела”. Но молодость давно прошла, и уж коль на то пошло, Уильям моложе ее, откуда ему знать, что для него лучше, а что хуже?

— Сядьте и перестаньте болтать чепуху, — сказала она. — По сравнению со мной вы желторотый птенец.

— Моя жена ушла от меня, потому что я стал стар и ни на что не годен.

— Самое время исповедаться, — сказала Фелисити. — Я вам все равно не верю. Хотите легко отделаться.

Он стоял у стеклянной двери. Уйдет? Не уйдет? И вдруг он шагнул к кровати и сел.

— Чарли еще не приехал, — сказал он. — А пешком мне не дойти. Так что если у вас устала спина, можем немного полежать на кровати.

И вытянулся во весь рост. Она прилегла рядом. Он был выше ее на пять дюймов, и ее бедро естественно вписалось в выемку его талии — так она и представляла себе.

— Вы любили свою жену? — спросила она. Этот вопрос было легче задать, не глядя ему в глаза.

— Эльзу? Я прожил с ней двадцать лет. Люди становятся как бы одним существом. И часто это не то существо, каким тебе суждено было быть.

Не слишком-то прямой ответ.

— Женщины редко уходят после двадцати лет брака. Просто так, ни с того ни с сего никто не станет разводиться. Что вы сделали?

— Причина не в том, что я что-то сделал. Скорее в том, какой я был. Может быть, она была похожа на меня, может быть, тоже чувствовала, что стала не той, кем ей суждено было стать. Может быть, хотела обрести себя, пока не поздно. Люди доходят до полного отчаяния.

— Но вы не хотели с ней расставаться.

— Конечно нет.

Слова больно кольнули. Муж любит свою жену — она и забыла, как жестоко может ранить такой пустяк.

— Я с ней сроднился, и с хорошим, что в ней было, и с дурным, — говорил он. — У меня не было сил вести бракоразводный процесс. А у нее были. Она стала ходить в группу разводящихся женщин; думаю, они ее там накачивали. Я ей все отдал, даже то, что она сама не хотела брать, а когда она умерла, все досталось Маргарет. Теперь вот живу в “Розмаунте”. Много читаю. Гляжу, как меняются море и небо, думаю, что хорошо бы куда-нибудь перебраться, изменить жизнь. И так день за днем — ничего, нормально. Люди считают меня неудачником, пусть, мне безразлично. Но сам-то я никогда не думал, что буду так доживать свой век. Старик у моря.

— А я старуха из лесной избушки, — шутливо подхватила она, хотя его слова перевернули ей душу.

Джой бы сказала: да он просто сумасшедший. В ее мирке человек прежде всего блюдет свои интересы, а Уильям Джонсон вызывающе отказывался думать о себе. Джой не понимала поступков, благодаря которым человек только и может быть в ладу с собой. Ничтожество, сказала бы Джой. Приживал. Зачем ты лежишь на кровати с этим неудачником? Фелисити хотелось плакать, хотелось вернуться домой, в Англию, где к неудачам относятся с большим уважением.

— Но с тех пор, как я тебя встретил, мне больше не кажется, что жизнь кончена, — сказал он. — Может быть, я сумею воскреснуть, у меня появилась надежда. “Всего один только раз в жизни. Никто этого у меня не отнимет. Почему мне пришлось ждать так долго?” Сомнения роем налетали и тут же уносились прочь. Вот они лежат рядом на кровати, касаясь друг друга, хоть и одетые, их разделяют грубая ткань его джинсов, шелк ее юбки. Ноги у нее по-прежнему стройные и красивые, но кожа дряблая, в темных пятнах, икры оплетены сетью синих вен. Это очень важно? Что вообще важно для любви? Душа или

тело?

— Я не все тебе рассказала, — вдруг призналась она, повинувшись порыву. — Только то, что хотела, чтобы ты обо мне знал.

— Я догадался. Рассказывай.

Но Чарли уже стучал в окно.

— Ее спас колокольный звон, — сказала она.

Фелисити как лежала, так и осталась лежать, плевать ей на все, пусть Чарли видит; а Уильям Джонсон взял свое пальто и ушел, сказав, что приедет завтра. Это правда, правда, правда! Ей восемьдесят три года, а она снова чувствует восторг любви, и никто у нее этот восторг не отнимет.

Мисс Фелисити соблаговолила посетить вечерний сеанс по выработке группового согласия и была очень мила с сестрой Доун.

— Как живут в “Золотой чаше”?

— Мы пьем жизнь из полной чаши! — скандировала она вместе со всеми.

Нужно ли говорить людям правду? В двадцать лет она считала, что да, нужно: то, что ты скрывает, непременно всплывет в самый неподходящий момент и все погубит. Осуждаемые обществом поступки, душевные заболевания в семье, внебрачные дети, период жизни, когда ты была вынуждена зарабатывать на хлеб проституткой, да мало ли чего еще — во всем этом лучше признаться сразу. Но сейчас, в конце жизни, прошлое ушло в такую далекую даль и, кажется, не имеет никакого отношения к настоящему. Прошлые потери, прошлые грехи потонули в водах забвения. Пусть прошлое и останется в прошлом. Она сказала Софии по телефону, что в ее годы человек заслужил право говорить правду. Смелые слова, и, может быть, два месяца назад она даже имела право их произносить, но сейчас она это право потеряла. Знакомство с Уильямом Джонсоном лишило ее всякой уверенности, она, как подросток, не знала, что следует говорить, а что — нет. Но ведь она не подросток, она прожила жизнь и если сейчас не способна здраво судить о мире, когда же ей удастся обрести эту способность? Ах, разве она была когда-то другой? Ей пятнадцать лет, у нее тайное свидание, она выходит в заснеженный, залитый луной сад — “Я знаю, что я делаю!” Ей тридцать, и она уплывает из Саутгемптона в Новый Свет — тяжелые, мокрые доски трапа, по которому она шагает, маняще тянутся вверх, огражденные перилами, чтобы вы не упали, соленый запах моря, мазута, шум двигателей, крики чаек — “Я знаю, что я делаю”.

— Наш стакан наполовину пуст или наполовину полон? — вопрошает доктор Грепалли.

— Наполовину полон! — отвечает радостный хор голосов. Только доктор Бронстейн и Клара Крофт не спешат присоединиться к всеобщему ликованию. А ведь доктор Грепалли занизил планку, подумала Фелисити, ее собственная чаша готова перелиться через край.

К рождественским праздникам друзья удивительнейшим образом рассеиваются. Голубые устремляются кто к материнской груди (дабы обсуждать отношения полов), кто к отцовской (дабы ее терзать), иные поодиночке, иные парами (дабы потом основательнее проанализировать те унижения, которым их подвергли за время праздников, и главное: какую кровать им предложили — если односпальную, то следовало тотчас же отказаться, если двухспальную, то можно было соглашаться). Одинокие женщины уезжают к родителям в провинцию — взахлеб рассказывать в деревенской глуши, как весело и интересно они живут в столице. К рождественскому обеду может пригласить какая-нибудь мать-одиночка, но я такие приглашения не склонна принимать: няни нет в наличии, ритуальное размораживание индейки лишь подчеркивает скудость быта, вы торопливо смущенно затягиваетесь сигаретами с марихуаной, прячась от детей. Самое изысканное и щедрое гостеприимство окажут бездетные пары киношных коллег, где работают и он и она: минималистская елка, блюда на основе модных диет, но от столь ценимого всеми наркотика — кокаина — публика делается взвинченной и даже агрессивной, я приползу домой при последнем издыхании.

И я решила остаться на Рождество дома, одна. К моему огорчению, Гай и Лорна не горели желанием пригласить меня к себе; после моей первой встречи с ними они стали относиться ко мне вполне дружелюбно и я к ним несколько раз заходила, но особого радушия они не проявляли.

— Мы вообще-то Рождество не празднуем, — сказала Лорна. — Апофеоз лицемерия: торговцы наживаются под прикрытием религии.

Ну и что, все это знают, просто предпочитают не задумываться и пользуются случаем порадоваться жизни. Я все надеялась, что Лорна смягчится, ведь где и праздновать Рождество, как не в доме на Ил-Пай-Айленде. Я бы его украсила, если они сами стесняются, развесила бы гирлянды, шарики, серпантин. Может быть, Лорна боится влезать на стремянку, так я влезу. Я даже заплачу за все украшения, если Гая угнетает мысль о подобных тратах. Неужели традиции для них ничего не значат? Ведь они родились и выросли в этом доме. Наверное, даже в детстве они не умели радоваться Рождеству, такие уж у них характеры. Какую игрушку Лорне ни подари, угодить ей было невозможно, Гая же нескончаемо терзала зависть — а вдруг за ее подарки заплатили дороже, чем за его. Такое впечатление, что, едва появившись на свет, они закричали: “Зачем зря тратить деньги!” И все же мне казалось, что Алисон была не такая, как они: дом был слишком красив, люстры чрезмерно дорогие, кухонные полотенца добротного ирландского полотна, да и у входа в дом написано “Отрада”, хотя ее дети не заметили, что это слово давно завил плющ, а по отсыревшей, покособившейся доске ползают мокрицы.

Не скрою, мои новообетенные родственники меня разочаровали. Я искала света, а нашла холодные сумерки. Может быть, Гай и Лорна не только брат и сестра, но и любовники? Вовсе не обязательно, хоть я и монтировала однажды документальный фильм об инцесте между родными братьями и сестрами — “Семейные связи”, там проводилась мысль, что в среде тех, кто относит себя к интеллигенции, подобное отклонение встречается довольно часто. Ничего общего с Байроном у Гая не найти, а вот Лорна, пожалуй, и напоминает Доротею Вордсворт.

Поначалу ни Лорна, ни тем более Гай не проявляли никакого интереса к

существованию Фелисити. Лорна активно не любила кино и была целиком поглощена кристаллическими структурами, изучением которых занималась и о которых читала лекции. Кристаллы, без сомнения, прекрасны и необыкновенны, однако между ними и яркой, вечно меняющейся жизнью пленки колоссальная пропасть, и, если вы не ученый кристаллограф, вести о них беседу трудно, наскребете два-три определения — и иссякли. Когда же брат и сестра узнали, что у Фелисити есть Утрилло, они вдруг заинтересовались обнаружившейся родственницей. “Как бы там ни было, ведь она наша родная бабушка, никуда от этого не деться”. Раз ты вдова и живешь в пансионате, значит, ты нищая, считали они, я в этом уверена.

То, что Фелисити принадлежит картина знаменитого художника, их взволновало, хотя когда я начала рассказывать им, как эта картина оказалась у Фелисити, глаза Лорны остекленели от скуки. Зачем им знать то, что былшем поросло, хоть оно и повлияло на нас, нынешних.

У брата и сестры были рыжеватые волосы и массивная, тяжелая, зловещего вида челюсть, только у Лорны она суживалась к подбородку, а у Гая воинственно выступала вперед. Волосы Лорны были того же оранжевого цвета, как у Эйнджел и у меня, но прямые и жидкие, ни намек на нашу волнистую гриву. Остатки растительности на черепе Гая были тоже оранжевые. Доминантный ген цвета достался им от Фелисити, но строение и густота шевелюры подрастерялись за два поколения. На фотографии их отца, палеонтолога, имелась точно такая же челюсть, только она была вмонтирована в лицо с куда более приятным выражением, чем у Лорны или у Гая. Вполне, в общем-то, симпатичная физиономия, открытая, спокойная, видно, что человек всей душой предан науке. У молодой Алисон на фотографии прямые темные волосы, молочно-белая кожа, как у меня и Эйнджел, широко расставленные, с тяжелыми веками глаза Фелисити и живое выражение лица.

Судя по всему, приемные родители Алисон, супруги Уоллесы, играли не слишком большую роль в жизни ее детей.

— Кажется, они были торговцы, — сказала Лорна. — Очень заурядные люди. У них была сеть маленьких магазинчиков, но в семидесятых появились большие супермаркеты, они разорились и уехали в какое-то жуткое захолустье, вроде бы в Саут-Кост. Мама мало о них рассказывала.

Мне поведали историю любви родителей Лорны и Гая. Оба учились на геологическом факультете Имperiал-колледжа в Южном Кенсингтоне, ему было двадцать четыре года, ей двадцать два. Через три или четыре месяца после знакомства они поженились, причем родители и жениха и невесты были против. Лорна и Гай, судя по выражению лиц, тоже не одобряли, хотя обязаны своим появлением на свет именно их союзу. Алисон в конце концов превратилась в домашнюю хозяйку, сидела дома, занималась детьми, стряпала, убирала, как и многие женщины ее поколения, которые получали высшее образование ради самого образования. Марк стал палеонтологом, известным ученым, таким отцом можно по праву гордиться. Лорна извлекла из ящика обтрепанную фотографию, на которой Марку присуждают почетную ученую степень в Кембриджском университете, и еще одну — на ней он водит принца Чарльза, совсем еще мальчика, вокруг холма, в котором нашли что-то доисторическое необычайной важности. Будь эти фотографии мои, я бы вставила их в рамку и повесила на стенку на почетном месте, хоть бы и в сортире — дескать, не так уж я пафосно к этому отношусь, но от Даусонов ничего такого не дождешься. Они испытывали болезненную неуверенность относительно своего положения в обществе. Выбросить

фотографии для них было бы уж слишком, а вот сунуть подальше в ящик — это пожалуйста, там им самое место.

Марк был родом из маленького городка где-то в центральных графствах, его дед и бабушка по отцовской линии умерли совсем недавно, их наследства никто не дождался, оно все ушло, как слишком часто случается в наши дни, на оплату их содержания в доме престарелых. Старики сейчас живут дольше, но здоровья у них не прибавилось. Дедушка Даусон был врач, у него был кабинет на Харли-стрит, бабушка — редактор естественно-исторического журнала. Их снобизм был беззлобен и избирателен, он проявлялся скорее в связи с наличием или отсутствием ума и образования, а не денег. Марк женился на девушке не своего круга, никто ее родителей не знал, к тому же она, судя по всему, была беременна Гаем, но хотя бы в остром уме ей нельзя было отказать. Судя по фотографиям, это приبلудное дитя Фелисити красотой не блистало, но глаза были очень хорошие, материнские, и милая, застенчивая улыбка. Молоденькая Алисон стояла, неловко ссутулившись, скованная, совсем как Лорна.

В пятидесятые годы самым популярным противозачаточным средством считалось воздержание. Аборты делались исключительно по медицинским показаниям и исключительно оперативным хирургическим путем. Если молодой человек сделал девушке ребеночка, ничего не попишешь — изволь на ней жениться, иначе сочтут негодяем и подлецом. Предохраняться предписывалось мужчине, и еще неизвестно, что хуже — *coitus interruptus* или полное отсутствие секса. Если мужчина не мог сдержаться и беременной оказывалась совсем не та девушка — увы, тем хуже. И если потом оба были несчастливы всю жизнь, опять же увы, тем хуже. Близость полагалась после свадьбы, а не до, теоретически девушки должны были оставаться девственными до брачной ночи, если же они теряли невинность раньше, что ж, сами виноваты, теперь пусть пеняют на себя. Гости во время венчания откровенно разглядывали талию невесты и строили догадки. Новобрачные уезжали куда-нибудь после венчания, возвращались через несколько месяцев с младенцем и темнили по поводу дня его рождения.

Венчание в церкви было бы тяжким испытанием для Даусонов, слишком уж бросалась бы в глаза разница в социальном положении родни жениха и невесты. Уоллесы — лавочники, а то, что Алисон — приемная дочь, рожденная незамужней матерью, лишь добавляло сложностей. “Яблочко от яблони... — все бы стали думать, — родная мать в подоле принесла, а воспитали лавочники”. Может быть, беда Лорны в том, что она слишком уж старается быть добропорядочной женщиной. Возможно, презрение свекра и свекрови распространилось и на детей Алисон, этим и объясняется их социальная неуклюжесть. Иными словами, им неведомы азбучные истины, с которых начинается воспитание. Если ты заставляешь кого-то платить за свой обед, не следует выбирать самое дорогое блюдо, какое только есть в меню. Если ты пригласила на чашку чая человека, который живет на другом конце Лондона, дешевым печеньем тут не обойтись, надо сделать еще хотя бы бутерброды, ведь гость мог и проголодаться. Люди состоявшиеся, к какому бы классу они ни принадлежали, и ведут себя подобающим образом, сказала бы Фелисити. Например, Уэнди, достав из пластиковой сумки пакетик с конфетами, непременно протянет его вам, Лорна же, взяв пачку сигарет, заглянула в нее, сказала: “Прошу прощения, осталась всего одна” — и закурила ее, ей и в голову не пришло, что это по меньшей мере дико. Впрочем, все мы не без странностей, и я наверняка не исключение, какие-то мои привычки, поступки, возможно, удивляют людей, а я и не догадываюсь. Хоть бы кто-нибудь сказал.

Когда я сообщила Гаю и Лорне, что нашла их двоюродную бабушку, Люси, младшую единокровную сестру Фелисити и тетку их матери Алисон, — точнее, это она нашла меня, — они не выказали ни малейшей заинтересованности. Ну обнаружилась у них двоюродная бабка, ну и что? Наверняка вдова какого-нибудь производителя спортивных тренажеров, ни ученой степени, ни печатных трудов. Зачем она им? И даже после этого не пригласили меня побывать у Алисон.

— Если вы поедете к маме на Рождество, может быть, возьмете и меня с собой? — нахально напросилась я.

— Никакого смысла, — отрезал Гай. — Рождество, не Рождество — ей все едино.

Положим, сознание у человека помутилось, но это вовсе не значит, что мир перестал существовать. Если Алисон не знает, что нынче Рождество, ей можно объяснить, пусть даже она через минуту забудет. Нормы цивилизованного поведения нужно соблюдать, хотя бы эти нормы больше не зиждились на религиозной морали, иначе зачем нужна цивилизация?

К тому же она не только их мать, но и моя тетка, единоутробная сестра Эйнджел, мы кровные родственники. Я решила непременно навестить ее на Рождество, мне все равно, как поступят ее дети. Но сначала я побываю у Люси — хотя бы потому, что мне необходимо узнать сюжетную завязку сценария, который выстраивается в моем мозгу кадр за кадром, эпизод за эпизодом, чтобы лечь в основу полнометражного фильма. Мне и в голову не приходило, что жизненный сценарий мисс Фелисити еще не дописан, мы все склонны считать, что женщины за восемьдесят просто тихо доживают свой век, дожидаясь смерти, и все мы ох как ошибаемся.

Что уж говорить о семидесятилетних, у них еще столько лет впереди, и они никому не позволяют распоряжаться своей жизнью. Люси, младшая сестра Фелисити, явилась ко мне сама. Уэнди сообщила ей, что я навожу справки о ее прошлом. Я была потрясена. Представьте себе, что вы, пользуясь своим законным правом, вскапываете землю, и вдруг откуда-то из норы выпрыгивает маленький лохматый зверек и кусает вас за нос, а потом вцепляется в уши огромными, сильными, как у крота, лапами. А я-то считала затеянное мной расследование чем-то вроде улицы с односторонним движением. Раскопки я прекратила, но мои находки продолжали жить своей собственной жизнью.

Она была все еще стройна и элегантна, с прямой, как у Фелисити, спиной, но, в отличие от Фелисити, ей выпало прожить жизнь без особых забот и тревог, в границах общепринятых норм морали. Я поняла это по ее сдержанной любезности, по вежливому изумлению, с которым она оглядела мое жилище, словно бы недоумевая, почему нет привычного гарнитура из дивана и двух кресел, почему шторы висят на петлях из тесьмы и нет нормального карниза, почему морозильная камера стоит в гостиной и кто разрисовал ее сценами из диснеевской “Фантазии”. Одета со вкусом в мягких бежевых и коричневых тонах, но чувствуется, что душе ее куда милее небесно-голубой, как и всем женщинам, которые состарились, так и не повзрослев. Именно голубая ленточка была в ее тщательно уложенных, по-прежнему густых снежно-белых волосах. На левой руке широкое обручальное кольцо, на правой — кольцо с крупным бриллиантом, в таком не стоит щеголять в Сохо. Палец вместе с кольцом не отрежут, но могут вывихнуть или сломать, стаскивая. Такое не раз случалось.

Широко распахнутые, беззащитные голубые глаза смотрели с постаревшего лица, искусно изображая доверчивость. Я говорю “искусно изображая”, потому что эта игра помогала выжить женщинам предыдущего поколения. Если ты беспомощна и достаточно хорошенькая, обязательно найдется мужчина, который поменяет тебе колесо, возьмет в жены и будет всю жизнь бегать за твоей оставленной где-то сумочкой, причем его жизнь скорее всего окажется короче твоей, мало того — он завещает тебе все свои деньги, и ты еще сможешь пожить в свое удовольствие, оставшись вдовой. Когда Люси сказала мне, что недавно овдовела и что ее муж занимался производством велотренажеров, я ничуть не удивилась. Если респектабельности можно достичь лишь при полном отсутствии чувства юмора, что ж, пусть. Я сама способна заработать себе на жизнь. Я родилась на сорок лет позже Люси. У меня есть профессия, талант, опыт. Другим женщинам повезло куда меньше.

Перед тем как прийти, Люси позвонила и спросила, буду ли я дома. Я предупредила ее, что ко мне нужно подниматься по лестнице, а света в подъезде нет, но она ответила, что лестница ее не пугает, главное, чтобы были перила. Я на миг растерялась, но все же вспомнила, что перила имеются. Конечно, молодые бездумно носятся по лестницам вверх и вниз через две, а то и через три ступеньки, если спешат, старики же более осторожны, может быть — не слишком устойчиво держатся на ногах или просто по опыту знают, какими неприятностями чреваты падения. Им нужны надежные перила. Положив трубку, я тут же сообразила, что надо было сказать: “Никаких перил нет” — и не пустить ее к себе, уж очень неудачное время для визита она выбрала: субботний вечер, завтра прилетает Гарри Краснер, нужно уделить внимание мыльной опере моей собственной жизни. Холли решила

сохранить ребенка, она категорически против аборт. Он выпалил мне это и не переводя духа попросился ко мне жить. Я сказала, пусть он позвонит, когда прилетит, я скажу ему, удобно мне это или нет. Я надеялась, что мне удастся попасть под занавес в салон “Харви Николз” или еще в какой-нибудь — сделать депиляцию ног. Чтобы я, София Кинг, когда-нибудь напрягалась так ради мужчины? Да я раньше о такой чепухе и думать не думала. Если Господь дал женщине волосатые ноги, мужчина обязан с этим мириться. Припоминается песенка в стиле кантри: “Ах, зачем я брила ноги, ах, скажите мне — зачем?” Возможно, неожиданный приход Люси был не только предостережением свыше, но и избавлением. Если Гарри Краснер уйдет, потому что мои ноги не отвечают голливудским стандартам атласной гладкости, что ж, скатертью дорожка. И вообще, допусти только тему ног в качестве побочного сюжета и начни ее разрабатывать — все, ты погибла, ее уже не укротишь, она начнет жить своей собственной жизнью, сплетаясь с основной интригой, как ленточка в белоснежных волосах Люси. (Может быть, это парик, хотя вряд ли, к ее колыбели наверняка тоже прилетала добрая фея и тоже подарила красивые волосы, как и мне.)

Я наконец-то поняла, в чем заковыка вопроса, который любят задавать писателям: “Вот вы придумали героев, и что потом — они начинают жить, повинаясь логике своих характеров?” Большинство писателей отвечает обескураживающе честно: “Нет, они иногда пытаются, но все равно их судьбами распоряжаюсь я”. И вот вам пожалуйста: Люси, которая, по моим представлениям, существовала лишь в архивах прошлого, врывается в настоящее поистине в соответствии с логикой своего характера, поднимается ко мне по крутой лестнице, отказывается подчиняться моей воле и того и гляди с помощью реальных фактов перекромяет эффектные кадры заставки перед фильмом, который я мысленно снимаю. Как вы догадываетесь, это фильм-биография Фелисити.

Люси демонстративно села спиной к диснеевским сценам на холодильнике — и правильно сделала: когда-то мне казалось, что разрисованный фломастерами холодильник будет выглядеть прикольно, я была в те дни бедна, сил и времени хоть отбавляй, а сейчас ни времени, ни сил исправить содеянное — и заговорила со мной как хозяйка положения. Ее детский голосок звучал ясно и четко. Кот спрятался под плитой. Кот был самый обыкновенный, не породистый, голенастый, на него у меня тоже не хватало времени. Просто удивительно, почему великий Гарри Краснер, голливудская знаменитость, терпит меня. Люси говорила голосом хорошо воспитанной девочки, что она очень рада, что Фелисити жива и здорова, но лично она предпочитает не ворошить прошлое, эти воспоминания для нее не слишком приятны. Ей также совершенно не нужно, чтобы частные детективы совали нос в ее жизнь. Никаких отношений с Фелисити она устанавливать не хочет, у них нет ничего общего, ведь прошло столько времени. Ее астролог высказался против, так же как и ее доктор. А поверенный предупредил, что может возникнуть масса неприятностей по поводу завещаний и прочего. Однако если Фелисити хочет отыскать своего давно потерянного ребенка, она, Люси, не станет ей препятствовать. Она согласилась встретиться со мной один раз, для того сейчас и пришла, расскажет мне все, что ей известно, и на этом поставит точку.

Я не писатель, я всего лишь монтаж. Я могу строить предположения, но не имею права придумывать. Наверное, я в конце концов что-нибудь и сочинила бы, но правда оказалась намного страшнее, чем я была способна вообразить, а детские воспоминания семидесятипятилетней старухи, как по заказу, отлились в форму законченного сценария — иначе как трагедией такую повесть не назовешь. Я поняла, почему по прошествии стольких лет Люси не хотела менять свой взгляд на прошлое: схема ее мироустройства не

предусматривала для Фелисити хеппи-энда.

Люси четко распределила роли и обозначила амплуа: ее отец Артур — безвинно пострадавший герой; Фелисити — юная героиня, трагическая жертва злодея, дяди Антона, который соблазнил ее и погубил; мать Люси, Лоис, — злодейка. Фильм немой, черно-белый, должен идти под аккомпанемент тапера. Фелисити — Клара Боу, в широко раскрытых глазах ужас, она дрожит, вжимаясь спиной в стену, а хозяин квартиры угрожает ее матери выкинуть их на улицу, если она не уступит его домогательствам; Фелисити — Альма Тейлор, обесчещенная сирота, лежит на снегу. А вот дама в летящем шифоне, которая покупает туалеты в роскошных магазинах и владеет пейзажем Утрилло, — нет, такую Фелисити Люси знать не желает.

Случись такое со мной в те далекие годы, я бы тут же на месте и умерла. Или побежала вслед за другими совращенными девицами прыгать с моста Ватерлоо. Может быть, сейчас мы просто слишком много знаем о травмах, как эмоциональных, так и физических, и потому не верим, что способны после них остаться в живых, ну и, естественно, умираем. Если у зла, которое нам причинили, нет названия, оно не так сильно вгрызается нам в сознание и в память, его словно бы относит течением, и более поздние впечатления могут его поглотить. Я говорю о том времени, когда слово “рак” не произносили вслух, когда душевные заболевания в роду тщательно скрывались, а если девушку изнасиловали, она об этом должна была молчать, потому что над ней не только надругались, она к тому же считается опозоренной, теперь на такой девушке никто не женится, а как женщине жить, если у нее нет мужа или щедрых покровителей? Даже в двадцатые годы только самой незаурядной женщине удавалось заработать себе на жизнь иным способом, чем в постели... Ухищрения моды и манер, стрижка “под фокстрот”, плоская грудь, рюши и плиссировка — все это служило, как и всегда, главной цели женщины: выжить.

Судьба имеет обыкновение сдавать нам раз за разом один и тот же набор карт. Эта злодейка решила, что вместе с хорошими и даже козырными картами у Фелисити непременно должно быть две-три никудышные, из-за них ей никогда не выиграть. Судьба послала к ее колыбельке Добрую Фею, которая одарила ее красотой, обаянием, внутренней силой, мужеством, умом, а потом жизнь отняла родителей, дала злую мачеху — мать Люси, Лоис, — привела в дом брата Лоис Антона, вынудила отказаться от здоровенького младенца, а когда Фелисити оправилась от этих бед, нанесла сокрушительный удар с помощью безумной Энджел. Конечно, не роди она Энджел, не появилась бы на свет и я, но какой бабушке прок от меня? Холодная, равнодушная молодая женщина, без мужа, без материнских инстинктов, я никогда не подарю ей правнуков, эта ветвь семейного дерева засохнет, не дав живого ростка.

Нет, я никогда не стану рисковать. Доверить своего ребенка злодейке Судьбе? Все знают, как она коварна, как жестоко над нами смеется. Уж лучше обратиться к генетикам, хотя и с генами возможны самые неожиданные казусы. Выберите на роль отца самого обаятельного в мире мужчину, а дитяtko возьмет и уродится в его занудного прадедушку-урода. Например, вам нужен актер на главную роль, а вы, вместо того чтобы поехать на самую крупную студию и выбрать после проб ярчайшую звезду, начинаете рыться в телефонном справочнике. И потом, вы никак не властны над тем, что растет в вас. Даже если при зачатии все сошло благополучно, вы вдруг выпьете лишнюю рюмку или будете слишком долго находиться в комнате, где курят, и, как всем известно, у вас вполне может родиться серийный убийца или второй Квазимодо. На вас свалится постылое бремя, вы

будете всю жизнь прикованы к существу, которое невозможно любить.

У Люси было двое детей от второго мужа, того, который импортировал детали велотренажеров. Дочь изучала искусство аборигенов Западной Австралии, сын служил в одном из банков Гонконга. Она, как видно, не скучала по детям. Возможно, они уехали из Англии не из желания спастись от слишком властной материнской любви, а чтобы забыть об ее отсутствии. Нет, детей ни у дочери, ни у сына нет, они “живут в свое удовольствие, ни на что другое нет времени”. Я решила, что не буду пытаться встретиться с ними. Мой прадед был их дедом, это правда, но слишком уж мало общего между их поколением и моим, а дальность расстояний и цена авиабилетов разбавляют родство до седьмой воды на киселе. Значит, и этой ветви семейного дерева суждено засохнуть бесплодной и отвалиться. Бедная Мать-Природа, я, женщина, относящаяся к ней с таким недоверием, готова была пожалеть ее: как часто ее пути гложут нынче в тупике, как часто объекты ее экспериментов кричат: “Хватит! Довольно!”

После того как Люси рассказала мне историю рождения Алисон, я осторожно спросила ее, может быть, она все же изменит свое решение и позвонит или напишет Фелисити.

— Нет, — твердо сказала она. — Это выбьет у меня почву из-под ног, и тогда мои старые ноги подломятся, хоть я и кручу каждый день педали на велотренажере.

И тут я вдруг увидела, что она ужасно похожа на мисс Фелисити, передо мной мелькнуло видение семьи, которая из поколения в поколение передает своим детям бесценный дар природы — чувство юмора, на душе стало тепло, но и грустно, я пожалела, что никто больше этот дар не унаследует, — сожаление, впрочем, было мимолетным. Этот дар обошел Гая и Лорну, потому-то их жизнь так бесцветна и тосклива. И ладно бы судьба их обделила только способностью радоваться. Возникло подозрение, что дело обстоит несколько хуже: они просто заурядны. Почему все твердят о заурядности порока? Но пусть так, пусть порок зауряден, но это вовсе не значит, что заурядность порочна. Уголь черный, но ведь не все черное — уголь. Ладно, хватит философствовать.

Люси встала, собираясь уходить. Я проводила ее вниз по лестнице. На полпути зазвонил телефон. Я не включила автоответчик. Телефон звонил и звонил, потом замолчал. Я чувствовала, что это Гарри, но не отзвонила ему — узнать, он ли. Может быть, он больше не вернется в мою квартиру. Зачем так страдать из-за мужчины, который проявляет ко мне интерес лишь потому, что я позволяю ему экономить на такси до студии.

Да, да, я помню, я еще не рассказала то, что узнала от Люси о детстве Фелисити, но есть вещи, которые даются не так-то легко. Как ключевая сцена фильма: ее часто откладывают напоследок.

Двоюродный дед Гая и Лорны, с которым у меня нет ни капли общей крови, был родом из Вены, он приехал в Лондон в 1928 году, чтобы найти свою сестру Лоис, с которой потерял связь, — так, во всяком случае, он сам объяснял свой приезд. Возможно, он был, как теперь говорят, “экономический беженец”; звали его Антон Вассерман, и, как я поняла, вряд ли кто-нибудь пожелал бы иметь среди своих предков такого законченного негодяя. Вы можете упрекнуть меня в том, что мне не нравится фамилия Вассерман. Нет, я просто на стороне Фелисити и ее родной матери, несчастной Сильвии.

Младшая сестра Антона, Лоис Вассерман, была вундеркинд, двенадцати лет она приехала в Лондон учиться игре на фортепьяно в Королевском музыкальном колледже и стала жить на пансионе у одной семьи на Гоуэр-стрит, откуда рукой подать до Марилебон-роуд, где находится колледж. Через несколько месяцев после ее приезда в Лондон сербскому националисту по имени Гаврило Принцип засело в голову убить эрцгерцога Франца Фердинанда, и он выстрелил в него в Сараеве, после чего началась Первая мировая война. Принципу было семнадцать лет, пылая националистической страстью, он, не целясь, выстрелил в автомобиль эрцгерцога, который ехал по главной улице городишка, и промахнулся. После чего сунул револьвер в карман и зашел в кафе за углом выпить кофе — все в лучших традициях. Эрцгерцогский шофер, спасаясь от опасности, сворачивал на полной скорости то направо, то налево, пока не заблудился и в конце концов пришел спрашивать дорогу в то самое кафе, где сидел Принцип. “Не удалось с первой попытки, все равно не отступай, добивайся цели”. Принцип вышел на улицу и застрелил эрцгерцога, а заодно и эрцгерцогиню. Не убей он их, Фелисити, без сомнения, и по сей день жила бы в Лондоне, а Люси, Гай, Лорна и Алисон никогда бы не родились на свет. От таких мыслей можно с ума сойти. Сослагательное наклонение позволительно применять только к чему-то совсем недавнему, скажем, если оно случилось до обеда, не раньше.

Когда началась война, всех, кто носил немецкую фамилию и продолжал жить в Англии, начали травить и преследовать, считая шпионами. С маленькой мисс Вассерман перестали заниматься в музыкальном колледже, семья, в которой она жила, отказалась держать ее у себя, а вернуться домой ей было не на что. Родители, жившие в Вене, не имели средств, чтобы ей помочь, а может, просто не хотели. Так Лоис в двенадцать лет осталась одна, заботиться о ней было некому. Моя прабабушка Сильвия, тоже пианистка, по доброте душевной взяла девочку к себе в дом, и здесь, в семье Муров, Лоис выросла. (Я съездила в Хэмпстед-Хилл, где когда-то находилось родовое гнездо. В шестидесятые годы дом снесли, там, где когда-то разыгрывались жестокие трагедии, теперь высятся муниципальные многоэтажки. Вот так исчезает без следа наше прошлое; стены, впитавшие в себя страсти, которые мы в них пережили, обращаются в пыль, и, может быть, так оно и лучше.) Артура послали на войну в качестве корреспондента “Таймс”, Лоис в это время уже была членом семьи. Она жила в доме и когда он вернулся, и когда у Сильвии родилась Фелисити, и когда бедняжка Сильвия умерла от гриппа. Через шесть месяцев после ее смерти Лоис, эта кукушка, выросшая в чужом гнезде, стала женой Артура, а еще через два месяца родилась Люси.

Умерла от гриппа... Может быть, Лоис поступила как Маргарет Локвуд, когда играла любовницу в “Человеке в сером” (1943 год): жена лежит больная в жару, а та распахивает

окна, и от ледяного ветра у жены начинается воспаление легких, она умирает. Может быть, отняв у жены мужа, Лоис потом с помощью любовника избавилась и от него? В пятидесятые годы такие трюки проделывала чуть не во всех своих фильмах Барбара Стэнвик — ужокошит муженька и получит страховку. Вы скажете, банальная мелодрама, но таких мелодрам сколько хочешь и в жизни. Кино отражает жизнь, жизнь — кино. Все вполне могло случиться именно так.

Сотрудники агентства “Аардварк” сидят в Сомерсет-Хаусе или там, где сейчас находится государственный архив, и, отыскивая адреса и сопоставляя даты, обнаруживают такие вот жизненные трагедии. Вы можете спросить, какой в этом смысл? Вряд ли бедняжке Сильвии хотелось жить. Мало кто заметит, что двадцатилетняя девушка беременна, но Лоис была не из тех, кто пощадит свою благодетельницу и скроет такую новость. “Знаете, я беременна, отец моего ребенка — ваш муж”. Каждый в этой жизни за себя, всегда так было — и в те времена, и сейчас. Женщины вечно твердят: “Нет, нет, я не имею дела с женатыми мужчинами”, но я не знаю ни одной, которая бы не врала, при этом все считают, что “нет, нет, они на самом деле не женаты, он просто живет с ней” в корне меняет дело. Во времена Лоис и Сильвии на карту ставилось еще больше: не просто секс и близкие отношения, но и замужество плюс все, что ему сопутствовало, — дом, положение, дети, деньги; словом, ваша жизнь была обеспечена до самой смерти. Любовница знала, что игра стоит свеч. Забеременей от мужчины, сведи его с ума своими ласками, заставь жену страдать и возмущаться — и вполне можешь рассчитывать, что он в конце концов на тебе женится.

По словам Люси, как только Лоис избавилась от Сильвии и поймала в свои сети Артура, она потеряла к нему всякий интерес. У Люси сохранились воспоминания, как Артур пытается обнять и поцеловать Лоис, а она его отталкивает. Он был всегда мрачный, чем-то озабоченный, она всегда не в духе. (Впрочем, дети обычно замечают только плохое в отношениях родителей, они не входят за ними в спальню, не видят, как дневные отношения сменяются ночными.) Родители ссорились из-за Фелисити, Лоис хотела отдать ее в интернат, Артур не соглашался.

Бедняжка Фелисити, теперь у нее была хрестоматийная злая мачеха, замыслившая избавиться от дочери покойной жены, чтобы все досталось ее собственной (смотри “Золушка”, “Белоснежка”, “Свет мой, зеркальце...” и т. д.). “Прочь с моих глаз! Ступай в лес, там тебя съедят волки, и не надейся, отец тебя не спасет!” И верно, не спасет, согласно выкладкам социальных дарвинистов, папочка уже вряд ли помнит о твоём существовании, новая жена моложе и здоровее, она лучше распорядится его генами, чем покойная. Иными словами, ослепленный любовью муж предпочитает не видеть, что творится в его собственном доме.

— Может быть, для Фелисити было бы лучше, если бы ее отдали в интернат, — сказала Люси. — Она вызывала постоянное недовольство: то неаккуратно застелет постель, то плохо закроет кран, ее запирали в ее комнате, а то и связывали руки, чтобы не устраивала разных каверз. Иногда даже запирали в кладовке. Она никогда не плакала. Помню, я однажды попыталась просунуть ей под дверь кусок хлеба с джемом, меня увидели и заставили слизать джем с пола. Моя мать была чудовище. Почему отец ничего не замечал?

— Так уж они устроены, мужчины, — отозвалась я.

Когда Артур умер, с Фелисити стали обращаться еще хуже. Теперь ее наказывали, отправляя жить к слугам, и очень скоро она чуть ли не переселилась туда насовсем. Спала она на чердаке, ела в кухне, а Лоис и Люси — в столовой. (Как тут не вспомнить Ширли

Темпл в “Бедной богатой девочке”.) Люси было приказано называть ее Мэй, а не Фелисити, такое изысканное имя не пристало сироте без отца, без матери, которой самой придется пробивать себе дорогу в жизни. (А это уже “Джейн Эйр” с Джеймсом Мейсоном в роли Рочестера.)

— По-моему, Фелисити нравилась эта трагикомедия, — сказала Люси. — В ней с детства жила актриса. Она заявляла, что любит чистить картошку и вообще со слугами ей гораздо веселее. А однажды показала моей матери нос, и тут уж Лоис и в самом деле отдала ее в интернат.

— “Джейн Эйр”, — сказала я. — Или “Николас Никльби”?

Она с недоумением посмотрела на меня, и я начала сомневаться в надежности ее свидетельских показаний. Она представила детство и отрочество Фелисити в сценарии, где события и образы зиждутся на мифах и архетипах, я, конечно, сделала то же самое, только соотношу все с фильмами, тогда как Люси — со сказками Артура Ми, на которых выросла. Что ж, кто чем богат. Люси считала свою мать врагом, а так как мать ненавидела Фелисити, она подружилась с врагом своего врага и сейчас, не чувствуя за это ни малейшего стыда, рассказывала о событиях в той последовательности, как они развивались.

— Как умер ваш отец? — спросила я, подождав, пока она успокоится. Ее отец и мой прадед Артур уже в зрелом возрасте на свою голову влюбился по слабости характера в дурную женщину и сделал несчастными несколько поколений своих потомков. Муж Сильвии позволил Лоис забеременеть от него. В наше рационалистическое, чурающееся мелодрамы время слово “муж” вышло из моды. Даже женщины, состоящие в законном браке, частенько предпочитают называть мужчин, с которыми они спят, “партнерами”, дабы не отстать от века. Увы, “партнер” исключает предопределенность драмы, не налагает обязательств, в нем отсутствует Thanatos, отсутствует трагедия. Он не потянет на героя серьезного, концептуального фильма, может претендовать разве что на роль второго плана, и уж тем более никто не рискнет доверить ему роль отца своих детей в реальной жизни. Всеми силами искореняя в себе способность страдать, мы старательно обходим горе стороной и что-то теряем на этом пути, что-то приобретаем. Люси была одной из тех, кто вышел на этот путь достаточно рано.

— Как он умер, я не знаю, — ответила она. — Нам сказали, что отец заболел, с месяц он не вставал с постели, приходил доктор. В те времена детям почти ничего не рассказывали. Однажды утром мать вышла из гостевой спальни и объявила нам, что он умер. Вот и все.

Больше Люси ничего не могла мне рассказать, может быть, не хотела, хоть я и продолжала расспрашивать. Но я отлично видела эту сцену. Лоис выходит на лестничную площадку в длинном, прямом, с мелкими складочками на плоской груди платье и смотрит вниз, на поднятые вверх личики девочек — десятилетней Фелисити и трехлетней Люси. Она не может сдержать торжества. “Ваш отец умер”. И сразу все меняется, между прошлым и настоящим вдруг пролегает непонятная пропасть. Я тоже слышала эти слова: “Твой отец умер”.

— Ни ей, ни мне не позволили о нем плакать, я хорошо это помню, — продолжала Люси. — Мать даже в самое счастливое время не выносила наших слез, нас за это шлепали. Нам было сказано, что все к лучшему. Фелисити не пустили на похороны. Она оделась во все черное, и тут вдруг Лоис объявляет, что она никуда не пойдет, ей там делать нечего, Артур ей вовсе не отец. Это было ужасно. Фелисити бросилась на нее с кулачками, кричала,

царапалась, а Лоис только смеялась, она сказала, что Фелисити — дочь разносчика угля, Сильвия с ним путалась. Но мы много раз видели этого разносчика, он был ужасно страшный, поэтому мы поняли, что она врет. Словом, меня на похороны взяли, а Фелисити заперли в ее комнате.

— Как вы думаете, а не могла Лоис отравить вашего отца, с такой-то неустойчивой психикой? — спросила я полувшутку-полувсерьез, но Люси вполне серьезно ответила, что ничуть бы такому не удивилась. Лоис ни в малейшей степени не была неуравновешенной, она была просто жестокая и злая — так отозвалась дочь о своей матери. А Артур перед самой смертью написал новое завещание, в нем он оставлял все не Фелисити, а Лоис.

— Отец умер и словно бы утонул в молчании, — говорила Люси, — меня это больше всего мучило, хоть я и была совсем маленькая. Никто о нем не вспоминал, как будто он был надоедливая муха, от которой наконец-то избавились. Мать поставила в гостиной его фотографию, наверное, чтобы разыгрывать роль безутешной вдовы, если кто-то вдруг к нам придет, а то вдруг примут за веселую вдову. Но к нам почти никто не приходил, могла бы и не притворяться. Я считала, что, наверное, Фелисити в чем-то провинилась, наверное, она не очень хорошая девочка, раз ее все время наказывают. Когда Фелисити рассказала мне, что у нее раньше была мама и что она спала в постели, где сейчас спят мой отец и моя мать, я ей не поверила. Не может же человек исчезнуть без следа, а ее мама исчезла, хоть бы сетка для волос осталась, или любимая чашка, или книга. И с отцом, когда он умер, случилось то же самое: исчезли все его вещи, будто никогда ничего и не было. Не избавилась мать только от его домашних туфель, и то лишь потому, что я их спрятала и потом целый год хранила одну туфлю у себя под подушкой. А однажды я увидела, что другая под подушкой у Фелисити.

Я сказала, что все это прошло и быльем поросло, и у нее хватило душевной тонкости ответить, что на самом деле ничего никогда не проходит.

Стоп-кадры (воображаемые): сцена, в которой Сильвия умирает в своей спальне от гриппа, а Лоис притворяется, будто ухаживает за ней, хотя на самом деле всеми способами старается ее уморить, но никто этого не замечает; Артур возвращается вечером домой после целого дня работы в редакции “Таймс”, а его подстерегает Лоис, она говорит ему, что Сильвия крепко спит (на самом деле Сильвия вовсе не спит, она совсем ослабла и не может встать, но все слышит), уводит к себе в спальню, как уводила уже много раз, и беременеет. Если Артур уступил ей однажды, он, в общем-то, просто обязан уступать снова и снова. Мужчине, ввязавшемуся в такие опасные отношения в собственном доме, назад хода нет. Он должен ублажать ту, другую женщину, иначе она расскажет жене, а если жена узнает — все, конец, так что лучше уж пользоваться жизнью, пока можно, пока обстоятельства позволяют. И так повторяется снова и снова.

Люси не винила Артура: он оказался жертвой Лоис, все, точка, сама она — плод их союза, и, осуждая обоих родителей, она должна была бы жалеть, что появилась на свет. Насколько нам, людям, было бы легче, если бы мы вылуплялись из яиц и знать не знали бы, кто наши родители, тогда наши беды начинались бы лишь после того, как мы пробьем скорлупу своими младенческими клювиками. Увы, нам не повезло. Люси прожила жизнь в довольстве лишь потому, что некогда умерла Сильвия. Наша сегодняшняя радость всегда оплачена чьими-то вчерашними страданиями. Хорошо, что снесли мой отчий дом, его стены впитали слишком много горя.

Но мы ничего не знаем наверняка, мы можем лишь гадать, насыпали в вечернее молоко яд или нет. Терзалась ли умирающая Сильвия страхом за маленькую Фелисити, думала ли, как горько ей придется без родной матери, когда она окажется в полной власти Лоис? Конечно терзалась, но сделать ничего не могла. Воды сомкнулись над ней.

Жизнь несовершенна, в ней нет окончательных развязок; мы можем ее прожить, так и не узнав правды, далеко не все убийства раскрываются, и единственный настоящий конец — это смерть. Фильмы предлагают хоть какую-то развязку, хоть какие-то ответы, какие-то решения, а все скучные куски и эпизоды монтажер вырежет. Как хорошо, что мы родились в век кино. Неудивительно, что мы пристрастились к галлюциногенам, они действуют почти так же: мы словно бы превращаем наше тело в кинотеатр и заглядываем вглубь себя.

Не прошло и месяца после смерти Артура, а умер он в двадцать пятом году, как в доме поселился брат Лоис, Антон. См. “Двойную страховку” с Барбарой Стэнвик в роли жены, замыслившей с любовником убийство, плюс инцест. Но в Голливуде брат не может быть любовником, такое вам предложат французы или немцы, скорее даже австрийцы, у них фильмов немного, но все тяжелые, безрадостные, трагичные.

— После того как он появился, жизнь стала лучше, — сказала Люси. — Мать повеселела. Мы были рады, что он живет с нами. Он шутил, мы все пели, собравшись вокруг рояля. И еда стала вкуснее. Фелисити позволили приходить домой по воскресеньям, а потом и вовсе взяли из интерната и даже разрешили есть со всеми в столовой. Антон захотел, чтобы обе девочки занимались балетом, но способности к балету были только у Фелисити.

— Я всегда была неуклюжий слоненок, — говорила Люси. — Антон меня не замечал, как не замечал и отец, а вот с Фелисити просто носился.

— А Лоис позволила ей брать уроки балета?

— Мать всегда делала все, что хотел Антон. Интересно, что у них были за отношения? Тогда-то мне и в голову не приходило заподозрить что-то дурное. Вы, наверное, думаете, что я слишком очерняю свою мать. — Люси вдруг остро взглянула на меня, и я промолчала, подтверждая ее догадку. — Вы, молодые, сейчас со всех сторон защищены, — возразила она. — Вы и понятия не имеете, каким страшным может быть мир, какие мерзости творят люди, когда им кажется, что никто ничего не видит. В те времена не было социальных работников, и над детьми издевались как угодно жестоко, все сходило с рук. Сейчас другая крайность: каждый ваш шаг на виду, каждый чих на слуху.

Она была не из тех, кто ждет чьих-то решений, она сама берет все в свои руки; вот и ко мне первая пришла, опередив мой визит. И уйдет, когда сочтет нужным. Никуда не денешься, она дочь Лоис, хоть и не желала бы такой матери. Опасная это штука — ненавидеть свою мать, тогда вы должны ненавидеть и себя, а ненависть к себе разрушает душу. Какое счастье, что я не оказалась сиротой и не попала в лапы Лоис. Да уж, кровосмесительница Лоис Вассерман, некогда пианистка-вундеркинд, а потом мачеха и, возможно, убийца, превратила бы мою жизнь в такой же ад, в каком оказалась Фелисити. Люси вынула из своей элегантной итальянской кожаной сумки альбом. А, фотографии. Мы стали вместе смотреть их.

Стоп-кадры (настоящие, из альбома Люси): пожелтевшая вырезка из газеты 1913 года, на ней фотография двенадцатилетней Лоис и подпись: “Маленькая пианистка-вундеркинд из Вены”.

На тонком листке бумаги, который много раз складывали и разворачивали, так что он

вытерся до дыр по складкам, статья о своеобразии таланта вундеркинда. Бедная Лоис, как она, должно быть, жалела, что все сложилось именно так, что Гаврило Принцип воспользовался шансом, который еще раз подкинула ему судьба, и весь мир втянулся в войну. Какой страшный выигрыш выбросила ему адская рулетка — шанс отнять жизнь у миллионов молодых мужчин и обездолить миллионы женщин. С выцветшего снимка на нас смотрела девочка Лоис — угрюмая, некрасивая, с чувственным ртом, глаза слегка навывкате, тяжелый, как у всех Вассерманов, подбородок строптиво вздернут. Бедная Лоис, бедные мы все. Много ли ей досталось родительской любви?

Но уж коль речь зашла о родительской любви, много ли ее досталось мне? Я по крайней мере всю жизнь старалась не причинять людям зла. Но если бы Холли вдруг решила родить от Гарри ребенка, а потом умерла, а я стала бы жить с ним, как бы я относилась к его сыну? Лучше ли, чем Лоис? Неужели тоже унижала бы и мучила? Нет, конечно, сейчас надо действовать более тонко и незаметно, потому что все сразу становится известно социальным службам. Может быть, можно просто делать минимум необходимого и отсылать чадо на все лето в лагерь, чтобы иметь возможность работать, и Гарри наверняка ничего не заметит, как не замечал Артур. Я уже ненавижу этого несуществующего ребенка, которого придумала, он мне отвратителен, я полна злобы. Нет, позиция Люси, к которой ее привел опыт долгой жизни и которую я готова признать, намного удобней: ее мать Лоис родилась злодейкой и злодейкой умерла, поставим на этом точку и забудем.

Семейный портрет, кабинетная фотография: Артур и Сильвия, любящие муж и жена, за руку матери держится малышка Фелисити, ей годика три, Лоис чуть заметно прижалась к Артуру, она словно бы оттеснила всех на задний план. Глаза в первую очередь останавливаются на ней. У нее хорошая фигура, это видно, стройные красивые ноги под нарядной, до колен, плиссированной юбкой, она пышет молодостью, короткие волосы завиты крутыми волнами, тяжелую челюсть можно и не заметить. У Сильвии милое усталое лицо, немного поблекшее, но храброе, она старше Артура, который улыбается счастливой открытой улыбкой, чуть отклонив голову от жены в сторону Лоис.

Фотография: семья на пикнике. Лоис и Артур полулежат на траве, прижавшись друг к другу, рядом сидит некрасивая малышка Люси, выставив перед собой ноги, чуть поодаль от семейной группы Фелисити плетет гирлянду из маргариток. Я тоже умею их плести, меня научила Эйнджел: нужно сорвать цветок, чтобы стебель был как можно более длинным, прорезать его ногтем большого пальца, вставить в прорезь стебель следующей маргаритки, в нем тоже сделать прорезь, и так далее. Наверное, Фелисити потом научила этому Эйнджел, а саму Фелисити, без сомнения, научила Сильвия, когда еще была жива. Вряд ли Лоис занимали такие глупости, как гирлянды из маргариток.

Еще одна газетная вырезка: Фелисити, совсем еще девочка, лет тринадцати, в балетной пачке, хрупкие руки грациозно подняты, она улыбается застенчиво и одновременно горделиво. Под снимком подпись: “Девочка из Лондона получила стипендию для занятий в Королевском балетном училище”.

— Она этой стипендией так и не воспользовалась, — сказала Лоис. — Ей не разрешили учиться. Мать сказала, что у балерин спина болит и ноги становятся слишком мускулистые. А вот я продолжала брать уроки, о моих ногах никто не тревожился.

Фотография: Лоис и Антон на ступеньках Национальной галереи, позируют уличному фотографу. Им слегка за тридцать, у Антона длинная, невыразительная физиономия,

тяжелая челюсть Вассерманов, Лоис его копия, только в женском варианте, — совсем как Гай и Лорна. Они держатся за руки. Брат и сестра? Нет, скорее муж и жена.

— Эту я нашла в игольнице матери, уже после ее смерти, когда разбирала вещи, чтобы продать дом.

— Что такое игольница? — спросила я.

— А это такая стеганая полоска шелка, которую можно сворачивать. Раньше женщины шили себе одежду сами, так в них они втыкали иголки; внутрь можно было спрятать какую-нибудь дорогую твоему сердцу безделицу, в таком укромном месте никто твою тайну не откроет. Когда Антон стал с нами жить, в интернат отдали и меня тоже. Он торговал картинами.

Стоп-кадры (воображаемые): сцены из жизни Фелисити, они будут включены в сценарий фильма, который я мысленно пишу. Ночь. Семилетней Люси не спится; завернувшись в одеяло, она сидит у окна и смотрит в сад. Светит полная луна. Заснеженные ветви зимних деревьев склонились к каменной ограде. Восьмигранная застекленная беседка. По снегу крадется кот. Тлеет огонек сигареты. Дядя Антон стоит, прислонившись к стволу старой шелковицы; говорят, ей больше трехсот лет. На нем енотовая шуба, тогда такие были в моде. Задняя дверь дома открывается, в сад выскальзывает Фелисити. Ей четырнадцать лет, она думает, что она все в мире знает, и она влюблена в дядю Антона. Люси дразнит ее этим, а Фелисити краснеет и говорит: глупости, ничего подобного. Он говорит, что увезет ее отсюда, он уезжает в Австралию, и она тоже поедет с ним. Ему предложили работу в Национальной галерее искусств, она поступит в балетную труппу оперного театра в Сиднее. На Фелисити что-то темное и блестящее, это выдровое манто Лоис; ее полудетское тело едва сформировалось, такое худенькое от нескончаемых балетных упражнений; она босиком и все время пританцовывает, чтобы не замерзли ноги. Ее рыжие кудри взлетают в воздух, они словно светятся в лунном свете. До Люси доносится шепот. Что она слышит? Что говорит Фелисити? “Я люблю тебя, я люблю тебя”? Публика эти слова точно слышит, она всегда ждет и боится их услышать. Рука Антона сжимает ее маленькую грудь, крепкую юную попку... Фелисити дрожит. Она никогда ничего подобного не испытывала, происходит что-то непостижимое и огромное. (В сущности, нам не так уж и нужно, чтобы сцена шла через восприятие Люси, девочка понадобилась лишь для затравки. Итак, вырезаем Люси.) Мы смотрим на Антона и Фелисити своими глазами, следим за каждым их движением. Вот он целует ее, а она отстраняется. Но он для нее высшая власть, в его руках ее жизнь. У нее нет никого в мире, кроме Антона, только Лоис, а от Лоис можно ждать чего угодно, она жестокая и злая, может оставить ее нищей, лишит дома, семьи. Но даже Лоис слушается Антона. Он снова целует Фелисити, и на этот раз она покоряется. Он протискивает язык ей в рот, ей неприятно, это слишком интимно, она хочет вырваться, но он крепче прижимает ее к себе, его руки поднимают ее ночную рубашку, что-то твердое упирается ей в живот — господи, что это? Он втаскивает ее в беседку и укладывает в плетеный шезлонг, который там зимует. Теперь она оказывается на спине, он сверху, его колено раздвигает ее ноги. Ей страшно, она начинает кричать, он от ее крика приходит в ярость. “Сучка, — шипит он, — ты сама меня заманила. Ты отлично знала, что делаешь”. Его рука зажимает ей рот, она кусает руку. Теперь его не остановить, он возьмет реванш. Дальше даем сцену дальним планом. Ужас, который случился потом, вам известен.

Возвращаемся к Люси. Из беседки несутся стоны и крики, Люси их слышит и смутно

понимает: там происходит что-то страшное. Что ей делать? Позвать мать?

Нет, мать звать нельзя, все станет еще хуже, она это знает, хоть и не знает почему. Из беседки выбегает Фелисити, шубки на ней нет, ночная рубашка в пятнах крови. Потом появляется и Антон. Он закуривает сигарету и, привалившись к стволу старой шелковицы, с удовольствием затягивается, ему так хорошо, тепло в енотовой шубе.

— Все было так обыденно, в порядке вещей, вот что страшнее всего, — говорит Люси мстительно через семьдесят лет. — Он небрежно курил и любовался полной луной, получая одинаковое удовольствие от сигареты и от луны, такое же удовольствие он только что получил от Фелисити, не больше.

На следующее утро за завтраком Фелисити не поднимает на Антона глаз. Он бодро входит в столовую, насвистывая, с аппетитом поедает печенку, ветчину и сосиски, требует, чтобы Фелисити тоже ела, потом, как бы между прочим, бросает: да, кстати, он все-таки решил не ехать в Сидней.

— Мать просто расцвела от счастья, когда он это сказал, — говорит Люси. — А Фелисити потеряла сознание. Вызвали доктора, он объяснил, что ничего страшного, просто нервы. Антон снова стал обращаться с ней как с маленькой девочкой, и скоро ее опять отослали в интернат.

Месяца через четыре Фелисити стала болеть и сильно поправилась, она не понимала, что с ней. Когда Лоис увидела ее изменившуюся фигуру, она набросилась на нее с кулаками и открыла ей грубую правду жизни, то есть объяснила, что от связи с мужчиной рождаются дети. Фелисити — нравственный урод, визжала Лоис, грязная, омерзительная распутница.

— Если все и вправду так, как вы говорите, значит, отец ребенка — Антон, — ответила Фелисити.

Разразился грандиозный скандал. Антон заявил, что он тут ни при чем, как можно до такого додуматься, и потешался от души. Фелисити — дрянная потаскушка, чего от нее еще и ждать. Он видел, как она тайком выходила ночью из дому, да еще в выдровой шубке Лоис. Одному богу ведомо, с кем она пугалась. Жила со слугами, вот и переняла их повадки. Сейчас вон залетела с ребеночком и врет — хочет выкрутиться. Хитрая, пронырливая тварь.

Фелисити не верят, как она ни бейся. Лоис выгоняет ее из дому, выталкивает пинками за порог, озверев от бешенства. Ее везут на такси в Общество призрения незамужних матерей, это в Блумсбери, на Корам-стрит, и оставляют у двери на крыльце, как будто она бездомный ребенок, а не всеми брошенная мать. Фелисити некуда идти, она садится на ступеньки и начинает думать, что же с ней теперь будет, а вечером ее берут под свое попечение монахини, которые держат приют для матерей с незаконнорожденными младенцами. Она будет отрабатывать свой хлеб. Здесь Фелисити проживет до родов, ей не позволяют выходить за стены приюта, дабы не смущать других, она будет молиться три раза в день, чтобы Господь ее простил, голодать, холодать, на ночь ее будут запирают. Приют существует при монастыре, и Фелисити поручают мыть длинные, выложенные плиткой полы коридоров, по которым безгрешно ступают чистые, целомудренные ноги высоких духом и давших обет безбрачия. Фелисити согласна с приговором, который вынес ей мир: только на эту роль она и годится. Иногда она мечтает, что вот придет Антон и вызволит ее, но редко, очень редко. Она живет среди девушек и женщин от двенадцати до сорока лет, и все они беременны, но ни одной не удалось выйти замуж. Одни всего лишь просто

растерянные, другие раздавлены совершенным над ними насилием; есть тут и проститутки, которым не удалось вытравить плод. Кого-то выгнала из дому семья, у кого-то никогда никакой семьи не было.

Фелисити — одна из тех, кого судьба сокрушила. На нее словно нашел столбняк, но скучное, однообразное течение дней, принудительные покаянные молитвы, неуклонный рост ребенка в ее чреве дают ей возможность оправиться после всех потрясений, что ей пришлось пережить, а ведь она и сама не знала, как подорваны ее силы. Сначала смерть матери, потом отца, в промежутке между их смертями появление злой мачехи: в радостную, безмятежную жизнь неожиданно ворвались жестокость и злоба, Фелисити поняла, что Бог вовсе не добр, и все это ей удастся осмыслить и принять за недолгие пять месяцев. Сначала она много плачет, как все и ожидали. А так ничего особенного за это время не происходит. (Как показать значимость этого “ничего особенного”? Нелегкая задача для режиссера, кто бы он ни был.) Фелисити начинает что-то понимать в жизни.

Она поняла, что природа не отвернулась от беспомощных изгоев, среди которых она живет, не предала их, ведь вон растет же у них у всех грудь, раздувается живот, это только общество их отвергло, значит, общество состоит из безмозглых идиотов. Поняла, как сурова и груба жизнь, как безжалостно с ней поступили люди; здесь ей объяснили, что она сможет зарабатывать на жизнь, продавая свое тело. Оказалось, что женщины в приюте считают ее красивой, хорошо воспитанной и умной и ставят гораздо выше себя. Это ее удивило, но и польстило. На нее надеялись, ей доверяли. Однажды товарки послали Фелисити к монахиням просить, чтобы по воскресеньям их не лишали ужина, и она вернулась с победой. Уговорить монахинь было совсем не трудно. Другой такой злыдни, как Лоис, на свете просто не существует. Фелисити чуть ли не радовалась, что живет в приюте.

Она знала, что должна будет отказаться от ребенка, его отдадут на усыновление. А ребенок звал ее из чрева, просил любви, заботы, и она ожесточила свое сердце. Ничего другого ей не оставалось. Может быть, надо посоветоваться с адвокатом, думала она, может быть, можно как-то попытаться отсудить дом отца, но где взять денег на адвоката? Она видела отцовское завещание, в котором Артур все свое состояние оставлял Лоис и Люси, потому что случайно нашел письма любовника Сильвии, из которых явствовало, что Фелисити не его дочь. Как докажешь, что это ложь?

Маленькой Люси удалось разузнать, где находится Фелисити, и она пришла к ней повидаться один-единственный раз. Новости из дома, если только слово “дом” здесь вообще уместно произносить, не дали Фелисити ни малейшей надежды на то, что Лоис вдруг передумает, пожалеет ее, раскается, признает свою моральную ответственность. Пришли полицейские и арестовали Антона: в Вене против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, он проходил как подозреваемый по делу о краже полотна Густава Климта, потому что выдал себя за торговца картинами, наконец полиция его поймала.

— Что сказала Фелисити, когда вы ей это рассказали? — спросила я Люси семьдесят лет спустя.

— Сказала, что зря он не уехал в Австралию, пока еще было возможно.

— И только? Она что же, не испытывала к нему ненависти?

— За что ей было ненавидеть его? Она же сама вышла к нему в сад той ночью. У нее были дурные наклонности, она и родилась порочной, тут мать была права, и то, что она не знала жизни, ничуть ее не оправдывает. После того как выгнали из дому Фелисити, исчез и

Антон; мать чуть рассудка не лишилась. Наверное, это она выдала его полиции.

Я возразила, что, конечно, при желании можно считать пятнадцатилетнюю Фелисити коварной соблазнительницей, но она всего лишь поступила с Лоис так, как Лоис поступила с Сильвией, и поделом Лоис. Надеюсь, Люси согласна, что Фелисити наказали слишком жестоко?

И вот что ответила на это Люси:

— Думаю, хорошо, что Фелисити узнала про Антона. Ведь легче расстаться с ребенком, когда знаешь, что его отец — преступник.

Она не спросила меня, как сложилась жизнь Алисон, а я не стала ей рассказывать. Не слишком-то деликатно вспоминать про болезнь Альцгеймера в присутствии пожилых людей.

— И насильник, — уточнила я.

Ее лицо сделалось каменным, но если заглянуть под камень, я бы увидела явную неприязнь к себе.

— Правильно, что отдали ребенка на усыновление, это был наилучший выход, — убежденно произнесла Люси и встала, готовясь уходить: все, наша встреча окончена. Если бы я была Филлис Кэлверт из “Человека в сером”, она бы, несомненно, распахнула окна и меня смял бы ураган.

И тут я попросила ее подумать: может быть, она все-таки изменит свое решение и встретится с Фелисити, но Люси сказала нет и при этом вдруг улыбнулась так обаятельно, с таким тонким пониманием, что вызвала у меня искреннюю симпатию. Ей тоже пришлось немало пережить. Да и кого судьба миловала?

Третьего января в три часа дня Джеку позвонила свояченица Джой. Вне себя. Она трижды за последнее время звонила Чарли на сотовый, и каждый раз он оказывался отключен. Она натягивала меховые сапоги и спускалась к гостевому флигелю. И опять дверь ей отпирала новая незнакомая женщина, которая только глазами хлопала, когда Джой спрашивала, где Чарли. Из их постоянно растущих семейных рядов призывались англоязычные подкрепления. Для этих приезжих, жаловалась Джеку сестра покойной жены, контракт о найме — пустая бумажка: женщина в дверях, когда ей наконец перевели вопрос, пожала плечами и высказалась в том духе, что мужчины делают что хотят когда хотят и спорить тут не приходится. Мало того, возмущалась Джой, и “мерседеса” в гараже не оказалось. Разве у них с Джеком не было уговора, что, собираясь воспользоваться услугами Чарли, он будет ставить ее в известность?

В это мгновение Джек, слушая ее вопли, несущиеся над заснеженными полями из ее дома и по телефонным проводам, и прямо по воздуху, понял, что нечего было и надеяться найти в ней замену Франсине. Зачем только он переехал сюда? Ему тут тоскливо, одиноко, это ему наказание за то, что обставил Фелисити на 200 000 долларов.

Он тогда принимал антидепрессант прозак и лучше всего себя чувствовал осенью. А сейчас не то. И местность здесь такая — малонаселенный, невеселый лесной угол, соседние дамы-холостячки уже наезжали посмотреть нового поселенца на предмет, какую роль он мог бы сыграть в их жизни; но так как он им не приглянулся — видно, чересчур шумлив и прост для здешней тихой, изысканной природы и их безмятежного быта, — они и уехали, а его даже не пригласили. Одной общительности, выходит, недостаточно. Прежние знакомые, которыми они с Франсиной когда-то обзавелись, наведались раза два — интересовались, как он тут, говорили, до чего же замечательно, когда здесь же, под боком, родня, — и исчезли из его жизни навсегда. Ведь он мало того что похоронил жену, — а кому приятны напоминания, что рано или поздно это и с ними случится? — но вдобавок еще совершил грех переезда, что всегда рассматривается как своего рода измена. И теперь он обречен сохнуть здесь до старости лет, а Джой будет отравлять ему существование, и вокруг — никого, только Чарли и его разрастающееся семейство. Джек с завистью смотрел по телевизору, как на Балканах беззубые старики проводят время в обществе женщин и детей, пока молодые мужчины на стороне резвятся с оружием в руках, — по крайней мере, в семье, хоть за главенство и приходится состязаться с древними старухами. С Франсиной можно было бы поговорить на эти темы, а у Джой вообще не было даже канала CNN, внешний мир ее не интересовал. Кажется, одинокая и отрезанная от всего, как и он, она этого не чувствовала — может быть, потому, что сама такая шумная, крикливая. Он как мог старался наполнить ее полупустой дом звуками жизни, но в одиночку его хватило ненадолго. Разумно поступила Фелисити, что перебралась в Род-Айленд, хотя и всего за несколько миль, но там жизнь побойчее. Наверно, чем ближе к океану, тем как-то лучше, больше всего случается. Того гляди из-за горизонта покажутся корабли, может, свои, а может, вражеские: белый парус, серый паровой дымок. Надо постоянно глядеть в оба, какое бы столетие ни было на дворе.

— Я думал, ты после обеда отдыхаешь, — сказал Джек.

— Раньше отдыхала, — пролаяла Джой. — А теперь нет. Мне сказали, что когда спишь после обеда, нарушается ночной сон. В нашем возрасте необходимо менять распорядок дня. Я подумала, может быть, съездить в гости к мисс Фелисити. И вот пожалуйста! Исчез шофер! Для чего люди держат шофера, если не для того, чтобы выезжать когда вздумается?

Под действием ли прозака или чего другого или чтобы немного встряхнуться, но Джек расхрабрился и рассказал Джой, что Чарли каждый день возит Уильяма Джонсона в “Золотую чашу” к Фелисити.

— У нее с ним роман, — уточнил он. — Можешь порадоваться за подругу.

Последовало недолгое молчание на другом конце провода, потом она переспросила:

— Это тот проходимец, с которым она познакомилась на похоронах?

— Он самый, — подтвердил Джек. — Чарли говорит, неплохой парень.

— Еще бы Чарли так не говорил. Он и сам проходимец. Смотри, как он нами пользуется. Может, он еще заодно устроил дом свиданий над моим гаражом? Уильям Джонсон! Сразу видно, что имя вымышленное, настоящее не бывает таким обыкновенным. Он моложе ее на десятки лет, ясно, что охотится за ее деньгами. Видел бы ты, в какой трущобе он живет.

— Ей он, похоже, нравится, — возразил Джек.

— Если ты имеешь в виду то, что, я думаю, то это отвратительно. В таком возрасте не занимаются сексом. Перед людьми неловко. Если Фелисити завела себе жиголо, то он ее просто водит за нос. Стыд, позор и сплошное неприличие. Не хватает еще только, чтобы он теперь на ней женился и сбежал с ее деньгами.

— По-моему, в семьдесят два года он староват для жиголо, — осторожно заметил Джек. — И потом, мы не знаем, не обязательно же они занимаются сексом.

— Для Фелисити обязательно. Эксон и месяца не прошло как умер, а она уже закрутила с каким-то скупщиком старинных вещей, который постучался к ней в дверь. Наверно, извращенец какой-то или подслеповатый. Купил у нее дубовый комод и как будто бы заплатил немалые деньги, так что выходит, он еще и придурковат. А ты на чьей стороне, вообще-то? — завершила Джой на высокой ноте, и Джек увидел, как косуля, робко обрисовавшаяся на опушке, испуганно сорвалась с места и скрылась. Джой сказала, что позвонит в “Золотую чашу”, она не допустит, чтобы ее лимузин — ее лимузин, черт побери! — выжившая из ума старуха использовала для устройства свиданий с какими-то проходимцами.

— Что мы скажем, если нас застанут? — спросила Фелисити. Она лежала раздетая в постели рядом с Уильямом. Они соприкасались боками, изо дня в день привыкая к этому прикосновению, и смотрели в потолок, временами оглядываясь друг на друга. Им обоим не хватало скрытности ночи. Днем, конечно, тоже хорошо, но только до сорока лет, а потом чем меньше света, тем лучше. Шторы как ни задергивай, хитрый дневной свет все равно просачивается сквозь щели в оконной раме. Им бы обоим хотелось лежать бок о бок в ночной темноте, как все люди. Но это означало бы открыться, объявиться перед всеми, а ни она, ни он к этому еще не готовы, хотя сами затруднились бы объяснить почему. Пока что они просто лежали в постели, потому что так легче разговаривать. Его рука иногда добиралась до ее груди, исследуя, знакомясь, и Фелисити в кои-то веки пожалела о своем прежнем теле. Теперь тело влекла и подталкивала ее воля, а было время, когда оно само — упругая грудь, крепкая плоть — срывалось с места и пускалось во все тяжкие, приходилось

его только сдерживать.

Ей было приятно и не скучно вдвоем, даже чувствовалось легкое возбуждение, от соска еще по-прежнему во всех направлениях бежали нервы, но не в возбуждении дело, может быть, думалось ей, это настоящая любовь, разговоры о которой ей прежде случалось слышать и даже приходилось притворяться, будто она ее испытывает, но кажется, на самом деле ей незнакомая. Что-то такое, что могло зачеркнуть события, о которых не хотелось вспоминать, первые грубые прикосновения к твоей несогласной, но покорной, неопытной груди. Современные теории, являющиеся, на взгляд человека в возрасте и с жизненным опытом Фелисити, просто глупостью, утверждают, будто такое начало, как было у нее, оставляет болезненный сексуальный и эмоциональный след, от которого невозможно исцелиться. Но с ней позже, да и раньше тоже, случались вещи похуже — ведь не сравнить же сначала смерть матери, а затем и отца — отца, который предал тебя дважды: приведя в дом Лоис, а потом уйдя из жизни и оставив тебя в ее неограниченной жестокой власти, — с тем циничным часом в беседке при свете луны. Как упорно шарил, нащупывал и вдруг прорвался внутрь тебя, недоумевающей, наглый, настырный Антонов член. Как заискивал, обольщал голос, насылая ложь за ложью, этих провозвестниц беды. Как вырвался из твоего все так же недоумевающего тела младенец на пропитанные кровью простыни у сердитых монахинь. Но ведь исцелилась. Забыла. Хорошенько постаралась забыть и забыла все, что только было возможно. И продолжила свою жизнь, ту ее часть, которая оставалась. И чего-то добилась, просто назло. Не желая смириться с поражением.

— Что-то не так? — спросил он.

— Вспомнилось кое-что, о чем лучше не вспоминать.

— Это есть у всякого, — сказал он.

Оба они были чересчур стары, чтобы огорчаться из-за того, что было когда-то. Наоборот, все, связанное с подъемом душевных сил, представлялось задним числом упоительным и прекрасным.

— Завтра Чарли отвезет нас кое-куда, — сказал он. — Хочу тебе кое-что показать.

Что именно — он рассказать отказался: сюрприз. Возможно, она отвернется от него навсегда, а может быть, и нет. А ей хотелось знать. Ну хорошо, если он не скажет, она узнает от кого-нибудь другого. Как бы то ни было, он явно относился к этому не особенно серьезно. Он наклонился к ней, его старые глаза заглянули в ее еще более старые, как в зеркало, содержащее только приятные отражения, подсвеченные ожиданием.

Но что? Что? Он отказывался отвечать. Она начала было в нетерпении бить пятками по постели, однако тут же перестала, так как почему-то вдруг сильно закололо бедро. Что такое, неочевидное, можно узнать о человеке, что заставит от него отвернуться? Где он живет, она знает. Может быть, другая женщина? Едва ли. Такую существенную подробность он бы ей сообщил или она бы сама почувствовала. Конечно, она не знает, что он делает без нее, в его распоряжении вся первая половина дня да вдобавок еще и вечер. Она предполагала, что, будучи пенсионером, он, как и она, не делает ничего — просто ковыряется по мелочам, день ото дня неохотнее и растягивая эти мелочи на все незанятое время. Но если он что-то и делает, денег ему это занятие не приносит, это ясно.

— Время исповеди! — сказала она. — Ты, наверно, хочешь услышать мою.

Она уже понемногу рассказала ему все, вернее — все, что готова вспомнить. Все равно она теперь не та, какой была когда-то. Она слишком много раз меняла кожу и отрастила слишком много новых нервных окончаний. Так что обманщицей себя не чувствовала. Начала с того, как вышла замуж за Джерри, который был отцом Томми и который не считал нужным ей сказать, что у него уже есть жена; зато, по крайней мере, благодаря ему она перебралась через Атлантику и начала здесь новую жизнь с американским паспортом на себя и свою еще не рожденную дочь Эйнджел.

Рассказала, как жила в Саванне, когда этот брак распался. Девушка для развлечений — вот как она тогда себя называла. Пела, плясала, а могла и ночь провести — такие у нее были обязанности на самом шикарном пароходе в стиле модерн, ходившем вверх-вниз по реке. Медленное, вечное течение воды, запах горячего машинного масла, отдельные каюты, красный плюш, медные задвижки — многое ли изменилось за десятилетия? Кое-что все-таки изменилось, на ее долю выпало самое лучшее время, теперь там одна тощица: вместо виски — газированная водичка, и даже в каютах, предназначенных для порока, курить воспрещается. А тогда были сигареты, и виски, и отчаянные девицы, и она была одной из них. “С ними голову теряешь, все заботы забываешь”. Женщина с прошлым — это еще не беда, если только это прошлое — отчаянное просто с отчаяния, а не ради денег. И если, рассказывая теперь, она кое о чем говорила неясно, вскользь, кому до этого дело? Женщины, старея, обычно сожалеют о том, чего в их жизни не было, а не о том, что было. Она честно и правдиво рассказала Уильяму Джонсону, как было дело, когда она вышла замуж за одного из своих патронов, покровителей, клиентов, называйте как хотите, который был в восторге от ее английского выговора. Ему требовалось поставить дом на британскую ногу, он основывал собственную авиакомпанию. В течение года он привозил ее в свой богатый особняк с портретами предков на стенах, стоявший на окраине этого сырого, обросшего лишайником и плесенью города Саванны, укладывал на старинную кровать под балдахином и просто слушал, как она разговаривает. И однажды, когда они проходили по улицам под горячими лучами солнца, косо просачивающимися сквозь бледные патлы испанского мха ^[12], он предложил ей стать его женой. А у нее от усталости не было сил ответить “нет”. “Да” сказать легко, а для “нет” требуется усилие. И был невыносимый зной. Рассказала, как она выходила замуж, вся в белом, а дамы и господа перешептывались, элегантно пальцами прикрывая рот. Как устраивала для него приемы, и вела его роскошный дом, и помогала покупать картины — у нее всегда был верный глаз на живопись — Эдварда Хоппера, Мэри Кассат. И все это время брак оставался лишь формальным. Как поначалу это ее радовало, приятно было владеть своим телом единолично. Но потом стала нервничать, раздражаться, чувствовать, что попала в западню. Думаешь, почему бы не продать себя, и действительно, ничего особенного — на день, на ночь, даже на неделю. Но на годы? Комфорт и материальное благополучие обесцениваются, когда этого добра у тебя вдоволь. Он, конечно, был гомосексуалистом — обычная вещь в этом тесном, замкнутом кругу, где в углах, как кумушки, шептались, сговариваясь, бледнолицые красавцы, — и это было ей более или менее известно с самого начала. Он, по крайней мере, старался это побороть, как и многие в те времена. Если проявление гомосексуальной любви, осуществление того, чего требует твое тело, считается преступным деянием, ты, конечно, постарайся перестроиться и обзавестись женой, а если из этого ничего не выходит, будешь тайно искать общества себе подобных, увлекаясь и распаяясь самой этой скрытностью. Можно ли на это сердиться?

Через пять лет она попросила развода, и он со вздохом согласился.

— Пять лет без секса? — ужаснулся Уильям.

— Нет, конечно, — ответила она, но распространяться не стала, сказала только, что она, по возможности, никогда не сманивала чужих мужей. В Саванне вообще почти все светские браки были одной видимостью. На раутах всегда можно было наблюдать, как сбившиеся в кучку мужчины шепчутся, сладко улыбаются, назначают свидания, пока дамы ведут модный южный разговор — сплошное обаяние и переливчатый смех, и вы, милочка, то, и вы, душенька, се, — не вкладывая в эти речи никакого смысла.

В конце концов она уехала. Ждешь, ждешь, чтобы что-нибудь случилось, но потом убеждаешься, что надо не ждать, а действовать, иначе так никогда ничего и не случится.

— Вот откуда твой Утрилло, как я теперь понимаю, — сказал Уильям. — Раздел имущества при разводе.

Ей иногда думалось, что он вообще слишком много внимания уделяет этой картине, хотя можно себе представить, как людям с непривычки бывает не по себе при виде того, что на стене попусту висит капитал в добрых два миллиона. В “Золотой чаше” она сказала, что это репродукция. У них ни у кого нет ни знания, ни интереса, чтобы приглядеться, а если бы и вздумали приглядываться, сами бы не знали, что ищут.

Но что у него за таинственное занятие, которого она может не одобрить? Что-то такое, о чем нельзя рассказать, а надо видеть. Может быть, он служит в похоронном бюро? Наряжает и прихорашивает покойников? Другого ничего не приходит в голову. Не посоветоваться ли за ужином с доктором Бронстейном, вдруг он что-нибудь сообразит? Но чтобы с ним разговаривать, придется кричать, да и не расскажешь в двух словах, о чем речь, сразу же появится сестрица Доун. Напрасно она беспокоится: общение Фелисити с доктором Бронстейном ограничено его глухотой. Когда говорит он, Фелисити волей-неволей слушает. И этим он, похоже, вполне удовлетворен. Мог бы включить свою “слуховую машину”, как он это приспособление называет, она у него с виду дорогая и, наверно, неплохо работает, но он ее не включает. Его глухота — своего рода метафора жизни, он привык пользоваться окружающими женщинами как свидетелями того, что происходит вокруг, они для него не участницы происходящего, а замена слуха, как телевизионная реклама заменяет непосредственное наблюдение, когда в старости начинаешь плохо соображать и пользуешься как предлогом своей немощью, чтобы поступать по-своему, не слушая ничьих возражений. Если человек тебя не слышит, то и бесполезно ему что-нибудь втолковывать. Интересно, что за жизнь была у миссис Бронстейн, каково ей доставалось, с чем приходилось мириться? Можно ли себе представить, чтобы когда-нибудь она, Фелисити, оказалась в постели рядом со славным доктором? Нет, это невозможно. Ей нужен определенный мужчина, вот этот, Уильям Джонсон, и чем бы он ни занимался, на их отношениях это не может отразиться.

— Твои мысли витают где-то далеко, — сказал он. — Ты думаешь о другом мужчине, я чувствую.

Она рассмеялась и ответила, что уже вышла из такого возраста. Она думает о том, что ей завтра надеть.

В дверь негромко постучали. Это сестра Доун, она часом раньше расписания явилась с обходом и позвала нежным, строгим голосом:

— Мисс Фелисити, мисс Фелисити!

Фелисити нервничала, когда посторонние ее так называли. Неясно, что в эти слова вкладывается: в устах близких они звучат ласково, а у недоброжелателей — как издевка. Хотя сегодня голос сестрицы Доун сладок и вкрадчив. У Софии, когда она произносит “мисс Фелисити”, слышна в голосе некоторая примесь иронии и высокомерия, с какими молодость обычно обращается к старости, и получается ласково, но отчужденно. В устах Джой это попытка поставить Фелисити на место, посмеяться над ее прошлым южанки, намекнуть на ее жеманство и претензии, но, как правило, любя. Когда доктор Грешалли так ее называет, он показывает, что относится к ней как к маленькой девочке. А у сестры Доун слова “мисс Фелисити” означают злой умысел, хамство и хитрость, которых следует остерегаться. Будь по ее, Фелисити уже отправили бы в Западный флигель как лицо недееспособное.

Уильям затаился под одеялом. Они были как застигнутые на месте подростки.

— В чем дело, сестра Доун? Я отдыхаю.

Как легко дается ложь после практики длиною в целую жизнь. И как убедительно звучит.

— Можно мне войти? Рабочие доложили, что в кровле протечка. Я должна взглянуть.

— С этим придется повременить, сестра Доун, — отозвалась Фелисити, но сестра Доун воспользовалась дежурным ключом и уже находилась в комнате. Фелисити подтянула одеяло до подбородка, но на спинке кресла была сложена одежда Уильяма, а на ковре стояли его ботинки.

— Чья это обувь? — спросила сестра Доун. — Она подходит только на мужскую ногу.

Уильям откинул одеяло и сел. Сестрица Доун взвизгнула, однако не убежала.

— Миссис Мур — свободная белая совершеннолетняя женщина, — произнес он. — Не в расистском смысле.

— Будьте добры, прикройте, — злобно сказала сестра Доун. — Вы не зарегистрированы в качестве гостя миссис Мур, вы незаконно проникли в здание и потревожили покой нашей пациентки, и я вынуждена просить вас удалиться. Мы вернемся к этому разговору позже, когда успокоимся.

Ее властное лицо, обычно бледное, словно обескровленное и ожесточенное неизменной самоуверенностью, вспыхнуло и покраснелось.

— Я совершенно спокойна, — возразила Фелисити, не покраснев и не побледнев. — Вы ведете себя вульгарно. Я не ребенок, чтобы мне указывали, как надо и как не надо поступать.

— Невелика разница, — огрызнулась сестра Доун. — Раз впали в детство, приходится за вами смотреть для вашего же блага.

— Если бы вы удалились, — сказал Уильям, — я бы мог сейчас одеться.

Фелисити с удовольствием рассматривала его обнаженный торс: седые, жесткие волосы на груди, крутые ребра, обтянутые бледной, тонкой кожей, широкие, еще вполне мускулистые плечи. Возможно, конечно, она пристрастна — вон с каким отвращением смотрит на него сестрица Доун.

— Я дипломированная медицинская сестра, — произнесла та, — и насмотрелась на раздетых стариков. Едва ли вы можете произвести на меня особенное впечатление.

Но тем не менее комнату покинула. Уильям оделся. Из сада донесся звук подъехавшего лимузина Чарли.

— Вредная женщина, — заметил Уильям.

— Ты ей, кажется, не понравился, — кивнула Фелисити.

— Нам придется пожениться, — сказал Уильям, — если мы и дальше хотим

встречаться. Иначе неприятностей не оберешься. Как ты считаешь?

Мисс Фелисити, у которой в распоряжении оставалось не так-то много лет, открыла было рот ответить: “Да, конечно”, но он приложил палец к ее губам и велел хорошенько подумать и подождать с ответом до завтрашнего вечера, она, быть может, еще изменит решение.

— Ты много можешь мне предложить, а я тебе так вообще почти ничего, — сказал он. Она почувствовала себя польщенной, но тут же неведомо откуда пришло воспоминание — настойчивый, уговаривающий голос: “Ну, пожалуйста, пожалуйста, дорогая, позволь, ты же обещала”. Кто это твердил? Ну да. В саду, при луне, среди снега. Мягкое коричневое тепло ее шубки, не ее шубки, а Лоис. И тяжелый, мохнатый, в енотовой дохе, теперь замолчавший Антон.

Сестра Доун отправилась напрямиком к доктору Грепалли:

— У нее был в постели мужчина.

— А у меня часто бывает женщина, — отозвался он. — Но сегодня что-то нет.

— Потому что у меня был крайне серьезный телефонный разговор с ее подругой, — сказала сестра Доун. — Она очень встревожена. Наша мисс Фелисити угодила в лапы к известному авантюристу, мошеннику и игроку. Может получиться крупная неприятность для “Золотой чаши”.

И это была чистая правда. Одним из молчаливых уговоров с родственниками узников “Золотой чаши” было обязательство администрации оградить стариков от интриг хорошеньких молодых нянечек, охотящихся за их деньгами, а старух — от посягательств расчетливых альфонсов. Старые люди, которые влюбляются и вступают в брак на склоне лет, норовят менять свои завещания, так что их собственность уходит из рук у родных, столько лет за ними ухаживавших и всем ради них жертвовавших. Вот какая неблагодарность. Как сказал однажды Фелисити Уильям Джонсон, сославшись на другого Джонсона, прославленного ученого и остроуслова XVIII века, “ни одно доброе дело не остается безнаказанным”.

— Ах ты господи, надо же! — покачал головой доктор Грепалли. — Выходит, мисс Фелисити до сих пор, несмотря на возраст, или же как раз благодаря ему, не утратила привлекательности. Отношения у них, я полагаю, ненастоящие?

— Что за вздор, — рассердилась сестра Доун, но сразу же умолкла, по крайней мере пока. Доктор Грепалли не склонен отнестись к ее словам серьезно. Она по своему опыту знала, что отношения между мужчинами и женщинами редко бывают настоящими. Обычно это форма торговой сделки. Мои деньги — твое тело; ты ложишься в мою постель — я беру тебя с собой на вечеринку; ты составляешь завещание — я стряпаю для тебя, навожу чистоту, еду на твои похороны; могу быть тебе за отца родного, если ты будешь мне вместо матери; ну и так далее. Редко когда что-нибудь отдаешь по-настоящему, свободно, по своей воле.

Некоторых мужчин по-настоящему привлекают старые женщины, она это знает. А есть такие, которые, наоборот, тянутся к малолеткам. И то и другое — в равной мере извращение, разница только в том, что людям, которые перенесли травму в позднем возрасте, меньше времени остается страдать от ее последствий. Удивительно: спишь с мужчинами и вообще находишься с ними в очень близких отношениях, но при этом знаешь про них совсем мало и готова поверить, что ты — предел их желаний. Жены и любовницы педофилов и насильников даже не подозревают, что происходит у них за спиной.

Напрасно думают, считала сестра Доун, что дома для престарелых ходят на детские дома, где обслуживающий персонал испытывает к подопечным нездоровый интерес, садистский, или эротический, или и то и другое. Но если что-то приносит удовольствие, кому какое дело, чем именно? Если на тебя падает бомба, разве важно, во имя чего она брошена: ради борьбы за мир или же это, наоборот, теракт? Она, сестра Доун, вонзает свой острый каблук в поясницу доктору Грепалли ради своей карьеры и сладкой жизни, а не потому, что ее всерьез тянет это сделать. Но нельзя не признать, что этим она тоже служит интересам пациентов. В “Золотой чаше” его улыбка повышает настроение всех обитателей, и

люди не так быстро отправляются в Западный флигель, когда видят, как блестят его глаза и растягиваются уголки губ, все равно отчего. Ну да что там говорить. Доктор Грепалли отмахнулся от ее опасений, потому что не хочет лишней мороки. Не надо об этом думать, и оно само рассосется. Но она-то знает, что ничего не рассосется. Их ждут неприятности.

— Я теряю квалификацию, — только и сказала она со вздохом. — Допустила ошибку, приняв эту даму, что правда, то правда. Надо было принять лауреатку Пулицеровской премии, пусть и курящую. А Фелисити Мур, даже если оставить в стороне любовника, не стареет. Ее без конца кто-то навещает; она притягивает в “Золотую чашу” внешний мир.

— Мы не отгораживаемся от жизни, — мягко возразил доктор Грепалли и аккуратно запер дверь.

Сестра Доун сняла жакет, а потом блузу.

— Она способна растревожить остальных пациентов. У доктора Бронстейна появилась слушательница, это будоражит его, и у него начинается недержание. Я не хочу, чтобы кожаные кресла в библиотеке стояли мокрые. Может быть, его пора уже переводить в Западный флигель. А старуха Клара Крофт стала подслушивать. Спрячется за колонной и слушает, с ума спятила.

— Она как будто бы была репортершей? — напомнил доктор Грепалли. — Видимое проявление внутренней духовной сущности, особенно заметное в старости, когда слабеют запреты.

— Не знаю, не знаю, — отозвалась сестра Доун, оставшаяся в одном поясе с подвязками, черных чулках и красных туфлях на высоком каблуке. — Но я считаю, если бы Фелисити Мур удалось выжить из “Золотой чаши”, это было бы ко всеобщему благу.

— Кроме общих отчетных цифр, — сказал доктор Грепалли. — В правлении расстроятся. Они сочтут это крупным недочетом. Смотри на вещи так: у нас имеются свои удовольствия, а у стариков их почти совсем нет. Пусть себе тоже порадуются. Будем щедры с ними, как ты щедра со мной.

Он лежал на диване, обнаженный; она склонила к нему голову, он признательно погладил ее мягкие, сухие волосы, и она избавила его от напряжения. На него давило сознание ответственности. А она ощущала свою власть над ним, и это освобождало ее, пусть временно, от досады на ограниченность этой власти.

Вечером мисс Фелисити позвонила своей внучке Софии в лондонское Сохо.

— Сейчас два часа ночи, ба, — жалобно сказала София. — Ты бы прикинула, а?

— Это единственное время, когда ты бываешь дома. Как ты сможешь выйти замуж, если у тебя нет времени на любовь?

— Всегда возможен секс под монтажным столом, — ответила София. Она теперь опять работала при Гарри Красснере. Исполнительным продюсером на фильм “Разве что чудо”, с которым все еще продолжались нелады, выписали Клайва. Астра Барнс подала на студию иск, и, чтобы успокоить адвокатов, нужен был режиссер с именем, который перелопатит то, что уже вполне приемлемо сделано Софией. Клайв вытащил из Лос-Анджелеса Гарри Красснера, и теперь Гарри уже опять был у Софии в постели.

— Это рок, — сказал тогда Гарри Красснер.

— Ничего подобного, — возразила София. — Это Клайв. Чтобы я тоже не подала в суд. Он рассчитывает, что я буду слишком занята.

— Или слишком счастлива, — сказал Гарри. — Вы, англичане, такие циники. У вас нет

души.

— Зато у Холли души хоть отбавляй, — с обидой отозвалась София. — Почему бы тебе не вернуться к ней?

После этого она отправилась в парикмахерскую и в наказание себе за эту реплику обстригла волосы на целых шесть дюймов. Да еще устроила сцену в парикмахерском салоне, когда увидела свои красивые волосы на полу, — расплакалась и обругала мастера за то, что он якобы снял слишком много. Совершенно на нее не похоже. Пришлось потом извиняться. Кончилось тем, что Гарри Краснер вообще ничего не заметил.

— Я решила, что должна тебе сообщить, — сказала ей по телефону Фелисити. — Я влюбилась.

— Взаимно? — осторожно спросила София, чтобы представить себе масштабы события.

— Как будто бы да. Он предлагает мне выйти за него замуж.

Со стороны Софии последовало дорогостоящее молчание. Затем она сказала:

— Я смогу прилететь в конце недели.

На этом она потеряет пять драгоценных дней, вернее ночей, с Краснером. Но выбора нет. Ни один мужчина на свете у нее в постели не заставит ее нарушить норм своего поведения, пренебречь семейным долгом. Это путь к безумию. В интересах фильма она еще могла бы, но не ради себя самой.

— Вы только подумайте, — сообщила я в воскресенье Гаю и Лорне, когда они пригласили меня к себе в “Отраду” на обед. — Наша бабушка получила предложение руки и сердца.

Оба, насторожившись, подняли головы. Гай был занят тем, что разрезал на ломти половину пересушенной генно-модифицированной бараньей ноги, а Лорна раскладывала картофелины, сваренные “в мундире”, и к ним — шпинат, сохранивший форму пакета, так как его недодержали в микроволновке и в середине он так и остался незамороженным. Я могла бы сейчас обедать на Дин-стрит в “Зилли” вместе с Гарри и Клайвом, но мы с кузенами сговорились поехать к Алисон. Я приняла решение держаться с Гарри так, словно мне совершенно безразлично, при мне он или нет. За всю свою жизнь я никогда не играла с мужчинами в такие игры — поэтому, возможно, как указала мне как-то Фелисити, своим мужчиной так до сих пор и не обзавелась. Но прямодушный Гарри настолько не игрок в делах сердечных, поневоле приходится играть мне. Холли звонит из Штатов, а я с улыбкой передаю ему трубку и говорю: “Это Холли”, вместо того чтобы прямо сказать: “Опять эта сука”.

Из усыновления так ничего и не вышло. Как выяснилось, мамаша продала младенца четырем разным усыновителям по двести тысяч долларов с пары, если не больше, и хотя теперь выражала готовность как честная женщина отдать его в собственные руки Холли и Гарри всего только за одну дополнительную сотню тысяч, они отказались, так как решили, что ребенок мог унаследовать ген мошенничества. Я промолчала о том, что мошенничество — это понятие социальное и надо разузнать еще многое, прежде чем дисквалифицировать новорожденного на этом основании. Он точно так же мог унаследовать гены разумного эгоизма или здорового чувства юмора. Мне даже вдруг захотелось самой слетать в Лос-Анджелес и взять его себе, но это был бы уж совершенный абсурд. Мне ребенок не нужен. Я думаю, в былые времена причиной многодетности служило соревнование между женщинами. Хотя скорее виновато просто отсутствие контрацепции. Под напором мужской сексуальности замужество неизбежно влекло за собой беременность. Краснер меня совершенно измотал. Он говорил, что без секса не может уснуть. Отчасти в шутку, конечно. На самом деле он чуткий и нежный любовник и хочет, чтобы я говорила ему простые слова вроде “я тебя люблю”, а мне это дается с трудом. Как принято у американцев, он много разговаривает, предаваясь любви. Англичане предпочитают помалкивать, в мире без слов чувства острее.

Холли отказывала ему в любви, пока шли съемки, у нее от секса по утрам припухали глаза, — естественно, что я, как бы ни устала, никогда не отнекивалась. И хотя днем тело мое так и просилось к нему поближе и он тоже, по-моему, испытывал потребность прислониться, тем не менее сейчас я сидела не в “Зилли”, а у Гая и Лорны, расковыривая ножом и вилок куски хряща и какие-то странные вязкие волокна, которые у барашка замещали жир и оставляли на вилке блестящую пленку. Интересно, что Лорна даже не знала, что их дом называется “Отрада”, она сказала, что, может быть, когда-то и слышала об этом, но постаралась забыть, зато Гай признался, что был в детстве достаточно любознателен — однажды раздвинул заросли плюща на фасаде и прочел надпись. Обоих их больше

интересовали книги, чем окружающая действительность. Они ели для поддержания жизнедеятельности и меня пригласили из реликтовой вежливости, а не из родственных чувств.

А вот известие о полученном бабушкой брачном предложении возбудило у них некоторый интерес.

— Кто-то охотится за ее деньгами, — высказалась Лорна. — У нас тоже с бедняжкой мамой такое было. В сущности, потому мы и упрятали ее в дом престарелых.

“Упрятали” прозвучало довольно грубо, даже Гай это заметил.

— Ее не упрятали, Лорна, — уточнил он. — Просто ты не могла больше за ней ходить. У тебя начались боли в спине. И ей очень хорошо там, где она теперь. Она под присмотром, и уход хороший.

— Она стала исчезать из дома, — рассказала Лорна. — Это опасно, рядом река. Прошлым летом дошло до крайности. Начала деньги раздавать. Я забрала у нее чековую книжку. Но она, хитрая такая, пошла в банк и получила дубликат. Это все он, конечно, у нее тянул.

“Он”, как выяснилось, был полуголый потный молодой хулиган, чернорабочий на верфи. Алисон привела его в дом. Обратились в полицию, у него оказалось уголовное прошлое. И это при том, что Алисон не было семидесяти. А если женщине восемьдесят пять, и не такое может произойти.

— Восемьдесят три, — поправила я. Отчего-то эти два года составляли большую разницу. Алисон же было шестьдесят восемь, даже не семьдесят. Разве старым женщинам нельзя забредать хоть ненадолго в область безрассудства? Выходит, что нельзя, когда дело касается денег. Их надо сажать под замок, пока они еще не все раздали.

Лорна и Гай мрачно дожевывали свой обед. А мне мучительно недоставало шумного веселья в “Зилли”. Там есть одна необыкновенно хорошенькая официантка, длинноногая, умненькая. Гарри, со зла, что я его бросила там одного, еще, пожалуй, пригласит ее на роль в своем будущем фильме. Правда, вообще-то он не из злобствующих. А вот в порыве восторга — это другое дело. Он бы меня забыл, если бы я не мельтешила у него под носом. Гарри живет настоящим, а не прошлым и не будущим. Холли позовет его — он и едет, но просто чтобы отвязаться. Легче делать, что она требует, лишь бы не мешала работать, чем разбираться в их отношениях. Разве мне под силу разорвать такой прочный альянс? Нечего и надеяться.

Я сказала Лорне и Гаю, что обещала слетать на той неделе в Род-Айленд к Фелисити и посмотреть своими глазами, что там у нее за роман. Они согласились, что дело нужное, хотя явно про себя подумали, что это непростительное транжирство. Гай даже записал мне телефон уличного агента, у которого можно раздобыть авиабилет по самой низкой цене.

— Надо пресечь эту затею в зародыше, — сказал он мне. — Не то кончится тем, что картина Утрилло, вместо того чтобы висеть у тебя, окажется на стене у какого-то мошенника.

Они постепенно прониклись убеждением, что их бабушка — дама состоятельная. Я им ответила, что меня это мало беспокоит и что у меня стены не подходят под Утрилло. Они были поражены. На десерт явился яблочный пирог собственного Лорниного изготовления — два толстых вязких коржа и между ними тонкий слой яблок. Ну да ладно уж. Меня тронуло, что она вообще постаралась. Я сказала, что пусть Лорна и Гай возьмут Утрилло себе, когда

Фелисити умрет; это будет справедливо: в своей раме он будет у них на стене хорошо смотреться.

И раскаялась, как только эти слова слетели у меня с языка. Гай ушел варить кофе, Лорна собрала и унесла десертные тарелки, и мне было слышно, как они шептались на кухне. А когда вернулись, я увидела в их глазах алчный блеск, которого не было раньше, и вспомнила, что в их жилах течет кровь Лоис и Антона. Возможно, Фелисити знала, что делает, когда отказалась от малютки Алисон, а заодно и от малюткиного будущего потомства. Но теперь уже было поздно.

Интернат для престарелых “Глентайр” вполне походил на прочие такие заведения у нас на родине. Тот же включенный спутниковый телевизор, который никто не смотрит; те же кресла, поначалу, наверно, расставленные непринужденными группами, но в конце концов расплзшиеся по стенам вместе с сидящими в них обитателями интерната: мания преследования, даже в легкой форме, заставляет человека следить за другими, на всякий случай заняв выгодную позицию у стены; тот же запах, въевшийся в обои, — запах мочи, дезинфекции и старой пудры. Такой же персонал — двое-трое добрых и приветливых, остальные хмурые, с голодным взглядом. И то же чувство ожидания и растерянности: вот до чего дожили. Коммунальные (в смысле самого низкого уровня) вкусы в расцветке обоев и штор. Пища, не содержащая ничего такого, против чего хоть кто-то мог бы возражать, — правило, при соблюдении которого во рту остается ощутимый привкус печали. Все, что мы ценили на протяжении нашей жизни, что поддерживало нас и согревало, наше чувство собственной индивидуальности — все никнет, угнетенное, гибнет без кислорода. Излишества и отклонения не допускаются.

Втроем друг за дружкой мы прошли к Алисон в маленькую одноместную палату. Алисон оказалась лежачей больной, о чем меня не предупредили. Она сидела в постели, прислонившись к подушкам, и смотрела в пространство. Вид у нее был вызывающе дряхлый, как будто она нарочно прикидывается старухой. Волосы — мои, но совершенно седые и жесткие, ведьминым пушком обрамляющие лицо. Глаза — такие же, как у Фелисити, и тяжелый подбородок Антона, старушечья кожа свисала с него складками. Когда она перевела на нас свои все еще красивые глаза, они оказались тусклыми и недобрыми. Знаю, что нельзя так говорить про тех, кого уже не исправишь, но она мне не понравилась. Снаружи доносился пульсирующий шум — то затихающий, то опять переходящий в рев хор молодых мужских голосов: рядом с интернатом находился стадион, и по воскресеньям там играли в регби, но что ей до этого?

— Ты кто? — спросила она. — Тебя Лорна прислала? Сама она никогда не бывает.

— Я здесь, мама, — сказала Лорна.

— Лорна меня опоила и запрятала сюда, — поделилась со мной Алисон. — Я была в порядке, пока меня не стали пичкать таблетками. А теперь у меня ноги не ходят.

— Ноги у тебя не ходят, мама, потому что ты перенесла удар, — пояснила Лорна.

— А вот Гай, он всегда меня обожал, — сообщила мне Алисон. — Даже когда еще был жив его отец. А потом взял и запер в этот застеночек.

— Ну, мама, зачем бы мне это? — возразил Гай. После воскресного обеда, хоть и жалкого, он раздумячился, приобрел сытый вид, а может быть, у него просто стало подниматься давление, не успел он провести у матери в палате и трех минут.

— Я хотела убежать из дому с одним славным молодым человеком, но сын не мог этого стерпеть, — рассказала мне Алисон. — Испугался, что я переделаю завещание. Он не знал, что я его уже переделала.

— По-моему, нам с Лорной тут больше делать нечего, — сказал Гай. — А ты посмотри своими глазами. Мы выйдем и будем ждать в машине, пока ты попробуешь достучаться до мамыши.

“Достучаться до мамыши” — похоже, это была дежурная безнадежная фраза из их

семейного лексикона.

— Ну вот, избавились от них, — сказала Алисон, когда за ними закрылась дверь. — Иногда они приезжают сюда и делают вид, будто мы родные, но ничего подобного. Я приемная дочь, меня удочерили, и между нами нет кровного родства.

Я села в плетеное кресло, но, как только я в нем устроилась, она сразу же велела мне пересесть в другое, с которого я предварительно должна была убрать резиновую грелку и какие-то шерстяные вещи. Едва я пересела, как она попросила меня дать ей воды. А потом сказала, чтобы я не садилась в освободившееся кресло, потому что она там держит грелку. Можно было представить себе, какой она была матерью: не давала своим маленьким детям ни минуты покоя — если они сидели и чем-то занимались, она обязательно зачем-то посылала их куда-нибудь, а если играли в подвижную игру, велела успокоиться и посидеть на месте, она устала от их беготни. Я поняла, почему Гай и Лорна так дорожат своей — на мой вкус скучной — жизнью, которая для них служит образцом тишины и покоя. До конца своих дней они будут радоваться, что имеют возможность ходить по комнате без чьей-то указки, тем более если это комната, в которой они выросли.

Алисон спросила, не уборщица ли я. Я ответила, что нет, я ее двоюродная племянница, и хорошо, что она заговорила об удочерении, потому что я привезла ей известие о ее родной матери. Она взглянула на меня недоверчиво и жестом, совсем как у Фелисити, отвела волосы со лба. А потом, пошарив вокруг себя, ощупью достала свою сумочку и демонстративно перепрятала под подушку.

— Они подсылают ко мне воров, — пожаловалась она. — Меня и саму когда-то украли, маленькую.

Я попробовала ей объяснить, что приемные родители ее не украли, а просто родная мать вынуждена была от нее отказаться. Но она и слушать не хотела. Ее нашли в универсальном магазине “Вулворт” и не объявили о находке. Люди честные обратились бы к заведующему. Я никак не могла взять в толк, смеется она надо мной или нет. Разглядев ее сходство с Фелисити, я уже не испытывала к ней антипатии. Она достала из тумбочки пластмассовый стаканчик, набитый комом туалетной бумаги, вытащила его и показала мне целый лекарственный склад внутри: синие и зеленые капсулы, маленькие розовые пилюльки, большие белые таблетки.

— Я это все тут прячу, — сказала она. — Они хотят меня отравить, чем раньше я умру, тем больше денег им останется.

— Кто — они? — спросила я, хотя и знала ответ.

— Гай и Лорна. Они даже не навещают меня.

— Они же только что здесь были.

— Нет. Гай и Лорна — маленькие дети. Они в отца пошли. Очень скучный человек. — Последнюю фразу она произнесла со вздохом, совсем как Фелисити. — Мне вообще бы не надо родиться. Это была большая ошибка. Но реку я всегда любила. Ее так и называют: Мать Темза. “Темза, Темза, мать-река, катит волны издалека”, — пропела она тонким, вибрирующим голосом. Вошла санитарка. Она принесла Алисон чашку чая.

— Опять поем, милая? — сказала она. — Вот и хорошо.

Как только она ушла, Алисон дрожащей рукой вылила чай в горшок с цветком. Земля в горшке совершенно размокла. Собственно, не цветок, а карликовая пальма, и у ее продолговатых листьев были коричневые чайные кончики.

— Ваша родная мать жива-здорова, — возобновила я попытки “достучаться”. — Она

живет в Род-Айленде.

Алисон направила на меня напряженный взгляд, словно пытаюсь расшифровать мои слова. Похоже, ей это удалось, потому что, поразмыслив, она проговорила довольно резким тоном:

— Так-то оно так, но что найдено, то твое. Передай это тем, в “Вулворте”. Хочешь сохранить кошелек — не роняй. А красные род-айлендские куры — хорошие несушки.

И закрыла глаза. Конец интервью. А заодно и моим попыткам добавить краски в жизнь моей бабки Фелисити. Сколько денег извела, и никакого проку. Я спустилась в машину к Лорне и Гаю. Лорна постаралась не смотреть с укоризной на часы. Обычно они заезжали в “Глентайр” на минуту и сразу же уезжали. И можно ли их за это винить?

— Теперь застрянем в пробке, как раз матч кончился, — вздохнула Лорна.

И мы действительно застряли, но после “Глентайра” толпа молодых безмозглых крикунов, пьяные ликующие голоса, самый воздух, пропахший тестостероном, — все это воспринималось с облегчением. Когда я наконец вернулась домой, никакой официантки из “Зилли” на моем месте, конечно, не было. Был только Гарри, и он меня ждал.

Уже в постели — под одеялом, а не поверх — Краснер сказал:

— Тут звонили из Штатов, пока тебя не было.

Ночь была бурная, дул сильный ветер, отыскивая даже здесь, в центре Лондона, ветки и листья, чтобы швырять нам в окно; отчаянно скрежетали, раскачиваясь, вывески, и звон разбитых стекол по всей улице оповещал о разгуле непогоды, а не о праздничном буйстве толпы, таком обычном в этих кварталах накануне новой трудовой недели. Но нам с Гарри было тепло и уютно. Помню, как я девчонкой засыпала на своей узкой кровати, фантазируя о том, что меня ждет впереди, — как я буду лежать на широкой, вечно неубранной постели рядом с собственным мужем, и тут же будут барахтаться мои дети, и горничные будут приносить апельсиновый сок с тостами и почту на серебряном подносе. Хотя уже знала, что в жизни никогда не бывает так хорошо, как мечтается, но и так плохо, как опасаясь, тоже.

Вполне может быть, что моя постель навсегда останется такой узкой, такой аккуратной и чистой, какой была постель Эйнджел. Она всегда спала спокойно, смиренно, словно вся ее энергия уходила на фантазии, блуждания мысли и тайные замыслы, пока тело мирно спало. А я вертелась, металась, бормотала во сне. Она меня упрекала: “Вылитый папаша”, — что в семье без отца звучало приговором, больше, конечно, для мальчика, но и для девочки тоже. У меня широкие, плоские кисти рук, не то что руки Фелисити или Люси или руки моей матери, — отцовские, как говорила она и как смутно помнилось мне. И каких только злодейств — по крайней мере, она так считала — они не совершали. Позже я еще расскажу о своем отце.

Но сейчас я лежу у себя в постели с Гарри, и мне хорошо. Мое колено между его коленями, его рука вокруг моих плеч. И все-таки сердце у меня обледенело, когда он сказал, что ему звонили из Штатов. Ужасно быть влюбленной женщиной уже хотя бы оттого, что на ум приходят такие образы. Обледенелое сердце! Можно, наверно, изобразить это с помощью спецэффектов, но выглядеть, я думаю, будет глупо. Мне вспомнился Кай из сказки Ганса Христиана Андерсена. Снежная королева вогнала ему в сердце крохотный осколок льда, и он, как раб, поехал за нею по всему свету, а про Герду, оставленную дома, и думать забыл. В сущности, этот мальчик — Гарри, а та, что сидит в Голливуде, — Снежная королева. Ну а я — Герда. Такое простое, невыразительное имя, такая глупенькая добрая девочка. Впрочем, в конце концов он к ней вернулся. Я так поняла, что звонить могла только Холли, она призывает его назад, чтобы он вместе с ней ходил к психотерапевту и помог ей прийти в себя после потери ребенка (ей, разумеется, этот случай представляется трагически неудачными родами) или еще зачем-нибудь, под любым предлогом, лишь бы он оказался при ней и ей не нужно было лететь за ним на высоте в тридцать тысяч футов над уровнем моря и рисковать отеком лодыжек. Как бы она отнеслась ко мне, если бы узнала? По-моему, никак, не придавала бы значения. Я ведь всего только наемная рабочая сила, занятая на производстве картины. К первым лицам на студии не принадлежу, чего на меня оглядываться. Меня нет на рекламных фотографиях рядом с Гарри Краснером, заснятым у входа в модный ночной клуб, я не замешана ни в каких интригах, обо мне не пишут в отделах светской хроники — а это все, чем только и живут знаменитые и великие мира сего. Ей, я думаю, было бы просто наплевать на то, что Гарри завел привычку спать в обнимку со мной (отчего страдает мой

позвоночник, у меня по утрам всегда ноет спина), и вообще на наше с ним мирное, уютное житье-бытье: он прибивает полки к стене, я, напевая, мету шваброй парадное крыльцо — в духе персонажей Дорис Дэй, как говорит Гарри. Но не в духе Холли. Подумать только, в конце концов оказаться заурядной мешанкой и обывательницей!

Мне кажется, для Холли постель сама по себе не важна, важно, как вы утром потягиваетесь со сна, как выходите в шелковом пеньюаре, как маленькими глотками пьете апельсиновый сок, сидя в просторной кухне окнами на океан, а против вас за столом сидит Гарри Краснер в белом халате, выставив волосатые ноги, и вы говорите ему то, что кинозвезды обычно говорят своему режиссеру-любовнику, чтобы прочнее привязать его, источая обаяние и осыпая упреками, а под окнами шмыгают алчные папарацци. Впрочем, звонили, как оказалось, не из Голливуда, а из мест восточнее и гораздо севернее, оттуда, где зимние дни коротки и холодны и между людьми, по старинке, заводится любовь, а не взаимоотношения.

— По-моему, это была какая-то знакомая твоей бабки, — сказал Гарри. — Не разберешь, она слишком громко кричала. Я ей твердил, что это я, а не ты, но она не верила.

— Должно быть, Джой. Надеюсь, ничего плохого не случилось.

— Сила звука была такая, что там явно не все в порядке. Я сказал, что ты позвонишь.

Я потянулась над ним за телефонной трубкой, чем нарушила его безмятежность.

— Господи, — проворчал он. — Надо же, как ты печешься о своей родне. — Мужчины терпеть не могут, когда вдруг проявляют заботу о ком-то помимо них. — Странно для человека, у которого и родных-то, можно сказать, нет.

Я дозвонилась до Джой. Уговорила ее включить слуховой аппарат, и речь ее сразу зазвучала членораздельно, так что стало понятно, что она говорит. Она звонила в “Золотую чашу” и уведомила их там, что Фелисити преследует вымогатель. И наняла частного детектива, чтобы все о нем разузнать. Счет придет мне: в конце концов, я — родня, а она всего лишь подруга. Я сказала, что лучше бы она повременила, пока я приеду и попробую разобраться на месте. Но Джой так не считала. Она обозвала меня неблагодарной эгоисткой, прибавила, что я вся в мать, и положила трубку. Конец трансатлантических переговоров. Я снова спряталась под одеяло и прижалась к Гарри, но он спал. Реальная жизненная драма не потревожила его сон, по-видимому, она была плохо скроена, шита белыми нитками и нуждалась в монтаже. Снаружи ухал и скрежетал ветер. Я лежала без сна и слушала радио: передавали, что над Лондоном бушует ветер в семь баллов. Но я это и без них знала.

Опять зазвонил телефон. Я перегнулась через Гарри, а он даже не пошевелился, хотя я облокотилась прямо об его волосатую грудь. Теперь звонил Джек. Извинялся за Джой.

— Она волнуется за вашу бабушку, вы уж извините ее, — сказал он. — Она уже не так молода, как была когда-то.

— Вы звоните из дома Джой? — поинтересовалась я. Просто я люблю знать, в какой обстановке находится говорящий, только и всего, но Джек сразу перешел в оборону:

— Я только забежал на минуту перекинуться в карты.

Послышалась возня, Джой отнимала у него телефон.

— Джек считает, что я была слишком резка с тобой, — проговорила она в трубку. — Но я ужасно волнуюсь. В моем возрасте мне не под силу такие перегрузки.

Я согласилась: конечно, конечно. Я миротворица, умею подбирать выброшенные обрезки, куски добрых дел по всей вселенной, составлять их вместе в один сценарий. Люблю

красивые кадры и чтобы сценарий интересно читался. А надо было ей сказать: “Не под силу тебе — не суйся”, но я не сказала. Надо было сказать: “И нечего на меня лаять”, но я и этого не сказала. А пока я приходила в себя после этих пререканий, Гай и Лорна у себя, засидевшись допоздна, наверно, судили и рядили о том, как бы им наложить лапы на картину Утрилло, да поскорее, поскольку за пребывание Алисон в “Глентайре” надо было платить немалые суммы и в конце концов пришлось бы пустить с молотка “Отраду”; брат и сестра вспомнили, как они любили свой родной дом, где прошло их счастливое детство, и как они хотели всегда-всегда, до могилы, жить на берегу милой старой Темзы в “Отраде” — в обоих смыслах слова.

Так же думала, наверно, Лоис, дожидаясь, когда же умрет Сильвия и она, Лоис, сможет выйти за Артура, вселиться в дом и выжить Фелисити, которая ей не родная и не связана с нею семенем, как муж, ведь муж и жена — все-таки плоть едина. Ею управляло атавистическое стремление поселить в этом удобном логове своих и заботиться только о них, а не о чужих. Кукушка в гнезде, выбрасывающая из семьи гены соперницы. Хотя нет, это из какого-то фильма с Джоан Кроуфорд в главной роли — или там играла Бет Дэвис? А может быть, Фелисити вовсе не была невинной жертвой, а нарочно постаралась соблазнить Антона и этим отплатить Лоис? Или Артур мог совратить невинную девочку Лоис. Собственно, все, что мы знаем про Лоис, известно из рассказа ее дочери, не слишком-то надежной свидетельницы. Да еще из того, какими выросли ее внуки. Но разве можно по внукам судить о бабке? Нет, нельзя, ведь найдутся люди, которые, видя, как я отбиваю Гарри у расстроенной бедняжки Холли, могут заключить, что, наверно, и Фелисити была такая же бессовестная. Малоубедительный вариант: Фелисити не как жертва, а как виновница. Но у меня в голове родился эдакий архетипический сюжет, ждущий воплощения в фильме “Роковой соблазн, или Месть любовницы”. Конечно, в наши дни таких фильмов уже не снимают, по крайней мере — уважающие себя люди. Я вполне способна терпеть существование Холли и не испытывать кровожадной ярости. Надеюсь, и она ко мне относится так же.

Гарри завозился, обнял меня обеими руками и жалобно попросил, чтобы я перестала думать: он сквозь мою кожу чувствует, что я слишком много думаю.

— У тебя есть бабушка? — спросила я, воздерживаясь от вопроса, чувствовал ли он когда-нибудь сквозь кожу Холли, что думает она. Он засмеялся и ответил, что у него и матери, в сущности, нет. Он давным-давно оставил ее в Сакраменто. У американцев, похоже, вообще не бывает престарелых родственников, как у нас. Они словно появляются на свет в полном оперении, а их старики знай себе играют в гольф и поют в хоре, пока в один прекрасный день не падают мертвые или же покорно удаляются на покой в такие места, как “Золотая чаша”, где посещения не одобряются. Слабые вымирают смолоду от пьянства, наркотиков и рок-н-ролла, а выживают крепкие, здоровые и богатые. Конечно, на самом деле так быть не может, я понимаю, в Соединенных Штатах, как и всюду, дряхлые старики ковыляют туда-сюда, шаркая подошвами; почти все, что мне, как и другим европейцам, известно об этом народе, я наблюдала из окна такси в Бостоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, и даже раза два судьба забрасывала меня в Сиэтл: где запускаются или монтируются новые фильмы, туда меня и направляют. Да еще я изредка навещаю родню в Коннектикуте и в земле род-айлендских красных несущек, лучшей в мире

куриной породы. И само собой, из истории кино и от Гарри в моей постели — тут сфокусировалась для меня вся Америка, открытая мною страна, моя любовь. Понимаете? Мы говорим штампами, потому что настоящих, точных слов для таких чувств найти не можем. Интересно, что показывают по ночам, какую древнюю черно-белую историю про любовь? Чуть слышно включаю звук телевизора. Краснер снова заснул. Ветер за стеной стихает. На землю нисходит тишина. Перед лицом любви все замирает, леденеет на миг и опять продолжается своим чередом. Я чувствую эту силу, что способна задержать время, остановить на полдороге неумолимое падение во тьму смерти. А ведь новой жизни не суждено родиться от этого союза.

В десять часов утра в понедельник Фелисити уже ждала в своей комнате у двери на террасу, готовая к запланированной на сегодня таинственной поездке. Она наряжалась тщательно, не спеша, упиваясь приятным ожиданием, не упуская ни пятнышка, ни складки. Так она собиралась из дому когда-то в молодости, когда кожа у нее была гладкой и щеки не обвисли. Но не важно. Только одной женщине в мире выпало на роду, заглянув в зеркало, услышать: “Ты прекрасней всех на свете”, а если уж не так, то не все ли равно? И если зеркальце все-таки тебе когда-то это сказало, то ты начинала, как злая фея, придираешься к Белоснежке, и все тебя ненавидели. К тому же красота — это ведь ненадолго, с ней одно сплошное беспокойство и огорчение. Фелисити уже давно махнула на нее рукой. Она перехватила в зеркале взгляд доктора Роузблума, похоже, что одобрительный.

Правда, она пропустит лекцию некоей Глории Фенстервик, бакалавра философии, на тему “Как прошлое питает наш сегодняшний день”, а также праздничный обед — пирог с ветчиной, зеленый салат и отварной картофель. Недавно Фелисити заказала в издательстве, специализирующемся на сочинениях о здоровом образе жизни и мыслей, книгу “Салат, бессловесный убийца”, получив ее, оставила на видном месте в столовой, но сестрица Доун не преминула немедленно доставить этот душеспасительный труд ей в комнату. Лекция и обед — небольшая потеря.

Под окнами прокатился шикарный красный “сааб” с Уильямом за рулем, завернул к парадному крыльцу “Золотой чаши” и припарковался на законном месте. С тайнами было покончено. Из машины вышел Уильям Джонсон, на сей раз нарядный, в бело-голубой полосатой рубашке, желто-красном галстуке, темно-синем костюме и в начищенных мокасынах, может быть даже от Гуччи.

Фелисити, одетая строже обычного, без своих неизменных шарфов и платков, в темно-серых, бурых и других сдержанных тонах, не стала медлить, пока ее вызовут из номера, а вышла и поспешила к стойке у входа, где ее ждал Уильям. Сразу же, как по волшебству, появилась сестра Доун с возражениями, что Фелисити не отказалась заранее от обеда и что выезжать из дому в такую погоду рискованно, а мистер Джонсон, пригласив ее, поступил безответственно.

— Какие пустяки, — пожалала плечами Фелисити. — Погода прекрасная. Мы с мистером Джонсоном едем развлечься, я думаю, погоду мы вообще не заметим.

Сестра Доун сказала, что ей очень жаль, она надеялась, что мисс Фелисити будет сегодня рядом и поможет доктору Бронстейну удержаться в границах здравого рассудка.

— Что вы хотите сказать? — встревожилась Фелисити и остановилась на пути к выходу, отпустив локоть Уильяма.

— Бедный доктор Бронстейн, — вздохнула сестра Доун, — теряет представление о реальности. Раньше, до новейших научных открытий, мы это называли старческим слабоумием. Он так любит поболтать с вами, это его бодрит. Он назначен на освидетельствование сразу после обеда; не хотелось бы, чтобы он произвел неблагоприятное впечатление.

— Что еще за освидетельствование?

— Психиатрическое. Родные считают, что его пора признать финансово неправомочным и перевести в Западный флигель для более тщательного ухода. Доктор

Грепалли тоже считает, что он будоражит других своими бредовыми разговорами. Этого нельзя допускать. Бедный доктор Бронстейн. Знаете ведь, какие вопросы задают психиатры для проверки, понимает ли пациент, где он находится и кто он такой? Который сейчас год, кто у нас президент, где находится Косово — в таком роде.

Фелисити прислонилась к одной из древнеримских колонн. На нее вдруг накатила слабость. Уильям поддержал ее за локоть.

— Ай-яй-яй, — посочувствовала сестра Доун. — Надеюсь, я вас не расстроила. Я уверена, что доктор Бронстейн пройдет осмотр успешно. Но нам всем будет его так не хватать, если придется перевести его в Западный флигель. А вам особенно, мисс Фелисити, вы же с ним такие друзья. Вы не волнуйтесь, я замолвлю за него слово, а моя рекомендация чего-нибудь да стоит.

— Один раз заплатишь “датские деньги”^[13] — и уже от датчанина не отвяжешься, — произнесла загадочную фразу Фелисити, придя в себя. — Я поступлю как собиралась, а вам спасибо, что сказали.

Она улыбнулась Уильяму, и они направились к выходу.

— Желаю приятно провести время! — крикнула им вдогонку сестра Доун.

— Я и не подозревала, что ты можешь выглядеть таким франтом, — сказала Фелисити.

— Мне на той неделе привалила удача. — Уильям поискал глазами деревяшку, чтобы постучать.

— Если я не ошибаюсь, все эти вещи — новые.

— Я съездил в Хартфорд. Не мог же я ударить в грязь лицом перед тобой.

— А машина?

— Нравится тебе?

— Очень.

— Это все тебе, — сказал он. — Все ради тебя.

Уильям поехал по 95-му шоссе на север, свернул на 92-м повороте и дальше по 2-му шоссе покатыл в западном направлении. Лес вдоль дороги порой подходил к асфальту вплотную, а в других местах надменно отступал, так что видны были вершины холмов; глаз привыкал к приглушенным коричневым и зеленым тонам. День был ясный, мир казался молодым и бодрым. Фелисити представлялось совершенно естественным, что она едет рядом с Уильямом, будто всю жизнь просидела с ним бок о бок. Все правильно. Он вел машину уверенно, на большой скорости, как будто помолодел со вчерашнего дня на добрых двадцать лет и готовится показать себя миру в своей лучшей форме, словно ему не терпится добраться до цели. Домой мужчины всегда едут медленнее. О докторе Бронстейне Фелисити старалась не думать. Сестра Доун с ней разговаривала глупо и злобно. А даже если славному доктору и предстояло сегодня психиатрическое освидетельствование, в чем Фелисити далеко не убеждена, маловероятно, чтобы застольная беседа с нею могла бы значительно повлиять на его душевное состояние. Он имел обыкновение рассуждать, а она сидела и слушала; оживленным диалогом это никак не назовешь. Конечно, можно было бы удостовериться, что он знает, какой нынче год и как фамилия президента, и вместе отыскать на карте Косово. Фелисити отмахнулась от этих мыслей. Сегодня ее день, и она не позволит сестре Доун его испортить. С Уильямом она советоваться не стала, разве ему приятно было бы узнать, что она думает о другом мужчине? Даже если доктора Бронстейна и переведут в

Западный флигель, Уильяма это нисколько не огорчит; да и самого доктора Бронштейна, может быть, тоже, откуда ей знать? Оттого что она, Фелисити, панически боится очутиться в Западном флигеле, попасть в зависимость от необязательных забот обслуживающего персонала, год за годом дуреть от транквилизаторов, тупеть от болеутоляющих средств и превратиться в лежачую больную, причиняя всем неприятности и вызывая общее раздражение, — из всего этого вовсе еще не следует, что и другие люди разделяют ее страхи. Кто-то, возможно, обрадуется, что можно будет отдохнуть, что не надо больше принимать решения и сокрушаться об утраченных возможностях. Есть такие, кому глубоко безразлично, что думают о них другие, их занимает только, что думают о других они сами. В Западном флигеле доктор Бронштейн сможет рассуждать сам с собой, не всматриваясь в лицо безмолвного слушателя. Она понимала, что напрасно утешает себя, надо было выполнить долг дружбы и не уезжать. Но когда бывало, чтобы женщина предпочла друга поклоннику?

Еще не поздно. Надо попросить Уильяма, чтобы повернул назад. Она уже открыла было рот, но закрыла, ничего не сказав. Сколько можешь, столько делаешь для других, но не больше. Сегодня ее день, ее и Уильяма.

“Сааб” выехал за поворот. И перед ними, во всей невероятной неожиданной пестроте, вознесся над лесом ослепительный изумрудно-зеленый игрушечный дворец, весь в шпилях, башенках и флагштоках.

— Казино “Фоксвуд”, — радостно провозгласил Уильям. — Моя тайна. Собственность индейского племени машантакет-пекот. Тут резервация, все доходы освобождены от налогов во искупление прошлого ущерба.

— Вот так тайна. От тех, кто проезжает этой дорогой, такие хоромы не утаишь, — заметила Фелисити.

— Это сон. Сон, который оборачивается явью. Счастье, отнятое и возвращенное. Немыслимые богатства из самых фантастических грез. Это волнение в крови, непреодолимый соблазн и неограниченная свобода выбора. Это битва с самим собой. Эрос перед лицом Смерти. Он тянет, манит, влечет, но так и не наступает. Это моя жизнь, не считая тебя. На той неделе я играл за лиловыми столами, там минимальная ставка — пятьсот долларов. Отбирал только оранжевые фишки, это значит по тысяче за один кон. Взял пятьдесят тысяч и ушел, ничего не проиграв, мне надо было ехать к тебе. Это твое влияние, Фелисити. Ко мне возвратилась удача. Чувствуешь? Удачей пахнет в воздухе.

Он вел машину и улыбался, но не ей, а просто, чтобы она видела. В глазах его блестело предвкушение. Она тоже ощущала притяжение магнита. Дорогу заполнили подъезжающие машины. Здешние паломники. Фелисити ревновала, ей хотелось, чтобы он был занят только ею. Это уже не муха в подливе, а большая, извивающаяся пучеглазая гусеница. Этого она не ожидала.

— Какое чудовищное сооружение, — произнесла она с нарочитым английским акцентом. — Поразительно. Кто это разрешил?

Она чувствовала, что говорит как сестра Доун, но ничего не могла с собой поделать.

— Тут не требуется никаких разрешений, — ответил Уильям. — Это их земля, а не дяди Сэма. К этому привыкаешь и даже входишь во вкус. Я бываю здесь каждый день — по утрам, с тех пор как познакомился с тобой, и еще два-три вечера в неделю.

— Игорный дом, — сказала Фелисити. — Ты игрок. Вот почему ты нищий и живешь в “Розмаунте”. Это наркомания.

— Хорошая машина, хорошие ботинки, хороший галстук — это все уже мое. Не

отнимут.

— Отнять не отнимут, но сам ты легко можешь это пустить по ветру, — резко возразила она.

Он понурился, печальный, не нашедший понимания. Она положила ладонь ему на колено, и он подозрительно быстро воспрял духом. Слишком уж он был в ней уверен. Может быть, она сумеет его отучить? Когда-то она уже собиралась отучить одного — кто он был, тот пьяница беспробудный? — и конечно ничего не вышло. Тогда пропагандировали освобождение от алкогольной зависимости по системе “Двенадцать шагов”. Но кто когда подымался выше шестого шага? “Привет, я бывший игрок, бывший наркоман, алкоголик, сексуальный маньяк. К вашим услугам”.

Уильям Джонсон, нераскаявшийся игрок. Берешь из банка деньги, ставишь на лошадь или, что в сущности та же лошадь, на рулетку в казино, потом покряхтишь немного, постонешь, поноешь и снова отправляешься в банк за деньгами. Впрочем, он, кажется, не из тех, кто ноет. Ей захотелось закрыть на все глаза, убедить себя, что это не важно, семидесятидвухлетний мужчина имеет право на развлечения. Но что сказал бы Эксон? Его твердое, доброе лицо застыло бы в неодобрительной гримасе. Даже Бакли в Саванне, игравший в покер за лакированными столами в домах у своих дружков, никогда не посещал казино.

— Вот почему родные тебя оставили, — сказала Фелисити. — Вот почему ты оказался один. Они не могли с этим мириться.

— Маргарет — сука. Ей только и нужно было, что завладеть домом. Она его и захапала. Это было сказано грубо, со злостью — свойства, которых он ей до сих пор не показывал. И вот теперь проявил как бы ненароком — дал ей предлог порвать с ним, нырнуть обратно в укрытие под “Золотой чашей”, чтобы в стычках с сестрой Доун ждать, покуда не призовет к себе Западный флигель. Нет, все лучше, чем туда, даже ухаживания записного игрока, когда он отрывает время от своей страсти, чтобы уделить внимание тебе.

— Ну так как? — спросил он. — Повернем обратно? Это для тебя уж чересчур? Нестерпимо вульгарно?

— Вовсе нет, — ответила она.

— Уфф! Слава богу, — вздохнул он и с размаху нажал на акселератор. Было ясно, что если он отвезет ее домой, то сразу же развернется и снова прикатит в этот многокрасочный диснеевский замок. Примите нас черненькими.

Они подъезжали, и шпильки и башенки становились все разнообразнее: одни оказывались бирюзовыми, другие серебряными; волшебство таяло, это уже была скорее большая ярмарка, чем небесный чертог Микки-Мауса. Разумеется, крайне вульгарная, вопиюще не вписывающаяся в окружающую природу, но при этом все-таки как бы здешняя, присущая этой местности. Индейцы пекоты передумали, отвернулись от природы, которая оказалась ложным божеством, дряхлым, беззубым, слабосильным перед лицом противника с практическим складом ума. А природа — что? Общайся с природой сколько хочешь, сливайся с ней, твори мифы, обожествляй ее и возвеличивай, умиротворяй и задабривай, все равно рано или поздно она тебя предаст. Природа встала на сторону белого человека, как он ни вытаптывает, ни губит леса, убивает зверей, выжигает прерии; она восхищается им. Говори громко, действуй беспощадно, побеждай. Выживание хитрейших, а не отважных. Природа это уважает.

Уильям и Фелисити оставили “сааб” в подземном гараже — в просторной полуосвященной бетонной пещере — и поднялись в лифте на верхние этажи, шумные, людные, стеклянные. Здесь толпились лилововолосые и лысые, немощные и крепкие (в небольшом количестве), хромые, быстроногие (в малом числе) и те, которые еле ковыляют. Всех окуривали запахи дешевой стряпни, всех объединяло общее дело, компанейское тепло, волны торжества и отчаяния, сочувствия одних другим. Общий враг если и находится среди них, то это само казино с его выручкой, но как они все стремятся ему навстречу и как этот враг с ними ласков, как манит и пугает стена гула; ритмичное биение смутно знакомой музыки на фоне дребезжания тысячи игровых автоматов, отзванивающих поражения и победы и щедро сыплющих монеты. Служители здороваются и ласково улыбаются. Отдайте ваши денежки, и все будет прекрасно. Мы следим, чтобы с вами не случилось ничего плохого. Доверьтесь нам. Мы тут все — ваша добровольная большая семья; здесь ваш дом, тепло, поддержка да плюс приятное волнение риска, продолжение молодости другими средствами. Смельчаков влечет к столам, где играют в кости, в блэк-джек; тут раздаются отрывистые, отечески строгие мужские голоса: “Усвойте раз и навсегда: ставьте, пожалуйста, фишку не на черту, а выше черты. Выше, вам говорят, оглохли, что ли?” — и женские, по-матерински заботливые, у рулетки: “Вы уверены, что вы этого хотите? Таков ваш окончательный выбор?” А у стены, при игральных автоматах, в полутемных залах, находишь наконец любящих братьев и сестер, которых никогда не было, целые когорты, шеренга за шеренгой, они ликуют при твоих победах и, как зачарованные, крутят вместе с тобой молитвенное колесо: семерки, полоски, вишенки, выигрыши.

И всюду кассы — кассы, где меняют деньги, где можно обналичить чек, по жетонам получить деньги, на деньги купить жетоны; целый храм, отданный менялам. Туда-сюда, взад-вперед поворачиваются камеры наблюдения, они не ловят вас, а оберегают. Никто и не сомневается. Бродят, топчутся, заглядывают через плечо завсегдатаи, они знают, что надо делать, как себя вести, каковы правила. Фелисити ничего не знает. А Уильям ушел вперед. Она спешит за ним, если она потеряет его из виду, то, как путешественник во времени, заблудится в будущем и никогда не сможет вернуться домой. Всю свою долгую жизнь она, оказывается, прожила на другой, тихой планете, где всем управляет встающее и закатывающееся солнце, но все-таки там жизнь не настоящая. Другая — настоящая, правильная — вселенная находится здесь, в казино, созданная для кочевого племени, вынужденного принять оседлый образ жизни, построенная мужской фантазией для услаждения женщин и для утверждения мужской власти, с полным пренебрежением к силам природы.

Уильям спохватился, что идет слишком быстро, замедлил шаг и взял Фелисити под руку. Полы здесь блестели, покрытые чем-то скользким. Фелисити беспокоилась, не подведут ли ее ноги в выходных туфлях; в ее возрасте некоторые женщины носят кроссовки, но она поклялась, что не опустится до этого никогда; однако можно ведь и передумать.

— Тут не то что в Лас-Вегасе, — с гордостью сказал Уильям. — Или тем более в Атлантик-Сити. Воплощение хорошего вкуса.

В центре зала возвышалась гигантская стеклянная фигура мускулистого нагого индейца в позе роденовского “Мыслителя”; молочно-белый, он командовал здесь последним сражением. В конечном счете белый человек был обманут и потерпел поражение, сам того не сознавая. Он потерял ориентацию и блуждает в лесу — вот куда завели его победа и процветание. Он приплыл сюда, ища золота и свободы, и убивал, чтобы завоевать их, но эта

победа в конце концов погубила. У ног “Мыслителя” на оранжевой подставке изящно вращался сегодняшний приз — японский автомобиль.

Уильям, впрочем, совсем даже не погиб. Пока поднимались в лифте, он помолодел лет на двадцать.

— Тут лучше, чем в Лас-Вегасе, — рассуждал он. — Я пять лет ездил в Вегас и два — в Атлантик-Сити. В здешнем казино на свои деньги получаешь отдачу побольше, чем где-нибудь еще в Штатах.

— Ты же говорил, что был учителем в нью-йоркской средней школе, — с грустью заметила Фелисити.

Лжешь мужчинам во избежание беды, как, бывало, отцу, но отец есть отец, авторитет и защитник. Ложь из их уст причиняла боль. Единственным исключением был Эксон, он никогда не лгал, у него не хватало фантазии и брала верх осторожность. Фелисити до сих пор горевала по нему, но не приходится отрицать: он был человек исключительно скучный. С грешными людьми всегда интереснее, чем с добродетельными.

— Я и был учителем, — подтвердил Уильям. — Но игра приносила больше. Первое время. А потом пошла полоса неудач. Маргарет подала иск и отсудила дом. Он, как его построили в 1890 году, так всегда и принадлежал нашей семье. Но ее это не остановило. А в судах к игрокам относятся плохо. Не учитывают, сколько работы требует игра. Теперь там живет Маргарет с мальчишками Томми, и дом без хозяина разваливается с каждым днем.

— Почему ты мне этого раньше не рассказал? — Это не было упреком. Просто ей хотелось знать.

Фелисити стояла в толпе, которая мягко обтекала ее, как река, мирно раздаваясь в стороны. Все казалось неопределенным, смутным, как лицо доктора Роузблума в зеркале. Ей вспомнилось детство, мамин туалетный столик, лаликовский Роденов “Мыслитель” молочно-голубого цвета, фарфоровая китайская пудреница, серебряный туалетный прибор — щетки для волос и зеркальце. После маминой смерти папа ничего не трогал, месяц спустя среди щетинок еще виднелся один золотой волосок, в пудренице все так же лежала пуховка, словно в один прекрасный день мама вернется и все будет по-прежнему. Но она не вернется, она умерла. За пудреницей лежала стянутая резинкой пачка сеточек для волос из тончайших коричневых шелковых нитей. В те времена женщины, ложась спать, надевали на волосы такую сеточку, чтобы не растрепалась прическа. Когда мыли голову, смывали жир с волос, зато оставалась мыльная пленка, и, чтобы от нее избавиться, в воду для полоскания добавляли уксус или лимонный сок, но все равно волосы лишались блеска, Фелисити помнила жалобы матери. И еще мама говорила, что такие сеточки продаются в “Вулворте”, там они дешевле и ничуть не хуже, чем в дорогих магазинах. Маленькая Фелисити любила растягивать сеточку на пальцах и смотреть сквозь еле различимую коричневую штриховку — все то же самое, но только как бы в дымке.

— Осторожнее, — говорила мама, когда была еще жива. — Смотри не порви. Они очень непрочные.

Почему все это сейчас ей припомнилось, после стольких лет? Как звали маму? Неужели ты могла забыть имя родной матери? Но ведь она умерла и бросила ее в мире одну, оставила дочку беззащитной. Ах да, конечно, Сильвия — вот как ее звали. Потом вместо нее появилась Лоис, и на завтра же с туалетного столика все было убрано, а на маминой кровати теперь спала мачеха. На глаза Фелисити набежали слезы. Уильям усадил ее на ярко-желтую скамейку.

— Если это тебя расстраивает, я немедленно отвезу тебя домой, — предложил он. — Не рассказывал, потому что не хотел, чтобы ты от меня отвернулась.

— Я не поэтому, — отозвалась она. — Я понимаю. Не в том дело. Я плачу, потому что умерла моя мама.

Они прошли в закусочную и сели за столик, даже не поинтересовавшись, чем там кормят. Уильям рассказал ей о смерти своей матери, она попала в автомобильную катастрофу, когда ему было девять лет. Погиб и его брат-близнец. А его выбросило из машины. Так распорядился случай. Они всей семьей возвращались из больницы: Уильям наступил на иголку, и она целиком вошла ему в ступню, ее вытягивали магнитом. Конечно, он чувствовал себя виноватым, еще бы. Если бы не то, что он наступил на иголку, они еще и теперь могли бы быть живы. И почему они, а не он? Ну и так далее.

— Наверно, поэтому мы и сблизились, — сказала Фелисити. — Потому что наши матери умерли, когда мы были маленькие. Мы нашли друг друга.

Официантка в коротенькой синей плиссированной юбочке и красно-белой блузе принесла кофе и пончики. Может, они их заказывали, а может — нет.

— Я об этом стараюсь по возможности не думать, — сказал он.

— А говорят, надо думать. Помнить. Но это было так давно, сейчас никто не представляет себе, что это тогда означало. Воспоминания не бледнеют. Вот и приходится их от себя гнать.

— Наверно, чтобы помнить, нужно быть сильным, — сказал Уильям. — Мы придаем друг другу силу.

Но вскоре он начал озираться, перестал ее слушать: ему не терпелось очутиться за игорным столом. Места за столами заполнялись быстро, но администрация, даже несмотря на большое скопление публики, не всегда открывала дополнительные столы для игры в кости. И вполне понятно: кости — наименее прибыльная игра с точки зрения хозяев. И тем самым наиболее выгодная для игроков. Уильям сказал, что вообще бросать кости он любит больше всего. Ему нравится, что участвуют в игре сразу несколько человек. Один за всех и все за одного. А очко — игра для одиночек. В прошлом месяце он столько выиграл в блэджек, что теперь они, конечно, будут за ним следить. Хвастался: петух на навозной куче. Ни в одном игорном доме не любят, когда посетителям слишком сильно везет, но в здешнем казино к большим выигрышам относятся спокойнее, и потом, сюда ехать ближе всего. А чего им тут, собственно, беспокоиться? Налогов они не платят. Смерть и налоги — двойная беда в жизни белого человека. А здесь она урезана наполовину. Он, Уильям, не такой дурак, как некоторые: он откладывает на “Розмаунт” деньги из пенсии и эту сумму не трогает ни при каких обстоятельствах. Игра ведь — вещь такая: то тебе везет, то не везет. Поначалу думаешь, что отыграешься и восстановишь дефицит на следующий день, потом — что на следующей неделе, потом — что в будущем месяце, что на будущий год. На прошлой неделе он только-только отыгрался за два года удовольствия. А теперь, он убедился, Фелисити принесет ему удачу. Уже принесла. На каблуках его новых ботинок Фелисити заметила двойные набойки. Он шагает надменно, возвышаясь среди прочих, и его провожают глазами. Она следила за игрой у него из-за плеча. Он сначала попытался было растолковать ей что к чему, и она старалась понять его объяснения, но это было все равно как слушать наставления любезного прохожего: останавливаешься, чтобы спросить, как добраться куда-то, выслушиваешь длинный ответ, но в толк взять ничего не можешь. У стола

стоят два крупье. Они наклоняются, тянутся и лопаточкой загребают откатившиеся кубики. Игрок, когда подходит его очередь, выкатывает по центру стола два кубика, так чтобы они ударились о перегородку у противоположного края, отскочили и легли на стол. Окружающие охают или ликуют, в зависимости от того, как это соотносится с их интересами. Уильям объяснил, что играющий бросает кости за весь стол. Можно делать ставки на сумму, а можно на комбинацию. Тут она окончательно перестала его понимать. А смогла бы она это уразуметь в молодые года, когда, например, еще жила в Саванне? Едва ли.

— Шесть и восемь наиболее вероятный вариант, — рассуждал Уильям. — А четыре и десять — наименее. Но зато тогда выигрыш больше. Чем больше риск, тем выше ставка, таков принцип. Да ведь так же и в жизни.

За столом возникла какая-то неприятность, заминка. Один из играющих заявил, что его выигрыш оплачен неполностью. Но этого не могло быть: скорее игроки норовят надуть казино, но не казино — игроков. Казино обманывает по-крупному и вообще незаметно. Подошла охрана, нарушителя спокойствия без шума вывели. Уильям воспользовался паузой, чтобы продолжить свои разъяснения. Фелисити такая деловитость понравилась. Он не любил попусту тратить время. Деньги — пожалуйста, но время — нет. Фелисити вдруг осознала, что издавна приучена относиться к таким людям с неодобрением. Хорошей ученицей она не была, но все-таки кое-что из этой науки к ней пристало. Она, когда-то продававшая свое тело, обучилась приятному сознанию собственного морального превосходства; но это ей в себе не нравилось, давило на психику, как туфли, которые жмут.

Она никогда раньше не допускала мысли, что была проституткой. И вообще, это было так давно, так давно, что теперь уже не имело значения.

Теперь у нее есть Уильям, верно? Именно этого она всегда хотела, всегда верила, что так и будет; всю жизнь не оставляла надежды. Она его любит. Он хочет, чтобы они поженились. И сейчас он перед свадьбой открывает ей душу. Она тоже еще должна будет ему кое-что о себе рассказать.

Он, оказывается, игрок. Ну и что? Разве это так ужасно? Другое дело, если бы ты была молодой женщиной с детьми и все ваше благосостояние зависело от мужа-игрока. Но сейчас они оба совершенно свободны и могут развлекаться как им вздумается. В конце жизни и нечем больше заниматься. А деньги — да бог с ними, с деньгами.

На минуту Фелисити снова ощутила укол совести из-за доктора Бронштейна. Показать на карте Косово он, конечно, не сможет. А кто бы смог? Это ведь не место международных научных конференций. Вот Рейкьявик в Исландии, там происходят дипломатические встречи, — по крайней мере, в летние месяцы, — и есть вулканы для обозрения, — его он, наверно, показал бы. Он даже знает, как этот Рейкьявик пишется. Такой вопрос подошел бы всякому, как дешевая безразмерная одежда, которая годится на любого. Но доктора Бронштейна про Рейкьявик не спросят. А Косово — это, в сущности, тот же Кувейт, только еще хуже. Ну а Клинтона доктор Бронштейн, должно быть, до того терпеть не может, что не пожелает назвать его фамилию, он же не знает, к каким ужасным последствиям это приведет: его признают недееспособным — и все из-за того, что она, Фелисити, его вовремя не предупредила. И год он вполне мог перепутать: в молодости, когда время движется медленно, человек не понимает, как легко утрачивается представление о том, в каком году ты сейчас живешь, настолько большая получается цифра, если считать от начала. А ведь задавать вопросы будут деловые и цепкие молодые люди, им принадлежит право решать, кто

еще способен вести нормальный образ жизни, а кто нет.

— Это как карабкаться на горы, — рассуждал между тем Уильям. — Дойдешь или свалишься, решает судьба.

— Или как гадать по “Книге перемен”, — подхватила Фелисити, сразу забыв про доктора Бронштейна. — Зависит от того, что предначертано.

— Мы еще сделаем из тебя завязанного игрока, — сказал он и снова повернулся к столу.

Над головой жалобщика сомкнулись волны, и игра возобновилась с прежним жаром, словно и не прерывалась. Бросал Уильям, рука его была тверда. Выпали две тройки. Все сидящие за столом, по-видимому, обрадовались, оживились. Уильям торжествовал, и Фелисити не могла поставить ему это в вину.

Потом Фелисити все-таки заскучала. Выигрывает Уильям или проигрывает, она не могла взять в толк. Он бросал кости то с одной стороны, то с другой; крупье их сгребал обратно. Время от времени он давал бросить другим. Если ты не понимаешь, они огрызаются, переспрашивают. Фелисити никогда не училась в школе, наверно, там такие же порядки. Отец хотел, чтобы она получила домашнее образование, а вышло так, что свое образование она добывала сама. Он только позволял ей посещать уроки балетного танца. Белые пачки, туфельки-пуанты. Читать и писать ее научила мама. Позже появилась Лоис. Лоис и ее ребенок — как его звали? Фелисити не могла вспомнить даже этого. Всплывали и прочие подробности, смутные, словно сквозь коричневую шелковую сеточку. Дядя, как бишь его, с тяжелым подбородком, он проходил с нею историю, такой обаятельный, прямо как Уильям, а потом перестал быть обаятельным. Все это относилось к прежней, счастливой жизни, которая еще могла когда-нибудь вернуться, так внезапно она разбилась вдребезги. А после был младенец и настали совсем другие времена.

Почему это сейчас ей вдруг вспомнилось? Столько усилий положено, чтобы забыть. Зачем-то она рассказала о ребенке Софии. Не надо было. Слишком много всего всколыхнулось, поднялось со дна памяти. Если жить прошлым, не остается времени на жизнь в настоящем. Была еще Эйнджел, она сбежала в Европу, вышла замуж, сошла с ума, родила Софию и умерла. Нет, Фелисити не хочет думать о том, что было. Кто захочет? Прошное надо похоронить, заглушить гулом настоящего. Она потому и сдружилась с Джой, что та живет в облаке гудящих звуковых волн, пусть даже и не слыша самые звуки.

Вокруг столов расхаживали крепкие, грудастые, толстозадые девахи в коротких юбочках, держа на потных мускулистых руках подносы с прохладительными напитками. Кто бросает вызов судьбе, того постоянно донимает жажда. Подносы тяжелые, стаканы полные, бесплатные, только на чай принято давать не скупясь. Уильям на пути сюда выбирал заправочные станции подешевле и сэкономил на этом пять долларов, но теперь не пожалел поительницам целых десяти. Это вам не манекенщицы из Лас-Вегаса с ногами от пупа, отобранные по всей Америке и тощие от тяжелых наркотиков, — это местные девушки, отвечающие местным вкусам. Когда-то в Саванне, когда надо было кормить Томми, который даже не был ей родным, Фелисити тоже была вроде этих. Делала что могла, продавала что имела. Она всегда стояла за стойкой в баре, а не вскидывала ножки до ушей в стайке плясуний; получала недвусмысленные предложения, а не красные розы. Она тогда думала, что это из-за ног, они у нее недостаточно длинные, да к тому же от занятий балетом в детские годы икры оказались слишком развитыми, так она считала. Бакли говорил, что у нее “английские ноги”, а кто-то другой, еще до того, как Бакли вызволил ее и снова сделал

из нее леди, как ей и полагалось по праву рождения, один раз сказал, что полные ноги — это знак, что она хороша в постели, вот почему она пользуется таким успехом. Хотя сама она полагала, что дело не в этом, а в том, что она умеет мило разговаривать, часто улыбается и обращается с клиентами вежливо и тактично, тогда как почти все остальные девушки держатся грубо и нахально и вид имеют такой, как будто дай им волю — они всякого заралят дурной болезнью. А с возрастом, само собой, ее ноги похудели, сделались такими изящными, тонкими и сухими, ну просто как тростинки. Кое-что, хотя небольшое, с годами улучшается, правда — мало что.

Уильям не провожал взглядом девиц с подносами, и то хорошо. Они пробирались мимо мужчин, чьи помыслы были заняты более тонкими радостями, чем секс. Отчаявшись привлечь его внимание, Фелисити пожалала плечами, встала и пошла к игральным автоматам. Если другие разобрались, что тут надо делать, значит, и она сообразит. Она разменяла пятьдесят долларов на монеты по двадцать пять центов, у одного автомата нашла свободный стул и села. Справа и слева сидели две женщины таких габаритов, что бока их выпирали из сидений (поэтому-то, наверно, никто между ними и не сел, но Фелисити это было не важно), и она стала засовывать монеты в прорезь. Суешь монету, нажимаешь кнопку и смотришь, как прокручивается очередной круг. Подождав немного, опять суешь монету и опять смотришь. Она не понимала, что происходит, но автомат-то, конечно, знал, когда он выиграл, а когда проиграл. Когда выигрывала Фелисити, он высыпал ей монеты, и соседки оборачивались на звон и улыбались, радуясь ее удаче. Это было приятно. Когда автомат выигрывал, он не издавал никаких звуков. Вот и все. В таком простом деле на машину можно положиться. Но что такое выигрыш, Фелисити никак не могла понять. Сидишь в полусне, время от времени пробуждаешься, и оказывается, что ты выиграла. Лишь под конец она уразумела то, что все окружающие, похоже, знали с рождения: все зависит от линии, от того, выше, ниже или на середину изображения пришлась линия при остановке барабана, зависит успех или неудача. Линия выплаты. Середина лучше всего.

Игроки верят, что деньги существуют, чтобы тратить, а не копить. Они щедры и независтливы. Они — соль земли, они бросают вызов судьбе и подчиняют ее своей воле. Это их общая вера; она бежит, словно ток, по ряду стульев, где Фелисити сидит между своими жирными соседками с их жидкими прическами, двойными подбородками и безнадежными телесами. Выиграв больше ста долларов, Фелисити решила остановиться. Все очень просто. Она ссыпала свой выигрыш в ведерко, предоставляемое администрацией казино, обменяла монеты в кассе на бумажные купюры и положила в кошелек сто пятьдесят долларов пятьдесят центов. А затем вернулась к Уильяму.

— Я выиграла, — сообщила она ему. — Триста процентов прибыли. Новичкам везет.

— Вздор, — возразил он. — Отныне и впредь тебе всегда будет везти.

Он тоже прекратил игру, выиграв семь с половиной тысяч. Жетонами.

— Искусство состоит в том, чтобы знать, когда остановиться.

— Сейчас, — решила она.

И они уехали.

В конце недели Валери Бохаймер, служащая фирмы “Эбби инкуайериз, частный сыск, Хартфорд”, что соответствовало лондонскому детективному агентству “Аардварк”, позвонила Джой. Джой уже раскошелилась на тысячу долларов аванса, и теперь еще потребуются дополнительные суммы, прежде чем расследование касательно Уильяма Джонсона будет доведено до конца.

— Чего только не делаю для друзей! — прокричала Джой Джеку. — Думаешь, англичанка заплатит?

— Зависит от того, что эта Валери разузнает, — ответил Джек.

Он уже выбрался из депрессии и постепенно привыкал к создаваемому свояченицей шуму. Она очень по-божески обошлась с Чарли: не дала ему отставку за то, что гонял машину у нее за спиной, жег ее бензин безо всякого спросу и по секрету поддерживал Фелисити в ее безумствах. Джой не могла пойти на то, чтобы изгнать Чарли и тем самым оставить без крова десять живых душ, в том числе его женщин, четырех глазастых детишек и, что гораздо важнее, двух собак и одну кошку, которая только что принесла котят. Если люди и съедут, она, конечно, решит, что животных должна взять себе. Франсина бы на ее месте не моргнув рассчитала Чарли, а животных усыпила. Она не выносила беспорядка.

Франсина, покойная сестра Джой и жена Джека, словно бы продолжала жить рядом с ними и, как они, бегать туда-сюда между “Уиндспитом” и “Пассмуром”. В раннем утреннем тумане чудился стук ее высоких каблуков. Животных Франсина не любила, от кошек у нее начиналась астма, а собачьи волоски на одежде внушали ей отвращение. Насколько сестра ее была шумной, настолько Франсина была от природы тихой и по-кошачьи беззвучно ходила по дому — может быть, она просто не желала конкуренции со стороны кошек. Не вина Джой, что Франсина заболела раком. Во всякие глупости, что, мол, это болезнь невысказанного горя, Джой не верит. Болезнь поврежденных генов — это может быть, и к ней они, она надеется, не попали.

Джек пригласил в “Пассмур” ремонтников, так пожелала бы Франсина. Она любила, чтобы в доме все было стильно и безупречно, и Джек, после сорока лет торговли автомашинами высшего класса — “мерседесы”, БМВ, “ягуары”, “саабы”, — мог себе это позволить. Более того, он даже чувствовал, что обязан отремонтировать дом для Франсины, хотя Франсина уже лежала в земле и в доме не проживала, по крайней мере во плоти. Джой, жившая всегда скромнее сестры, недоумевала, почему у Франсины, которая только и знала, что осуждала всё и вся с моральной точки зрения и вообще не позволяла в доме курить, пить спиртное и божиться, мужья оказывались богаче, чем те, какими удавалось обзавестись ей, Джой. По-видимому, существует много преуспевающих бизнесменов, нуждающихся в том, чтобы жены следили за ними строгим взглядом и не позволяли ни на шаг сойти с прямой дорожки. Веселая жизнь им ни к чему. И еще Джой заметила, что у красавцев-мужчин жены, как правило, тупы и дурны собой. А самые красивые женщины часто выходят за толстяков и уродов. В результате получается так на так. Хотя и в этих случаях мужчины обычно богаты, а их жены — нет. Должно быть, женская способность к моральному осуждению служит своего рода валютой.

Фелисити, вышедшая замуж за Эксона в опровержение этого правила, на взгляд Джой, слишком много времени проводила перед зеркалами и за покупкой туалетов и не успевала

толком смотреть за домом, и теперь Джеку приходится все разгребать. Фелисити в упор не видела, что у нее на стенах лупится краска, в ванной проржавели трубы, на чердаке живут белки и кое-кто еще похуже, а под половицами завелась плесень. А может, и замечала, потому-то так заторопилась продать “Пассмур” и переехать в “Золотую чашу”. Не из-за того, что спотыкалась и падала, не из-за того, что ошпаривала руки, а просто не хотела видеть реальные факты, тратить деньги и разбираться с ремонтниками. Это все она оставляла покупателю и не давала себе труда, даже несмотря на то что покупателем был Джек, родной зять Джой, обговорить, сколько еще понадобится средств на то, чтобы привести дом в жилое состояние. Джой было обидно за Джека. Он переплатил, это бесспорно.

У Фелисити комнаты были на английский манер слишком заставлены; всюду на свободных поверхностях торчали разные вазочки и фигурки, и к тому же без салфеток, прямо на лакировке, она вся исцарапана вдрызг, а никому и дела нет; стены сплошь увешаны гравюрами и картинами, но когда дошло до упаковки, она подняла руки вверх и все продала по бросовой цене. Чарли устроил мелочную распродажу на лугу, и просто удивительно, сколько удалось выручить за всякие пустячки, даже при том, что он наверняка отдал не больше пятидесяти процентов от того, что наторговал. Вообще ликвидация дома Фелисити стоила всем немало труда, но она сама держалась как герцогиня, заявила, что материальная собственность ей ни к чему, радовалась, что будет жить в этой гостиничного типа, голой, безликой, неудобной “Золотой чаше” и возьмет с собой только кое-какие личные вещи да картину Утрилло. Джой она предложила первой выбрать из ее гардероба, что на нее смотрит, но Джой отказалась: не ее стиль; затем свободный выбор был предоставлен Чарли и его семейству. После этого две чумазые девчушки, Бек и Джорджина, не выходили из дому, не приколов на платья и в волосы лоскуты дорогой ткани в пейзажном стиле из фешенебельного магазина “Бергдорф Гудман”.

Дочки Чарли еще зададут всем жару, дайте им только вырасти, они и теперь уже даже на Джека поглядывали как на свою законную добычу. А маленькие мальчики, их братья — родные или двоюродные, Джой предпочла не уточнять, — росли воинственными, румяными крепышами. Проблему гражданства Чарли, видимо, разрешил. Инспекторы иммиграционной службы время от времени появлялись, задавали вопросы и уезжали, судя по всему, удовлетворенные его ответами.

Джек понемногу привыкал к новой жизни. Драмы и трудности в таких случаях полезны — от них остаются воспоминания и помогают укорениться на новом месте. Ремонтные работы не дают расслабиться. Если жизнь с Франсиной была как плавание по спокойному морю, хотя и тут приходилось лавировать и маневрировать, то жизнь с Джой — болтанка на бурной воде, но зато, по крайней мере, все время что-то происходит.

Частная сыщица Валери, которую наняла Джой, оказалась энергичной, ответственной блондинкой. Не настолько молодая, как бы ей самой хотелось, она, однако, флиртовать с Джеком, в отличие от его служащих в прежние годы, не пожелала. Неужели это старость? Джек, встревоженный, спросил у Джой, не укорачивается ли у него шея, и она подтвердила, что да, укорачивается. У него голова уходит в складки жира на плечах. Вот что ждет человека, который отошел от дел, расслабился и перестал заботиться о доходах. То же самое

происходило со всеми ее мужьями, завершила она его. И гольф тут не помогает.

Валери доложила, что за объектом Уильямом Джонсоном значатся четыре случая нарушения правил уличного движения, один в 1958 году, один в 1974-м и два в 1994 годах, но никаких судимостей. Какое-то время он жил в Европе. За последние десять лет по разным страховкам получил около 900 000 долларов. В настоящее время за ним числятся долги общей суммой в 82 000 по восьми кредитным картам. На текущем счете у него сейчас 208 долларов. Родился в Провиденсе в 1927 году.

— На двенадцать лет моложе ее! — быстро подсчитала Джой. — Как такие называются? Жиголо?

А эта Валери, на взгляд Джека, вполне ничего себе. Со смертью Франсины ему открылась законная возможность любовных приключений, однако же, вот пожалуйста, образовались новые преграды, на этот раз в лице Джой. Женщины вздохнуть не дадут, они не желают отпустить человека на волю. Он всегда считал, что для мужчины возраст не имеет значения, он важен только для женщины; но теперь все перепуталось. Ему всего шестьдесят девять, а женщины в его сторону даже не смотрят.

Валери продолжала докладывать. Объект происходит из некогда состоятельной семьи ранних поселенцев Новой Англии, разбогатевшей на текстиле, в 1860-х годах они переселились из Массачусетса в Род-Айленд. В 1900-м погорели в большом наррагансетском пожаре, потеряли все во время краха 1929 года и, незастрахованные, полностью разорились во время сильнейшего урагана 1937 года. Отец объекта был неудачливый скульптор и живописец, мать — итальянка, католичка из Провиденса. Был еще брат-близнец, он погиб вместе с матерью в автомобильной катастрофе на Оушен-драйв перед самым началом Второй мировой войны. Документов о посещении Уильямом средней школы не имеется, но он окончил колледж в Бостоне и изучал английскую литературу в Нью-Йоркском университете, где и получил диплом учителя. Трижды был женат. “Непостоянство. Я же говорила”, — тут же вставила Джой. Джек пробурчал, что сама Джой выходила замуж четыре раза, и Фелисити, если на то пошло, тоже, но Джой возразила, что женщины — это другое дело, и Джек не нашелся, что на это сказать. А Валери не терпелось продолжить свое сообщение.

Она перешла к подробностям касательно его трех браков. Первая женитьба в двадцать лет, жена Эмили, двенадцатью годами старше, дала ему возможность закончить образование и по прошествии восьми лет умерла от рака. Вторично женился в тридцать шесть лет на восемнадцатилетней Сью-Энн, которая погибла в автомобильной аварии в возрасте двадцати пяти лет.

— Цепь несчастных случаев, — многозначительно сказала Джой. На это Джек напомнил ей, что сама она пережила всех своих мужей. Джой фыркнула.

В пятьдесят один год Уильям Джонсон женился на Мерил Мейсон сорока одного года; она работала редактором в нью-йоркском издательстве и имела дочь Маргарет. Документов о разводе агентством не обнаружено, но отсюда не следует, что развода не было. Валери будет рада продолжить поиски, но для этого понадобится добавить еще пятьсот долларов к первоначально оговоренной сумме затрат на изыскания. Беда с такими распространенными именами в том, что всякий раз приходится производить перекрестные проверки. Дайте сыскному агентству какое-нибудь редкое имя, и стоимость можно значительно снизить, но

Джонсон! На это Джой сказала, что их гонорар и без того возмутительно высок. А Валери сказала, что ей надо торопиться домой, чтобы успеть переодеться к большому благотворительному базару в Хартфорде, куда она едет с мужем; он там председатель, и им опаздывать никак нельзя.

— Ты только взгляни на разницу в возрасте! — прокричала Джой, когда Джек с извинениями проводил Валери. — Это никакая не любовь, а браки по расчету. Этот тип убивал своих жен и присваивал их деньги. Фелисити связалась с серийным убийцей.

— Я тоже вдовец, — мирно возразил Джек, — а свою жену не убивал. Пожалуйста, не кричи так. Еще кто-нибудь из прохожих услышит. И дойдет до бедного мистера Джонсона.

Джой обиделась и сказала, что, конечно, Джек — мужчина и становится на мужскую сторону, а у нее разболелась голова, она поднимется наверх и ляжет спать. Джек, если хочет, может переночевать в спальне для гостей.

В последнее время Джек оставался ночевать в “Уиндспите” по два-три раза в неделю, поскольку прямой путь до “Пассмура” был перегорожен: Чарли установил забор, чтобы не ушли две его козы и одна корова, и Джеку приходилось возвращаться к себе круглым путем. Часто по вечерам тащиться так далеко ему было лень. Джой возразила Джеку, что она говорит нормальным голосом, это другие бормочут себе под нос, так что ничего не слышно, к тому же ее дом стоит в глубине, далеко от улицы, да и вообще, кому это может быть интересно?

— Например, Чарли и его семейству, — ответил Джек. — Они, возможно, не погнушаются шантажом.

Это его замечание тоже пришлось ей не по вкусу. Она считала, что только она одна вправе держаться дурного мнения об обитателях гостевого флигеля. Младшая из двух живущих там женщин — они обе рекомендовались женами Чарли, но может быть, тут виной какие-то языковые тонкости — приходила к Джой убираться в доме, за что получала щедрую плату и скребла все так, что слезала краска. Оказалось, что Эсма — так ее звали — металлической сковородной мочалкой моет крашенные поверхности, силиконовой мастикой протирает старинные фигурки и жидкостью для мытья окон натирает полы. Чарли за нее заступился: она же привыкла к одному-единственному чистящему порошку, которым в непросвещенных краях, где у потребителя нет выбора, только и пользуются во всех случаях жизни. Джой стало стыдно, что она заговорила о таком пустяке. Эсма тратила бесконечно много времени и проливала реки слез, когда гладила рубашки Джека, — Джой согласилась, чтобы их ему стирали в “Уиндспите”, пользоваться, как раньше Франсина, прачечной, приезжающей специально за рубашками и доставляющей их чистыми на дом, слишком жирно для человека на пенсии, которому не нужно даже ездить на службу.

Если Джой только заикалась о том, что не все можно гладить утюгом, включенным на максимальный нагрев, шелк от этого морщится, а на скатертях остаются подпалины, Эсма начинала плакать и рассказывать про массовые убийства и братские могилы, чего Джой просто не могла выносить. В остальном же Эсма очень быстро перенимала американские нравы: приехала она закутанная в многослойные одеяния, но теперь уже носила расклешенные платья с тугими поясами, так что вся фигура на виду.

Джой предполагала, что две девочки — дочери Эсмы, а два мальчика — сыновья другой жены, Амиры, но уверенности в этом у нее не было, опять же по причине языковых трудностей. Девочки, обе лет по двенадцати, хихикали, прятались и выглядывали украдкой, если на них обращали внимание; мальчуганы же, оба, на взгляд Джой — лет по десяти,

расхаживали с нахальным видом, как-то стащили хранившийся у нее в гараже дробовик, постреляли ни в чем не повинных певчих птичек и, как кошки, притащили их мертвых к ней в кухню, чтобы она полюбовалась. Франсина бы пришла в ярость, было чуть ли не слышно, как негодует ее тень. Призванный на место преступления Чарли разоружил и отругал мальчишек — просто для вида, как поняла Джой. Она ведь не дура. Но по какой-то причине, неясной даже ей самой, ей не нравилось, когда Джек плохо говорил об этом несчастном семействе. Он все еще был здесь на правах приезжего и жил в доме, который для нее оставался домом Фелисити. И хотя Чарли нашел для нее как раз он, Джек, но “Уиндспит” — это ее владение, и ей принадлежит флигель для гостей, и лимузин — тоже ее собственность. Он должен об этом помнить. Если Чарли и делает что-то не так, то виновата в этом Фелисити. Фелисити пользуется ее добротой и гоняет ее шофера по своим делам, как будто сама его нанимала.

Фелисити зашла слишком далеко. И если теперь угодила в беду, винить ей некого, кроме себя же самой. Откуда она взяла, что она такая необыкновенная и может, в ее-то возрасте, внушать любовь, притом именно к себе самой, а не к своим доходам? Гордыня приводит к падению, а падение принесет обиду и боль, это неизбежно. Хотя, конечно, смерти Фелисити не заслуживает, и долг Джой предостеречь ее, открыть ей, что Уильям Джонсон — в лучшем случае многоженец, а в худшем — серийный женоубийца.

Джой позвонила в “Золотую чашу” и предупредила, что собирается скоро навестить мисс Фелисити, а Эсме поручила отправить по почте на имя директора, доктора Грепалли, копию доклада, полученного от сыскного агентства. Эсма обещала это сделать, сразу как подоит корову и загонит коз в сарай над “Пассмуром”, когда-то служивший Фелисити летней мастерской, так что в тот вечер документ отправлен не был. Для скотниц какая-то бумага — вещь второстепенная.

Бабушка позвонила мне в полночь.

— Ну, как там любовь? — спросила я.

— Прекрасно, — ответила она. — Представляешь? Я уже и забыла, как это бывает. Небеса сияют, будущее манит, и начинаешь жить заново. Правда, боюсь, Уильям оказался игроком, но я готова с этим мириться.

— То есть игроком, как в Лас-Вегасе? — переспросила я. — И Атлантик-Сити? Порок, преступления и стриптиз?

— Как в Фоксвуде, — уточнила она. — Доход в пользу резервации, а не мафии. В пользу племени машантакет. Честно сказать, все довольно скромно и тихо. Если прислушаешься, слышно, как гудит лес. Но я ведь никогда не любила шикарную жизнь. А казино, София, — это что-то фантастическое. Ты даешь деньги, и тебе их возвращают с процентами.

— Похоже на инвестиции, — заметила я. — Но должна тебя предупредить: говорят, не так уж это надежно.

— Могу судить только по собственному опыту, — сказала Фелисити. — Я вложила пятьдесят долларов и получила назад сто пятьдесят. Правда, я везучая от природы, так Уильям говорит.

— Новичкам везет, — возразила я.

— Это неубедительно, София. С какой стати новичку должно везти больше, чем другим? Нет, тут дело в личности. С тех пор как мы с Уильямом вместе, у него началась полоса удач.

Я вообразила пожилого господина, сидящего перед игральным автоматом и сующего в прорезь монету за монетой. Или их вдвоем, бок о бок, они держатся за руки, пока крутится барабан, и больше заняты друг другом, чем картинками в оконце. Ну и что? Две седые головы в длинном ряду таких же голов под ярким светом ламп. Чем больше числом, тем вернее. Опуская по четвертаку, не успеешь особенно разориться. Крутятся вишенки, красные семерки, три полоски, еще что-то, появляются, и уходят, и, сладострастно вздрогнув, вдруг останавливаются, принося победу или поражение. Заменитель секса, как утверждается в одной художественно-документальной ленте, которую я монтировала; впрочем, меня она не убедила. Не все удовольствия обязательно восходят к сексу. Когда тебе за восемьдесят, пользуешься чем можешь. В Англии на железнодорожных станциях стоят игровые автоматы с фруктами, но удовольствие от них получаешь в одиночку, без сочувствующих, выигрыши жалкие, и того гляди подойдет твой поезд.

— У него даже хватило денег купить новую машину, великолепный “сааб”, — сказала Фелисити. — Мне нет больше нужды пользоваться “мерседесом” Джой.

А вот это уже хуже. Значит, игра у них идет не на четвертаки.

— Он большей частью играет в кости, — успокоила меня Фелисити. — Там самая большая вероятность выигрыша. Блэк-джек — увлекательнее, но существует опасность перевозбудиться и потерять голову. Уильям — не дурак. Он знает, когда подвести черту.

— Да, да, конечно, — отозвалась я. И больше не прибавила ни слова. Кому охота влюбленную женщину тыкать носом в серую действительность. Последний раз подобные благоглупости я слышала от моей подруги Эви, которая влюбилась в наркоторговца и

уверяла всех, что ради нее он теперь бросит свои темные дела. И — самое удивительное — действительно бросил.

Фелисити разговаривала невыносимо жизнерадостным тоном. А у меня был трудный день в монтажной, да еще я поругалась с Гарри. От него мне не было никакой помощи, он так поглощен своей персоной, что вообще забыл о существовании окружающего мира. Я ему так и сказала. Сидит себе, смотрит в пространство или перелистывает журналы, и вся работа достается на мою долю. А по-моему, раз студия оплачивает его присутствие, мог бы, кажется, пусть изредка, но обращать внимание на ведущуюся работу, хотя бы для приличия. Он ответил, что это вздор: я независимая женщина и вполне способна принимать самостоятельные решения.

Я на это сказала, что всю жизнь их принимаю и мне это уже осточертело.

Тогда он заявил, что у меня предменструальная истерика, и я подумала, сейчас я его убью. Но режущего и колющего оружия под рукой не было, и я в отместку просто вырезала полных тридцать секунд бестолкового блуждания камеры Астры Барнс, вместо того чтобы придать ему вразумительный смысл.

— Холли-то ты, конечно, не говоришь, что у нее предменструальная истерика, — равнодушно заметила я, когда все было сделано, а он даже не высказался ни разу, а сидел курил, пуская клубы дыма, и читал газету. Монтажная там крохотная, тесная, но ему дела мало.

— У нее не бывает менструаций, — отозвался он. — Она слишком тощая.

Он вел себя как чудовище. Он и есть чудовище, которое я по недосмотру впустила в свою жизнь. Зачем я связалась с этим бесчеловечным существом? Надо как-то от него избавиться.

— Мы в Соединенных Штатах умеем держать тело под контролем, — сказал он. — И не обжираемся сладкими булочками.

Буфетчица без нашей просьбы принесла нам кофе и булочки. Я съела одну, а он — две, обе с абрикосом, мои любимые. Мне досталась с яблоком.

— Ах вот как? — засмеялась я. — То-то они там у вас все толстые, как бочки. Говорят, чтобы сдвинуть с места гражданина Штатов, нужен подъемный кран.

— Это другие. Ненастоящие американцы, — возразил он. — А в вашей стране невозможно даже принять горячий душ: сочтется только какая-то жалкая струйка.

— Мы не транжирим зря горячую воду. Американцы изводят на собственный комфорт чуть не семьдесят процентов всей мировой энергии, ублажают себя, любимых. Северная Америка единолично губит планету.

— Мы умеем жить. И высоко держим голову. А остальной мир пресмыкается в собственном дерьме.

— Европа не меньше Штатов. Вы бы поостереглись, между прочим.

— Европа отсталая. Вон что натворили на Балканах.

— Это исключение, — возмутилась я. — По крайней мере, у нас нет каторжных работ и наши дети в школах не стреляют в одноклассников.

Спор был глупейший, но мы уже не могли остановиться.

— Ты, например, даже подмышки не бреешь.

— Зато я не ношу парик, как Холли, — парировала я. — По крайней мере, у меня свои волосы. Почему ты не уезжаешь к ней туда? Ты живешь со мной, просто чтобы не ездить на работу в такси.

— Так оно приблизительно и есть, — ледяным тоном подтвердил он.

— Лично я согласна с тем, что о тебе напечатали в Буффало, — прошипела я. — Они совершенно правы: ты — парень из провинции, только и всего. Так что сделай одолжение, выкатывайся отсюда.

Что на самом деле так расстроило Гарри, — и я бы отнеслась к нему с большим сочувствием, если бы не предменструальная истерика, как он совершенно правильно заметил, но кто в таких вещах признается? — это ругательная рецензия на его картину “Здравствуй, завтра!”, которую напечатала газета в Буффало. В других периодических изданиях по всем Штатам она удостоилась одобрительных отзывов, хотя и не имела особого коммерческого успеха. А вот в Буффало, родном городе Гарри, — ничего подобного. Там в статье, озаглавленной “Местный парень дал маху”, фильм обругали за сентиментальность, тенденциозность, неудачный подбор исполнителей, плохую актерскую игру и любительскую операторскую работу. На жалкие эффекты больно смотреть, а содержание просто неприличное. Гарри Краснер потерял сюжет. В Буффало все разочарованы. Сам он, может быть, видит себя местным парнем, добившимся успеха, но в родном городе рады, что избавились от него, — большое ему спасибо. Автор статьи даже откопал его школьную учительницу, которая засвидетельствовала, что Гарри был нахальным ребенком, держался о себе высокого мнения, из-за чего никогда не успевал вовремя сдать домашнюю работу. Ну, и так далее и тому подобное. Так пишут о человеке, когда хотят его всерьез уесть, тут чувствовалось что-то личное. Я спросила у Гарри. Да, он знает автора. Это некая Айрин Дегасто. Училась с ним в одном классе.

— Ты выдрался из Буффало, а Айрин осталась, — сказала я. — Понятно, что она злится. Может, ты не пошел с нею на выпускной бал, или как там у вас называется вечеринка по случаю окончания неполной средней школы.

— Ты вообще-то на чьей стороне? — возмутился Гарри, и с этого началась наша перебранка. Конечно, я была на его стороне. Но женщины всегда делают ошибку, принимают объяснять неприятности, утешать и успокаивать, думая, что так они смягчат боль удара, тогда как надо просто-напросто присоединиться к мужскому негодованию, подпевать и поддакивать.

Это был наш первый скандал, и он нас обоих так вымотал, что мы притащились домой, и неожиданно нам так хорошо было в постели, что это уже больше походило на любовь, чем на страсть. По-моему, даже Гарри был изумлен. И как всегда, когда я уже хотела только одного — спать, позвонила Фелисити. У нее такой дар. Как всем женщинам в любом возрасте, ей хотелось поговорить о своем новом романе — не важно, есть ли желающие слушать, — немедленно, во что бы то ни стало, прямо сейчас, не откладывая до моего приезда. У меня уже был куплен билет. Я улетала в субботу. А сегодня четверг. Все это я ей объяснила.

— А до той поры, если ты не собираешься за него замуж, — сказала я, — и не начала ссужать ему деньги и если тебя не смущает положение подружки игрока, я думаю, ничего непоправимого с тобой не успеет случиться.

— Он уже попросил меня стать его женой, — ответила она. — Я пока медлю с ответом. Не хочу слишком быстро соглашаться.

Я встревожилась, но показывать это было бы неразумно.

— Играющая подружка — это одно, а жена игрока — совсем другое. Тощица. И совершенно не в твоём духе, Фелисити.

— Ты и понятия не имеешь, что в моем духе, а что не в моем, — отозвалась она. — Когда я была совсем молоденькая, со мной происходили такие вещи, о которых ты ничего не знаешь.

— Я много чего знаю, — заговорила я. И тут же, от усталости и не подумав, брякнула глупость: — Знаю про Лоис и Антона. И сколько тебе всего пришлось пережить, бедняжка Фелисити.

Наступило молчание. Потом телефон разъединился. Я в ужасе набрала ее номер. Хорошо хоть, она ответила.

— Послушай, — сказала я. — Я буду у вас через пару дней. И тогда мы толком поговорим, ладно? По телефону это невозможно.

— Как ты смеешь, — набросилась на меня Фелисити, — копаться в моей жизни! Зачем только я родила Эйнджел! И зачем Эйнджел родила тебя! Я не желаю тебя видеть, не желаю, чтобы ты приезжала. Единственное, чего я хочу, — это чтобы меня оставили в покое и чтобы можно было начать заново.

Это был двойной удар под дых. Я скрючилась, как от боли.

— Я все равно приеду в Род-Айленд, это решено, — ответила я ей и, положив трубку, обнаружила, что боль реальная: у меня начались месячные и все мое тело сопротивлялось.

Я немного поплакала, и тут телефон зазвонил опять.

— Прости меня, — попросила Фелисити. — Я что-то не то сказала. Приезжай обязательно. Только, пожалуйста, не вмешивайся.

А Краснер мирно спал, как это свойственно Краснерам. Я думаю, это у меня атавизм: во время месячных я стремлюсь гнать мужчин вон, как кошки прогоняют котов, когда у них должны родиться котята. Шипят и бросаются, куда те не уберутся подобру-поздорову. Говорят, они гонят котов, чтобы те не сожрали котят, потому что такие случаи бывают, но кто может знать, что у кошки на уме? Можно, конечно, наблюдать за поведением кошек и выводить какие-то дарвинистские законы выживания, но, по-моему, это просто всплеск раздражения, которое мужские особи вызывают у женских, когда не до них. Эти здоровенные ленивые существа и их непрактичные мужские мнения! В предменструальный период подсознание, с присущими ему ясностью взгляда и четким пониманием, поднимается из глубин к поверхности, только и всего, и оно обычно не обманывает. А остальная часть месяца — это сплошной самообман, выдавание желаемого за действительное и дурацкие улыбочки.

Я была приглашена к Гаю и Лорне обедать в субботу к часу дня. У них почти нет друзей — некоторым людям подобрать себе партнера легче, чем обзавестись другом. Гай беспрестанно жалуется на бывшую жену, и эти обиды занимают в его душе место, которое у других отведено под дружбу. А унылый характер Лорны люди принимают за неприветливость и сторонятся. Эти двое довольствуются обществом друг друга, какое им дело до остального мира? Мне они, однако, будут рады и с удовольствием послушают мои рассказы о забавных происшествиях в мире кино. Сегодня Лорна даже поделилась со мной, что у нее когда-то был роман с сослуживцем из института, тянувшийся годы, — кино или концерт, потом ужин, потом постель; но, объяснила она мне, фильмы становились все скучнее, по крайней мере на ее вкус, концерты — все однообразнее, и под конец даже привычка уже не помогала, Лорна стала искать предлоги, насморк, например, чтобы не явиться на свидание, и к нему тоже то приезжала жена с детьми, то еще что-нибудь. Года через два они уже встречались не еженедельно, а раз в две недели, потом — вообще как придется, и наконец свидания совсем прекратились. Они еще иногда встречаются по работе — сейчас, например, готовят площадку под выставку “Новые открытия в сказочном мире кристаллографии”; на самом-то деле их нет, новых, есть только новые способы показать старые открытия в приукрашенном виде, — и Лорна уже вообразить не может, не то что вспомнить, что она такого в нем находила? У меня тоже было в жизни несколько случайных романов в подобном роде, многие, я думаю, даже женятся в результате по принципу “почему бы и нет?”, а раз так, чего же удивляться, что происходит столько разводов.

Лорна при более близком знакомстве становится лучше, по крайней мере на мой взгляд. Начинает свободнее разговаривать. Меня тронул и обрадовал ее рассказ о любовнике. Я тоже ей рассказала немного про Гарри. Мы вдвоем накрывали стол на веранде, выходящей в сад. День был солнечный, на лужайке из травы поднимали головки маленькие желтые крокусы, в дальнем конце сада, пенясь, катила полные воды Темза. Люди катались на лодках, на прогулочных катерах, мегафоны разносили голоса. Лорна подала неаппетитный, ничем не заправленный салат и, порывшись в глубине холодильника, выудила пакетики с ветчиной. О характере человека можно судить по содержимому его холодильника. Лорна — человек со скромными аппетитами, экономная, но не падающая духом. Три мисочки жирной застывшей тушенки, банка бульона, оставшегося от варки моркови, треть бисквитного торта, одинокая заваливающаяся головка брюссельской капусты — жалко ведь выбрасывать недоеденное накануне. Я приготовила винегрет, и Лорна выразила восхищение тем, какое это практичное блюдо. Я показала ей, как его делать, но не думаю, чтобы она когда-нибудь стала его готовить. Ни к чему потакать вкусовым излишествами. Я нисколько не сомневаюсь, что она прекрасный кристаллограф, ценительница холодных каменных восторгов, но не живых удовольствий. На стол она поставила мороженный зеленый горошек, смешанный с морковью, без соли, перца или масла. Но не важно, я пришла к ним не за угощением. А она проявила щедрость, поделившись со мной своими сердечными секретами, а также своим обедом, что далось ей не без усилия, и я это оценила.

Гарри уехал бриться и стричься в шикарный парикмахерский салон в Мэйфере, а после

этого у него встреча со звукоинженером в одном кабаке на Уорддор-стрит. Я сказала ему, что теперь в кабаки никто не ходит, только в клубы. Он возразил: почему же тогда в кабаки набивается столько народу? Разве люди, которые занимают даже столики на тротуаре, это никто? Я ответила, что он прекрасно знает, что я имею в виду, а сейчас мне надо отдохнуть: я еду за город в гости к родным. По крайней мере, теперь наконец у меня имеются родные и мне есть к кому ездить. Родные. Я с удовольствием повторяла это слово.

— Стоит мне на пару часов куда-то выйти, — заметил Гарри, — как ты сразу же исчезаешь не меньше чем на пять часов. Почему бы это?

— А что я, по-твоему, должна делать? Сидеть дома и считать минуты до твоего возвращения? Ты этого хотел бы? Холли так поступает?

— Почему ты все время поминаешь Холли? — спросил он, изобразив недоумение. Мужчины умеют прикидываться. — При чем тут она?

— Я о ней даже не заикаюсь.

— Нет, ты постоянно о ней говоришь.

— Неправда.

Права была я, и мы оба это знали. Просто я о ней думала, а он нет. Он потопал по своим делам, я — по своим. Но уже через полчаса мы звонили друг другу по мобильным телефонам (и как раз поэтому не сразу смогли дозвониться), чтобы удостовериться, что ни он, ни я не отнеслись к этой размолвке всерьез. Появление мобильных телефонов чувствительно затруднило сочинение интриги в современных кинодрамах: раньше мы изводили горы пленки, чтобы показать трудности, возникающие оттого, что двое не имеют связи друг с другом. А теперь даже на большом расстоянии или из какого-нибудь медвежьего угла они могут болтать часами. И вместо реплики: “Почему же они не обратились в полицию?” — теперь спрашивают: “Он что, не мог позвонить ей на мобильник и все объяснить?” Но такова логика развития.

Так мы сидели и переговаривались, и я смотрела, как тихо катит Темза печальные воды свои. Темза и в самом деле когда-то катила свои воды тихо, разливаясь вширь, где ей вздумается; но теперь, стесненная почти на всем пути каменной набережной, она энергично стремится вперед, и прежнюю ее женскую мечтательность сменил мужской напор. Гай, дописывавший у себя в комнате очередную бумагу для адвоката, освободился и присоединился к нам. Бывшая жена обвинила его в сексуальном надругательстве над маленьким сыном, и он, естественно, был расстроен. Адвокат успокаивал его и говорил, что это в наши дни распространенный прием, судьи, как правило, не обращают на него внимания. Такое обвинение снимает с матери ответственность за развод, освобождает от необходимости назначать дни общения отца с ребенком, а впоследствии даст ей право в ответ на расспросы сына просто сказать: “Твой отец был подонок. Так решил суд, и я ничего не могла поделать”.

— Ну, большинство-то матерей не такие, — благочестиво проговорила я. Не знаю почему, но в присутствии Гая меня тянет на благочестие. Однако он, вроде Гарри, не терпит фальшивых утешений. Я понимала, каково ему слышать такой поклеп и каково будет мальчику даже просто узнать о нем. Слишком много дрянных телефильмов я в свое время смонтировала — два года, убитых на стрижку кинолент, — в них часто описывались неблагополучные семьи, и оказывалось, что все неприятности проистекают из детских травм, нанесенных извергами отчимами или отцами. Потребовались многие серии занудных телевизионных мелодрам, чтобы уравновесить одну “Сибил”, резкую, острую картину

семидесятых годов, в которой злое дело совершила мать, а дочь нашла спасение в расщеплении своей личности. Когда первопричина разыскана и показана, расщепленные личности сливаются в одну, и Сибилла снова становится милой и симпатичной женщиной, она исцелена! Хотя, почему быть одной личностью настолько уж лучше, чем несколькими зараз, не объясняется. Должно быть, в пятидесятые годы самой не знать, где ты была прошлой ночью, — это кошмар; а в наше время, по крайней мере в мире кабаков и клубов, в этом просто нет ничего особенного.

Я старалась развлечь моих кузенов. Как известно, бесплатных обедов не бывает, да еще Лорна поделилась со мной своей сердечной тайной, поэтому я, в ответ рассказав ей про Гарри, добавила еще жутковатые повести о моей матери Энджел и отце Руфусе, художнике, и о нашей общей бабке Фелисити. Как Энджел умерла, я рассказывать не стала. И как появилась на свет Алисон — тоже: они не интересовались, и это не такая уж поучительная история, разве что показывает, какой героической личностью, по моим понятиям, была Фелисити. Она — чемпион по выживанию, благочестиво, в манере Гая, сказала я. Но Лорна прозаично возразила, что ей непонятно, в чем тут героизм. Ты либо жива, либо тебя уже нет на свете, только и всего. Мне подумалось, что содержимое ее головы примерно такое же, как и содержимое их холодильника: ни необыкновенных мыслей, ни случайных находок. А мой либо пуст, либо набит до отказа копченой лососиной, французскими сырами, натуральным сливочным маслом и толстыми плитками шоколада. Середины почти никогда не бывает, не знаю уж почему.

У Лорны нашлось довольно любопытства, чтобы поинтересоваться, кто была та девица, которая появилась у них на пороге и первая уведомила их о моем существовании. Я объяснила, кто такая Уэнди из агентства “Аардварк”. Мы вместе посмеялись над этим названием. Но Гай был возмущен, он сказал, что так выкапывать информацию незаконно, ведь существует закон об охране личных данных. Лорна заметила, что они же не имели в виду ничего плохого, но Гай сказал, что цель не оправдывает средства. Они заспорили и чуть ли не поругались, как дети, переходя на крик. Казалось, сейчас выскочит из дома Алисон и велит им немедленно прекратить ор. И моя жизнь сложилась бы совсем иначе, подумала я, будь у меня братья, сестры, дом и семья. Я им почти завидовала.

Я все еще испытывала боль от того, как Фелисити меня отругала по телефону. Плохо, когда родной человек желает, чтобы тебя не было на свете, пусть даже Фелисити потом извинилась. Это как проклятие, оно сулит несчастье. Мне было жалко себя, все у меня не слава богу, и не на что в жизни опереться. Гарри сказал, что теперь я, наверно, понимаю, почему его так расстроили нападки из Буффало. Я с ним согласилась. Услышать, что ты никому не нужна и всегда была не нужна и что можешь убираться на все четыре стороны, — это страшно.

И потом, травма ведь полностью не заживает. Боль, нам причиненную, мы передаем тем, кто придет после нас, теперь это общеизвестно. Как заповедано нам Богом, Фелисити сделала все, что могла, чтобы перемолоть, изжить, обезвредить отцовское предательство (с чего все и началось), материнскую смерть, жестокость Лоис, надругательства Антона и всякие унижения и позоры, которые ей пришлось перенести за все те годы, когда она поступала так, как вынуждена была поступать, хотя почти всегда сама того не желая. Однако

все вместить и перемолоть могут только святые; вот почему наш мир понемногу катится вниз, от одного зла к другому. Мелкие подлости, ранящие другого неразумные поступки, которых совершать мы даже и не хотели, но, оказывается, совершили, служат смазкой для общего сползания человечества в энтропию. Все мы — алхимики, пытающиеся превратить неблагородный металл в золото, что, вообще-то, полностью осуществить невозможно. Фелисити справилась блестяще, проскользнув по поверхности своей жизни, да и теперь, после стольких лет, еще продолжает это скольжение. Лично я, как говорится, не выношу жара от печки и потому не суюсь на кухню. Вот только Крассер тянет меня туда за шиворот. А мне больно, так больно! Но что у меня болит, сама не могу понять. Ведь если намерения добрые, ничего плохого случиться не должно?

О, сказал Панджандрум мудрый. Не знаю, откуда эта фраза, из какой клеточки моего детства; это как бы забавная присказка на дне памяти, выдох облегчения, эхо давней радости, веселый припляс, от которого и сегодня становится легче жить.

О, сказал Панджандрум мудрый. Так что же он такое сказал? Что моя мать была безумна и поэтому никого из окружающих нельзя винить, ведь с безумными как прикажешь обращаться? Они кусают руку, которая их кормит, и если вы отдергиваете руку, то это же произвольно. Когда рассудок работает четко, хотя мозги расконтачены, а приоритеты лобных долей, в которых находится центр нравственности (вот это хорошо, а это плохо, вот это верно, а это неверно, и только я одна могу судить), пересиливают натиск эмоций, вот тут разверзается ад. Я всегда думала, что нейрохирурги-лоботомисты, наугад отсекающие лобные доли, где заложена совесть, — мне досталось монтировать сцену трепанации в картине “Смерть гения”, и я могла работать, только по уши напившись транквилизаторами, и говорила, что мне полагается надбавка за вредность, — я думала, что они на верном пути. Если пациент не умирал, по крайней мере он мог существовать в свое удовольствие, обретя свободу от морали. Сознание долга всегда приводит к беде. И кокаин так же: освобождает человека от чувства обязанности перед истиной, перед другими людьми, перед всем. Когда-нибудь обнаружат, что этот белый порошок воздействует на лобные доли, и методом геной инженерии создадут разновидность кокаина, такого действия не оказывающую. Я, конечно, отвлеклась. О таких вещах говорить нелегко. О, сказал Панджандрум мудрый! Фелисити нельзя винить. В 1945 году Фелисити, развлекавшая военнослужащих на американской авиабазе в графстве Норфолк, в Англии, забеременела от некоего сержанта Джерри Солсберджера из Атланты, штат Джорджия. Он заключил с нею гражданский брак накануне того дня, когда был переведен обратно на родину, а следом за ним отправили и ее. Это действовал план “Солдатские жены”, согласно которому после войны по всему миру были собраны и доставлены в Соединенные Штаты жены и признанные дети американских военнослужащих. На вокзале Фелисити никто не встречал — оповещение о ее приезде не было послано, а может быть, просто никто не поинтересовался вскрыть конверт со штампом “дяди Сэма”. Но у нее был адрес и хватило денег не такси. Шофер такси вздумал было приставать к ней, беременной, но она ответила, что приехала начать новую жизнь. Он был пригожий белый парень, небритый и дружелюбный — в тех местах жили белые бедняки, — но Фелисити отказалась. С чего начнешь, так и заживешь. Джерри Солсберджера она отыскала в сарае посреди птицефермы, он валялся под грязным одеялом на колченогой кровати, пьяный вдрызг. Мальчик лет шести — Фелисити определила возраст по отсутствию двух передних зубов, — который сказал, что его зовут Томми, папа его — Джерри, а мама от них ушла, как мог ухаживал за полусотней красных род-айлендских кур. Отличные птицы старинной индейской породы, с высокими гребешками, блестящими кроваво-красными крыльями и зелеными хвостами, были куплены в Декейтере у некоей миссис Дональдсон на демобилизационные деньги Джерри, но дух их уже был сломлен, их заели, загрызли, замучили паразиты, нестись они и не помышляли. Многие почти облысели: птицы, когда им не хватает корма, едят собственные перья, а от расклевывания перьев начинает сочиться кровь, образуются язвы, проникает инфекция, и

птицы гибнут. Так и мы, если не удовлетворяются наши потребности, уничтожаем сами себя. Вонь стояла страшная.

О, сказал Панджандрум мудрый! Джерри Солсберджер рассказывал Фелисити, что происходит из старинной лютеранской семьи, обосновавшейся в Джорджии две сотни лет назад; возможно, что так оно и было. И дом свой он описывал в духе Тары из “Унесенных ветром”, она и этому верила, да может быть он и был таким когда-то, несколько поколений назад. О, Америка, моя новообретенная земля, страна грез, нейлона, жевательной резинки и бодрости духа. Ну и что, почему бы ему и не врать? Врал же Антон. Пора бы ей усвоить. Джерри женился на ней из милости, в расчете на то, что больше никогда ее не увидит.

Она взялась за работу. Выплеснула на него ведро воды. Он проснулся и потребовал есть. Она нашла яйца и поджарила омлет, но он швырнул в нее тарелку. “Ну и черт с тобой”, — сказала она, умыла и накормила мальчика. Напоила и накормила кур, а тех, что не держались на ногах, поместила в отдельный курятник, нарвала и нарубила пиретрума и набросала им туда. Какие-то поумирали, но некоторые выздоровели. Она лопатой сгребла куриный помет, заделала проволокой дыры в ограде, чтобы не могли проникнуть четвероногие хищники. Какие они, она не знала, знала только, что они наверняка существуют. Разыскала дробовик Джерри и разобралась, как из него стреляют. Дробовик предназначался для двуногих хищников. Фелисити была на седьмом месяце. Погода стояла жаркая и душная. В первую ночь она устроила себе постель на покосившейся веранде и легла там спать. Она проделала долгий путь.

Утром Джерри извинился и объяснил, что ребенка своим не считает, он женился на ней просто по доброте душевной, да он вообще уже женат, правда, теперь как раз жена от него ушла — уехала, а мальчика не взяла. Фелисити может тут остаться, если хочет. Податься ей было некуда, и она осталась. На ферме имелся один кран для людей и кур. Маленький Томми ей помогал; он был мужественный ребенок. Они сдружились. Фелисити перебралась в постель Джерри — раньше ей было там хорошо, впрочем, она прикидывала, что с таксистом могло быть, наверно, лучше. Родилась Эйнджел.

Фелисити написала письмо миссис Дональдсон, прося наставлений, как обращаться с курами, поскольку Джерри, разумеется, ничего не знал, он думал, что надо их просто иметь, и они сами будут нестись. Ему и в голову не приходило, что за курами нужно ухаживать. Неудивительно, что он запил. Миссис Дональдсон прислала подробный ответ: кур надо отбирать по признаку воротничка на шее, будущее породы — за ними, а у петухов этого признака надо избегать, не то весь птичник в конце концов будет с сизой подпушкой, что является для красных род-айлендов самым большим пороком.

Их семейство существовало впроголодь, а куры проживали в роскоши. Люди ели глазуньи, печеные яйца, омлеты, пашоты, а куры питались соседскими отбросами да еще добывали себе зерна, роясь в земле; скорлупа, правда, была тонковата, но кур это ничуть не трогало. Они лучше неслись, когда петухов от них отделяли. Эмоционально обездоленные куры утешаются тем, что несут яйца: каждое новое яйцо — очередной успех. Скоро появилось довольно денег, чтобы провести в курятники воду, потом — чтобы починить кровлю на доме, поставить новую плиту, закупить пеленок и не укладывать больше младенца на мох. Мха, как и москитов, в жаркой, сырой местности всегда вдоволь. Хватало и Джерри на сигареты, на виски и баб, он так и не избавился от этих привычек, несмотря на

свое лютеранское происхождение.

О, сказал Панджандрум мудрый. Если бы Фелисити смогла там прижиться! Но она не смогла. Эта жизнь была не для нее, по рождению она принадлежала к лондонской богеме, и не важно, что там нагромоздилось в промежутке. Она обучилась благодарности, но не до такой же степени. И в один прекрасный день, когда Эйнджел было пять лет, а Томми двенадцать, затосковала, собралась и уехала, и кто бы мог ее за это винить. По крайней мере, она взяла с собой детей; многие и этого не делают. Она работала певичкой и танцовщицей на старомодном речном пароходе, блестящие медные поршни которого знай себе ходили вверх-вниз, вверх-вниз, и все пропахло горячим машинным маслом. Каждую ночь пароход поднимался против течения по реке Саванне, мимо хлопковых складов, тогда еще не заброшенных, а потом обратно, и это называлось “Лунный круиз”. Когда рейс заказывали для частной вечеринки, Фелисити танцевала для гостей до пояса обнаженная, так, во всяком случае, говорила мне моя мама, но свидетельствам Эйнджел нельзя доверять, у нее мозги были расконтачены.

На одном из таких вечеров Фелисити познакомилась с Бакли, прикинула, что формально она незамужняя, и надумала выйти за него замуж. У Бакли имелась хорошая библиотека, и Фелисити хотелось заняться самообразованием — она знала, что когда она станет богатой, кроме как читать книги, ей нечего будет делать.

Бакли согласился взять девочку, она была хорошенькая, а мальчика — нет, мальчик ему не пришелся по вкусу, так что Томми был отправлен назад к отцу, вырос никчемным бездельником и породил с Маргарет, падчерицей Уильяма Джонсона, двух мальчиков, разумеется, вне брака.

О, сказал Панджандрум мудрый. Но и тут Фелисити винить нельзя: это было заложено в генах и проявилось, как сизая опушка на шее у красных род-айлендов, если неправильно проводить отбор. А на похоронах-то она была.

О, сказал Панджандрум мудрый. Фелисити не должна была говорить своей дочери Эйнджел накануне ее восемнадцатилетия, что в словах, которые спьяну обычно выкрикивал Джерри, а на завтра за них извинялся, содержалась правда, а именно — что он ей не отец. Настоящим отцом Эйнджел был исполнитель фолка, кое-как брэнчавший на гитаре и фальшиво певший в одном из клубов лондонского Сохо. Известие это так воздействовало на Эйнджел, что проводка у нее в мозгу, до тех пор еще державшаяся, не выдержала и лопнула, и с той поры в голове у нее время от времени начиналось бог знает что. Для некоторых людей жалкий, пьяный папаша-куровод, которого знаешь, все же лучше, чем неизвестно кто, которого тебе вдруг подсовывают. И никто даже имени его не знает. Или знает, но не говорит.

О, спросил Панджандрум мудрый. Почему Фелисити, чтобы открыть дочери правду, выбрала канун ее восемнадцатилетия? Ответа нет, разве только, может быть, потому, что до конца привести в порядок свое прошлое у нее еще не получилось, оставалось еще много зла, и вот к чему оно привело. Работа на птичьем дворе лучше подготавливает к добродетельной жизни, чем пение и танцы в полуголом виде на речном экскурсионном пароходе; они могут

притупить осторожность. И не только на могучей Миссисипи, но и на более умеренной Саванне, которая по шику и блеску в сравнении с Миссисипи — все равно что Фоксвуд в сравнении с Лас-Вегасом. Помалкивать Фелисити научилась позже. Она постоянно корила себя, но это ее не извиняет, она все равно названивала мне из Штатов и объявляла, что для нее настало время открыть правду. Что она давно уже ее открыла, и с избытком, — этого она не признавала. Конечно, за восемнадцатилетней Эйнджел нужен был, я думаю, глаз да глаз; а как вырастить девушку скромной и добродетельной, если у тебя самой такое прошлое и под сырой дремучей бахромой испанского мха, свисающего с деревьев, из улицы в улицу ходят слухи? В Род-Айленде все четко и ясно: ранней весной цветут чистым белым цветом кизилловые кусты, но всюду мелькают крохотные колибри, напоминая о Юге, — золотисто-зеленые спинки, белые грудки, зеленые бока, а у самцов еще и ярко-алые шейки. По-моему, кто-то где-то работает над выведением породы, в которой самки будут такие же красивые, как самцы, хотя, конечно, дело это хлопотливое. Если задуматься, наверняка где-то кто-то над этим работает, у меня такая теория. Опять отклоняюсь.

О, сказал Панджандрум мудрый. Он сказал, что моя мать, совершенно безумная, но никто тогда этого не знал, в день, когда ей исполнилось восемнадцать, очутилась одна в Лондоне. Ее отправили на каникулы со знакомыми в поездку по Европе, но она улизнула во время экскурсии в Национальную галерею и так и не вернулась, повергнув в ужас Фелисити, Бакли и Джерри: тоненькая, большеглазая, талантливая девушка с прерафаэлитовскими волосами, хорошо образованная, знающая наизусть массу стихов, от Уитмена до Байрона, и собирающаяся стать художницей! Ушла искать отца. Это было в 1964 году. Вышла из Национальной галереи, завернула за угол с Трафальгар-сквер и пошла в клуб под названием “Мандрагора” в Сохо, неподалеку от того места, где я теперь живу. “Найди младенца в корне мандрагоры”^[14]. Фелисити как-то раз неосторожно сказала маленькой Эйнджел: “Вот там я тебя и нашла”. Ангелы не забывают.

Клуб был закрыт, здание выставлено на продажу, но старик сторож помнил человека, который вполне мог быть ее отцом. Он играл на гитаре и пел народные песни; это было тогда, когда на город падали “фау-2” перед самым концом войны. Тогда пили виски и пиво, но не вино. Клуб посещали художники и писатели, играли в шахматы. Из соседних заведений прибежали певички-шансонетки, составляли им компанию. Нет, девушку по имени Фелисити он не помнит, наверно запомнил бы, если бы знал такую. Их все больше звали Вера, или Анна, или, к примеру, Кудряшка Сент-Джордж. Но что он вроде бы помнил, это что того парня с гитарой зарезали насмерть в драке у входа в кабак, это было в ночь победы союзных войск в Европе, 8 мая 1945 года. Вот и все, что мне известно о моем деде с материнской стороны.

О, поет Панджандрум мудрый. Английские народные песни добрались в Америку в восемнадцатом веке. И угнездились в Аппалачских горах, где и сохранились в более чистом виде, чем на родине; у нас они большей частью просто вымерли. За исключением нескольких, например “Соловей в кустах заливається”, которым нас учили в школе, и все их терпеть не могли, кроме меня.

Соловей в кустах заливається,
Мой милый ко мне собирається.

Бьется сердце в груди,
Поскорей приходи,
Я тебя зову.
Милый мой, торопись
И поближе садись
Рядом на траву.

Да уж, конечно, и мы все знаем, что за этим последует. Прекрати петь, Панджандрум мудрый, ведь мы, дети, не могли знать о том, как дальше сложатся песни нашей жизни.

Панджандрум мудрый утихомирился и сообщает, что моя бабка Фелисити прилетела в Лондон спасать дочь, но Эйнджел домой возвращаться отказалась: она решила поступить в Кембервилльскую школу искусств. И вполне сумеет прожить сама.

“Ну что ж, — сказала Фелисити, — помнится, я когда-то хотела идти в балет”. И она позволила Эйнджел остаться одной в чужом городе, без родных и знакомых. Как люди строят отношения со своими детьми, зависит, я думаю, от их собственного жизненного опыта. А может быть, Фелисити не хотела, чтобы Эйнджел стала свидетельницей извращенных забав Бакли: тогда мир еще мог быть скандализован, а Бакли чем дальше, тем держался все откровеннее. Как бы то ни было, Фелисити сняла для Эйнджел небольшую квартирку в Сохо и как можно скорее улетела обратно в Атланту.

О, Панджандрум мудрый несколько не удивился, когда оказалось, что в Школе искусств Эйнджел не появлялась и домой не звонила, а квартирка ее вскоре наполнилась алкоголиками и наркоманами, которых она к себе наприглашала. Психически больные люди часто ищут общества угнетенных и неимущих, они испытывают к ним симпатию, родственные чувства. Но угнетенные — не всегда хорошие люди, вскоре Эйнджел выжили из собственного жилища, и она ночевала на полу у студента-художника, которому предстояло стать моим отцом. Одного года от роду я спала в кроватке, которая стояла в кухне на крышке ванны — так тогда жили: если вы хотели иметь в квартире ванну, а единственным помещением с водопроводом была кухня, там устанавливали ванну и закрывали деревянной крышкой, которая одновременно служила полкой; и все в порядке. Когда мне было четыре года, в галерее Мальборо на Корк-стрит у моего отца Руфуса состоялась выставка. Он выставил пятьдесят работ, двадцать пять из них купили. Когда надо было снимать и увозить остальные, Эйнджел свалила их у стены на улице, облила денатуратом и подожгла. Публика имела возможность приобрести эти гениальные произведения, но не пожелала воспользоваться ею; а другого такого случая не будет! Люди — свиньи, у них нет вкуса. Руфус плакал. Полиция не возбудила дело, но настояла на освидетельствовании психиатром. Эйнджел становилась все более буйной. Шмякнула в комнате об стену кота, потому что его желтые глаза выдавали в нем дьявола. Но мне она никогда не причиняла вреда, за исключением одного раза, когда она пыталась меня задушить, потому что подумала, что это не я, а кто-то другой. Подрастая, я становилась ее сообщницей в наведении порядка в мире. Иногда мы выбрасывали вещи; иногда ходили в кино, и она там сидела тихая и добрая. Я эти походы любила. Иногда я посещала школу, а бывало, что и нет. Фелисити летала туда-сюда, хорошо, что у Бакли уже была своя авиакомпания. Всякий раз при матери у Эйнджел наступало ухудшение. Она отказывалась брать деньги. Если кто ей подсовывал, она их сжигала. Деньги она не одобряла. Руфус приходил и уходил, он пробовал остаться, но бывал

выдворяем, часто под угрозой ножа. Когда заглядывали социальные работники, мама была сама любезность, и всегда у нее находились причины и оправдания ее плохого поведения. Иногда они не действовали, и ее увозили; у меня осталось в памяти, как она от меня уходит по длинному гулкому коридору за руку с санитаркой, а у той на поясе побрякивает связка ключей, и двери захлопываются с оглушительным лязгом. Когда мама в конце концов оборвала свою жизнь, она это сделала, я думаю, чтобы спасти от себя меня, десятилетнюю; она тогда была в хорошем состоянии, ремиссия — так это называется, но ни Руфуса, ни Фелисити при этом не было, перерезать веревку досталось мне.

О, как мне надоел этот мудрый Панджандрум! От него никакого проку, скажите ему кто-нибудь, пусть замолчит.

Назавтра после посещения Фоксвуда Фелисити поднялась утром поздно. Позавтракала у себя в комнате йогуртом, апельсиновым соком и настоящим натуральным кофе. В любви некоторые женщины полнеют от довольства, а другие тощат от разнонаправленных волнений и забот. Фелисити относилась ко второй категории. Надо ушивать юбки или, еще лучше, покупать новые. А каков будет Уильям при совместных выездах в магазины? Наверно, проку от него будет мало: станет изнывать от скуки, хвалить все, что она ни примерит, не понимая всей важности правильного выбора. Вот Эксон в таких делах знал толк и был ценным эскортом: носил за ней пакеты, звал продавца; но зато он предпочитал тусклые тона, и кончалось тем, что она из вежливости приобретала скучные вещи, которые не было охоты надевать.

После завтрака она не менее получаса обсуждала с Уильямом по телефону все эти вопросы. Чем больше времени двое проводят вместе, тем больше им бывает нужно сказать друг дружке, когда они врозь. Пустяки так же занимают близких людей, как мировые проблемы — людей чужих. Фелисити видела у себя за окном овсянку редкой окраски: синюю с зеленым горлышком; птичка добрых пять минут оставалась на одном месте, так что Фелисити успела достать свой определитель птиц и отыскать ее в нем. Что это была овсянка, она ручается. Ей теперь во всем везет. А Уильям натер ногу в новых ботинках и спрашивает, следует ли проткнуть волдырь и выпустить жидкость или же залепить пластырем, чтобы рассосалось само? Ну и так далее.

К тому времени, как Фелисити собралась и вышла в библиотеку поболтать с доктором Бронстейном и, может быть, еще и с Кларой Крофт, дело уже близилось к полудню. Если она застанет там Клару, придется в очередной раз выслушивать подробный рассказ о гибели “Гинденбурга”, этот сюжет опять и опять прокручивался в Клариной голове, как пленка без конца просматриваемого кинофильма, не оставляя места для других мыслей. Зато иногда, когда кино отключалось, от нее можно было услышать много интересного. Но ни в одном кресле доктора Бронстейна в библиотеке не оказалось, только Клара была на месте, и ее сухонькая ручка вцепилась в локоть Фелисити изо всей силы, как рука Старого Моряка [\[15\]](#). Доктора Бронстейна, зашептала она, увезли в Западный флигель, против его воли, прямо на глазах у родственников. Не иначе как ему что-то подсыпали в питье: у него был такой растерянный вид, просто сам не свой.

— Когда это было?

— Вчера вечером, сразу после “работы над собой” с доктором Грепалли, — рассказала Клара. — В библиотеке никого не было. Я больше никогда не буду петь эту его песню про полуполную чашу. Наша чаша полупустая, что бы нам ни говорили. Жаль, что вас не было, мисс Фелисити. Вы бы им не позволили.

— Не вижу как, — сказала Фелисити.

— На вас обращают внимание, — ответила Клара. — А на меня нет. У вас есть настоящее. А у всех остальных здесь только прошлое.

В другое бы время Фелисити это очень польстило.

— Он не хотел перебираться, — повторила Клара. — Сестра Доун просто уволокла его. Сказала, что, мол, вы обязаны подчиниться. И ему ничего не оставалось, они выправили

законную бумагу. А что до родственников, я вообще не понимаю, при чем тут они, через три-то поколения. Но эти тут не соблюдают законы, а делают что им нравится. Бедный доктор Бронстейн. Решал его праправнук со своей девицей, они даже не женаты, и что они понимают, в их-то молодые годы.

Мисс Фелисити вынуждена была силой разжать Кларины ревматические пальцы на своем локте, их, похоже, свело судорогой, и ей стало больно. А Клара даже не заметила.

— Я теперь перестала понимать, кто из молодежи какого возраста, — говорила Клара. — Этим, я думаю, двадцать с небольшим. Девица — та старалась проявлять доброту. Объясняла, что это для его же блага: если человек не знает фамилию президента Соединенных Штатов, значит, он не может самостоятельно распоряжаться своими делами. Единственная там некровная родня. Они не заметили, что я слушаю. Я забила в кресло и пригнула голову.

Вернее всего, просто не могла встать без посторонней помощи, подумала Фелисити, а доктор Бронстейн лишился возможности ей помочь. Кресла там низкие, глубокие и очень мягкие, встать с такого — для пожилых людей сложная задача.

В библиотеку, ласково улыбаясь, вошла сестра Доун; она несла на вытянутых руках, точно младенца, три белые лилии на длинных стеблях, какие принято приносить по случаю чьей-то смерти. Фелисити и Клара обе были уже в том возрасте, когда знают, что срезанные белые лилии — плохая примета. Похоронные цветы. При появлении сестры Доун с лилиями Клара сразу замолчала, не догадалась с разгону сменить тему, как сделала бы на ее месте Фелисити.

— Вы не хотите, чтобы я услышала, о чем вы говорите, мисс Крофт? — сразу же заметила сестра Доун. — Случилось что-то ужасное, вроде катастрофы “Гинденбурга”?

Бережно положив цветы, она пошла вдоль кресел, ощупывая сиденья. Перед одним остановилась:

— Мокрое! Разумеется, любимое кресло доктора Бронстейна. Удивляться не приходится, но не испытывать отвращения невозможно. Поправить тут уже ничего нельзя, придется заменить кресло. А вы знаете, сколько стоят кресла из натуральной кожи? Мы слишком задержались с переводом доктора Бронстейна в Западный флигель. Ну да, как говорят у меня на родине, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Такие вещи весьма неприятны для остальных постояльцев.

— Так говорят не у вас на родине, сестра, — возразила мисс Фелисити. — Это я так говорю, а в вашем штате ноги моей не было. Что же до влажности, то это кресло абсолютно сухое. — Она отважилась потрогать мягкую кожаную обивку.

— Когда мы стареем, наше осязание теряет остроту, — произнесла сестра Доун. — Мы вдыхаем запахи, но не сознаем этого, повторяемся, но не отдаем себе отчета. А когда мы теряем контроль над собой, необходимо, для нашего же блага, чтобы за нами смотрели. Случается даже, что мы размазываем губную помаду и не видим этого, хоть подставь нам увеличительное зеркало. — Подавшись к Фелисити, она вынутым из кармашка марлевым тампоном провела по краю ее губ. От марли пахло дезинфекцией. Фелисити презрительно отдернула голову. — Что, по-видимому, и произошло сегодня утром, мисс Фелисити, — заключила сестра Доун как ни в чем не бывало. — Ни к чему выглядеть курицей, вырядившейся цыпленком. С возрастом следует умереннее употреблять косметику, так мы сохраним свое достоинство.

Она погрозила толстым пальцем мисс Кларе, чье лицо, как всегда, пересекала пунцовая полоса помады, которую она всегда наносила, не сообразываясь с рисунком губ.

— Если бы доктор Бронштейн знал, где находится Косово, можно было бы, пожалуй, уговорить доктора Грепалли, чтобы он пока еще оставил его здесь, — разговорилась сестра Доун. — Фамилию президента наш милый доктор мог забыть просто от раздражения, как я пыталась объяснить его родным, но когда образованный человек в старости забывает общеизвестные факты из географии, которые повторяют все газеты и твердят по телевидению, это уже дурной знак. Мы склонны забывать то, что не хотим помнить. Географические названия, не окрашенные для нас никакими эмоциями, как правило, погружаются в бездну старческого слабоумия в последнюю очередь. Не все это знают. Но я надеюсь, вы вчера приятно провели вечер, мисс Фелисити?

— Замечательно, — ответила Фелисити. — Я намерена организовать в “Золотой чаше” коллективные выезды в казино “Фоксвуд”. Там специальные расценки для умудренных годами.

— “Умудренные годами”, — усмехнулась сестра Доун и с размаху ткнула лилии в вазу, где уже торчали какие-то растения, пронзив, точно копьями, увядшие листья. — Хорошо бы, по крайней мере, старухи не выживали из ума. Тут не до эвфемизмов.

— Ученое слово, — усмехнулась Фелисити.

— В мое время в журнале “Пост”, — проговорила Клара, только теперь поборовшая испуг, — нам не позволялось пользоваться длинными учеными словами, если можно было обойтись короткими и простыми.

— Это вы нам уже говорили раз сто, мисс Клара, — заметила сестра Доун. — Я надеюсь, вы знаете, какой у нас сейчас год? Доктор Бронштейн и этого не смог сказать.

— Конечно знаю, — сразу насторожилась Клара, почуввав опасность и позабыв принять томный вид. — Я никогда не думала и не надеялась до него дожить. В двадцать лет я надеялась умереть к тридцати, когда мне исполнилось шестьдесят, я не могла прийти в себя от изумления, а теперь мне девяносто, и я сожалею, что не умерла вчера, но осуществить это сегодня у меня не хватает духу.

Сестра Доун своими энергичными пальцами шарила в букетах, выглядывающих из больших ваз возле камина, где никогда не разводили огонь, и выдирала увядшие цветки и засохшие листья. Сегодня она была облачена в ослепительно-белую униформу с медными пуговицами на плечах и с большими, глубокими карманами; на ногах у нее по-прежнему были игривые туфельки на красных каблучках, которые она забыла переобуть.

— Вы ведь не хотите, чтобы наш консультирующий психиатр нашел у вас депрессию, — сказала сестра Доун Кларе. — У них это считается одним из самых тяжелых гериатрических симптомов. Мы стремимся к тому, чтобы все были счастливы, наши чаши наполовину полны, а не наполовину пусты. Я думаю, мало кто из наших постояльцев вообще заметит отсутствие доктора Бронштейна. Так что не будем придавать этому чересчур большого значения. Мне показалось вчера вечером, мисс Клара, что вы прятались тут в кресле, поджав ноги, как маленькая девочка, которая боится, как бы ее не заметили.

— Это не я, — поспешила возразить Клара. Ее храбрости хватило ненадолго. Сестра Доун улыбнулась губами, но не глазами и удалилась, унося с собой в просторном кармане мешочек, куда она набила оборванные сухие листья и цветы.

— Посещение Западного флигеля разрешается только в определенные часы? —

поинтересовалась мисс Фелисити у Клары.

— Не надо туда ходить, — ответила Клара. — Это слишком тяжело. Неизвестно, кого там увидишь, кого уже и забыли. А вы знаете, что я находилась среди пассажиров на летном поле, когда “Гинденбург” загорелся при посадке?

В тот же день ближе к вечеру у главного входа в “Золотую чашу” остановился “мерседес”, доставивший Джой и Джека. Чарли, как с горечью заметила Джой, прекрасно знал дорогу. Цель их приезда — поговорить с доктором Грепалли. Отчет Валери Бохаймер отправили раньше. У Джой на шее было золотое колье-ошейник с брильянтами, но не прямо на коже, а на высоком, под горлышко, вороте розового трикотажного тренировочного свитера. “Если требуется нарядиться пошикарнее, это не значит, что надо пренебрегать удобством”, — сказала она Джеку. Джек возразил: он не видел нужды наряжаться, но, по мнению Джой, важно, чтобы доктор Грепалли отнесся к их визиту со всей серьезностью. На карту поставлено благополучие Фелисити.

В последнее время Джой завела обыкновение носить брильянты чуть не каждый день. Франсина свои драгоценности годами хранила в сейфе, утверждая, что появляться на людях в дорогих украшениях слишком рискованно. Наденешь перстень, а какой-нибудь обкуранный хулиган возьмет да и отрежет его вместе с пальцем; а если наденешь браслет, то и руку может оттяпать. Она слышала о таких случаях. Дорогие кольца, ожерелья, браслеты — для ошейников у нее шея коротка, слава тебе Господи, думал Джек, зная о ее страхах, — копя пыль, покоились на бархате в футлярах под замком, покуда в один прекрасный день, за год до смерти, еще до того, как ей был поставлен диагноз “рак”, вдруг, никому не сказавшись, она вынула драгоценности из сейфа, продала разом все и вырученные средства пожертвовала не кому-нибудь, а в собачий приют. При том, что она собак даже не любила. Джек тогда огорчился. В конце концов, это были его подарки, заработанные потом его чела; он прожил нелегкую трудовую жизнь: чтобы стать богатым человеком, требуется упорство, работа с утра до ночи и целеустремленность. Единственное, в чем он, может быть, провинился, — это в том, что попытался уговорить Франсину надеть хоть что-нибудь, например бриллиантовые серьги, на вечер в честь ее шестидесятипятилетия, который для нее, по доброте своей, устроила ее сестрица Джой.

Джой, со своей стороны, надеялась, что Джек тоже немного приоденется для разговора с доктором Грепалли. Но увы. Джек, заделавшись теперь членом загородного клуба, собирався после “Золотой чаши” ехать играть в гольф и заявил, что наденет только то, что требуется для гольфа. Прошли те времена, когда ему приходилось одеваться по чужому вкусу. Теперь он носил эластичные брюки и мешковатые затрапезные свитера.

Доктор Грепалли поднялся из-за стола им навстречу, красивый, широкоплечий, доброжелательный, в хорошо сшитом сером костюме и белой рубашке, но без галстука — смесь парада и будничности, рассчитанная на то, чтобы не смущать посетителей. Ни один из мужей Джой не добивался такого эффекта с одеждой, это было у нее больное место. Сама-то она носила вещи свободного покроя, броских, ярких тонов и из дорогой ткани, это ее слабость, но ей всегда хотелось, чтобы ее мужья не ударяли в грязь лицом. Ну да куда там.

— Мистер и миссис Эпстейн, — произнес доктор Грепалли, — рад вас видеть!

Джой и Джек принялись было наперебой объяснять, что они не супруги, а родственники, она сестра его покойной жены, но потом оба махнули рукой. Джек — потому что Джой не давала ему слова вставить, а Джой — потому что ей надоело отнекиваться. Да и вполне могла бы она быть миссис Эпстейн: они вон уже и переругиваться стали по-

семейному. Раньше семейное положение сестры как жены Джека Эпстейна казалось Джой недостижимо завидным — а что же теперь? Хорошо еще, что у них хоть обходится без секса, не то что у Фелисити. Лично она, Джой, никогда это особенно не любила, а теперь, на старости, и притворяться больше не надо. Лишь молодым мужчинам обязательно нужно, чтобы вам это нравилось; а старея, они сами испытывают облегчение, когда видят, что секс вас мало интересует. Да, пожалуй, положение миссис Эпстейн обещает массу преимуществ и никаких неудобств. Всегда лучше быть женой, чем вдовой. Брак был бы вполне подходящим.

Доктор Грепалли не стал вдаваться в тонкости, кто там у них на ком женат. Он листал страницы досье сысского агентства, а потом поднял на посетителей спокойные карие глаза, и у Джой по всему телу пробежала дрожь, не эротическая, разумеется, ведь с этим у нее уже покончено, а просто наполовину испуг, наполовину что-то желудочное. Намек на какие-то возможности, какой-то как бы зов. Впрочем, он, конечно, на всех женщин так глядит.

— Я ценю вашу озабоченность касательно вашей подруги, — проговорил он, — и я знаю, что моя секретарь-ассистентка сестра Доун ее разделяет. Но старые люди — это не какие-то неодушевленные предметы. Они обладают свободной волей, собственными чувствами и правом любить, как и все. Не исключаю даже, что на них распространяется закон, ограждающий их от слежки частных сыщиков. Впрочем, в последнем я не вполне уверен.

— Вот видишь, Джой, — буркнул Джек, — говорил я тебе, что не надо было это затевать.

— Я вынуждена была! — прокричала Джой. — Фелисити — моя лучшая подруга. Она впала в детство. Что будет с ее деньгами?

— Она вправе распорядиться ими по своему желанию, — сказал доктор Грепалли. — И кстати, их не так уж и много. Наши постояльцы часто завещают свои деньги филантропическим учреждениям, а не родным, и очень хорошо поступают, принося пользу стране. Мужчины больше склонны шиковать и растрачивают свои богатства при жизни. А женщины предпочитают подождать, пока придет смерть.

— Или употребить на какие-нибудь свои фантазии, — с горечью перебил его Джек, думая о своих многочисленных подарках Франсине от всего любящего сердца, которые все пошли псам. Неужели она так к нему относилась? А может быть, она раскаивалась в том, что не способна одинаково любить всех божьих тварей, и старалась искупить этот грех.

— Так что, насколько я понимаю, тут никакой проблемы нет, — продолжал доктор Грепалли. — Те, кто сами заработали деньги, щедрее тех, кто получил их от других, а это как раз относится к большинству наших дам. Мужья зарабатывали, а они сидели дома.

— Но если она заключит брак?

— А-а, вот тогда у нас может возникнуть проблема, — сказал доктор Грепалли. — Любое оформленное к этому времени завещательное распоряжение теряет силу. Если она не составит документ заново, вся ее собственность автоматически переходит к новому мужу.

— Необходимо ее остановить! — вопила Джой. — Он мошенник и самозванец, нестарый мужчина преследует старую женщину из-за денег, в докладе это доказано. Вы должны обратиться в полицию!

— Усмиришь-ка немного, Джой, — сказал Джек. — Ни к чему так горячиться. Возможно, здесь вообще смотрят косо на обращение в полицию.

Франсина тоже была такая, припомнил Джек: заберет что-нибудь в голову и уже ничего

другого знать не желает. Правда, помалкивала, а не орала, но думала свое. Вообразила, что он изменяет ей с Джой. Хотя, конечно, ничего подобного, если в прямом смысле слова. Разумеется, он не святой, но пачкать собственное гнездо — никогда. “Так и будет, — один раз шепотом сказала ему Франсина. — Когда-нибудь так и случится. У мужчин нет вкуса”. Воспоминание навело на него тоску.

— Это не я горячусь, это ты умываешь руки, — набросилась на него Джой. Франсина, та бы просто посмотрела искоса. Зато ее сестра, по крайней мере, не прячет своих чувств про запас, чтобы наброситься в удобный момент. Сегодня она выглядит немного странновато. Брильянтовое кольцо поверх трикотажного джемпера, или как это штука называется, водолазка? Ни в какие ворота не лезет. Но зато она хотя бы не держит украшения в сейфе. И не случится такого, что в один прекрасный день он раскроет сейф, а там ничего нет, его подарки проданы, и с ними ушло прошлое, которое в них воплощалось, — испарилось, исчезло, будто и не было. Именно тогда, после этого, он, надо признаться, стал встречаться с Джой и с опозданием в тридцать пять лет задумался о том, что, похоже, он женился не на той сестре. Но было уже поздно.

Доктор Грeпалли снова принялся просматривать доклад.

— Четыре нарушения правил уличного движения за всю жизнь, — заметил он. — По-моему, это не много.

— Зависит от того, — возразила Джой, попросив его говорить громче и заставив трижды повторить, что он сказал, — какие это нарушения: вождение автомашины под воздействием алкоголя или вождение машины в пьяном виде.

— Джой понимает разницу, — пояснил Джек. — Она один раз попала в аварию, и уровень алкоголя у нее был, сколько ни мерили, ровно один и пять. Я, когда переселился в эти места, первым делом заставил ее нанять шофера. А то в округе ни на одной машине уже не осталось бокового зеркала, а вмятины на ее старом “вольво” были такие, что вы бы глазам своим не поверили. Повезло ей, что я сумел его продать.

— Вмятины были, — возразила Джой, — от столкновения с дикими животными в ночные часы.

— Иногда в золотые годы наступает ослабление ночного зрения, — рассеянно заметил доктор Грeпалли. Милые старички только и знают, что препираются. Это следует рассматривать скорее как проявление привычки и привязанности, чем антагонизма. Взрослые дети, слушая разговоры родителей, часто по ошибке думают, что старики ссорятся, а на самом деле они просто посылают друг другу туда и обратно легкие волны общения. — Во всяком случае, уголовного прошлого за ним не числится.

— Он живет под чужими именами, — не отступалась Джой. — Всякий, кто зовется Уильям Джонсон, — обманщик. Это самые распространенные имена во всей Америке.

— Доктор Грeпалли, возможно, не поймет твою логику, Джой, — сказал Джек. — Если оно такое распространенное, значит, его носит очень много людей.

— А разница в возрасте? — кричала Джой. — Это не любовь, а холодный расчет! Он женится на старухах и убивает их, чтобы завладеть деньгами.

Но взгляд доктора Грeпалли упал на фразу в докладе, которая его насторожила.

— Она что, привезла с собой подлинник Утрилло? — спросил он. — Я считал, что это копия.

— Как вы сказали? Эта старая картина, с которой она так носитя? Вполне может быть,

что и подлинная. Он же был владельцем авиакомпании. Не разберешь, чему верить.

— Если так, — сказал доктор Грепалли, — это серьезно усложняет дело со страхованием. Полотно должно храниться в банке, иначе в случае хищения нам могут предъявить иск. Мисс Фелисити не имеет права держать эту картину в наших стенах.

Доктор Грепалли неожиданно сильно расстроился. Его отец Гомер Грепалли коллекционировал живопись. На стенах в его доме висела самая богатая коллекция шизофренического искусства, которая очень угнетала Эллен, мать Джозефа. Она жаловалась, что ей тяжело в окружении болезненных, мрачных образов; на этих полотнах не было ничего светлого и жизнерадостного: все изломанное, нечеловеческое, все в серых и черных тонах, только изредка, если повезет, увидишь охряное пятно, да в самом лучшем случае сверкнет темно-красный мазок. Кому нужно собирать психопатическое искусство? Эллен была убеждена, что Гомер тратит на этих уродов большие деньги специально ей назло, но, как объяснил Гомер Джозефу, у его матери параноидальные наклонности, когда-то она сама лечилась у Гомера.

Маленький Джозеф чуть не с колыбели учился обо всем и обо всех думать только хорошо. Папа у него не зловредный, мама в здравом уме. Художники, представленные на стенах их дома, в такой манере пишут не всегда, а лишь находясь в маниакальном состоянии. В промежутках между черными эпизодами их чувства расцветают, больные, изломанные образы грациозно округляются, вытягиваются, образуя нечто целостное и здоровое. Часто, глядя на узловатые артритные пальцы жителей “Золотой чаши”, распевающих полуполную песню, он воображал, как время для них побежит вспять, скрюченные пальцы распрямятся и раскроются, вновь обретут свободу и изящество.

Телефон у него на столе проиграл мотивчик. Джек узнал песенку Битлов “Когда мне стукнет шестьдесят четыре года...”. Доктор Грепалли извинился и взял трубку. Шестьдесят четыре, ведь это молодость, а когда-то казалось немислимой старостью.

— Звонила внучка мисс Фелисити, англичанка, — сообщил доктор Грепалли. — Она тоже беспокоится за бабушку. Она и еще двое внуков прилетели в Нью-Йорк и завтра на автомобиле приедут сюда.

— Но я полагала, что София — ее единственная ныне живущая родственница! — возмутилась Джой. — Мисс Фелисити просто не способна сказать правду даже по такому очевидному поводу.

— Поразительно, как прямо из ниоткуда являются родственники, когда дело касается наследства, — сказал доктор Грепалли. — Мистер и миссис Эпстейн, спасибо, что посетили нас. Уверяю вас, у нас нет никого, кто замышлял бы обобрать мисс Фелисити. Но я все-таки попробую потолковать с нею кое о чем.

Неприятный разговор с сестрой Доун напугал Фелисити, и она, расстроенная, позвонила Уильяму в “Розмаунт”. Ей хотелось, чтобы он уверил ее, что она не виновата — ведь рано или поздно доктор Бронштейн все равно оказался бы в Западном флигеле; так какая разница, днем раньше, днем позже. Хотелось поверить, что сестра Доун не будет ей пакостить и нечего ее опасаться: она просто тупая, бестактная, противная особа и выполняет свои обязанности так, как она их понимает. И ей, Фелисити, не грозит снова очутиться в страшном монастыре своей юности. “Золотая чаша” — вовсе не тюрьма, где рассудок держит тело в оковах и тело подчиняется, хочешь ты того или нет. Наоборот, с годами все сильнее чувствуешь, что дух заточен в тюрьму тела и рвется на свободу. И совсем не “Золотая чаша” держит тебя взаперти, а твое тело, которое больше не желает бегать, прыгать и скакать по твоей указке. Конечно, окажись она рядом с доктором Бронштейном у психиатра, она могла бы возразить, что раз сильные отрицательные эмоции мешают вспомнить имя президента, то же самое относится и к Косову. Это же не просто точка на карте, которую знает всякий, кто следит за текущими событиями, это страшное место кровопролития и смятения души. Она могла бы объяснить, что причина забывчивости — не стареющий мозг, просто горький опыт молотом заколачивает двери к знанию. Если ты вдруг продаешь бриллианты, а вырученные деньги отправляешь в собачий приют, это не значит, что ты тронулась умом; просто ты разумно заключила, что собаки, презираемые тобой, все-таки лучше людей. Чем меньше ты способен к действиям, тем осмысленнее твои действия становятся. Старый человек, как малый ребенок, просто преспокойно выплевывает пищу, когда она ему не по вкусу. И все дела.

Об этом и еще много о чем хотелось Фелисити поговорить с Уильямом. Редко встречается в жизни человек, который способен тебя понять. Сколько их, этих людей из ее клубного прошлого в Саванне и еще раньше в Лондоне, сколько их пришло и ушло, таких, с кем и словом не перемолвишься. А уж по душам поговорить — и вовсе никогда, так только, какое-нибудь замечание: “Говорят, погода завтра будет получше”, или “Чемберлен прибыл из Мюнхена, мир заключает”, или “Хорошенькое у тебя платьице. Давай-ка его снимем”. Сама она всегда считала, что душа ее гораздо интереснее, чем тело, да и в мужчинах ее тоже больше занимала их душа, чем что-либо иное. Уж конечно больше, чем временное обладание куском вздыбленной плоти, которое они готовы были ей предложить. Если слишком эксплуатируешь тело, пренебрегая всем человеческим, что в тебе есть, интеллект и душа атрофируются, а с ними и чувства — как у проституток. Вот и с лицевыми мышцами так же — слишком долго стараешься не показывать отвращения, и на лице так и застывает гримаса. А добьешься удовольствия — и того хуже: дух отступает, остается одна дребедень. Нет, законченной проституткой она никогда не была, просто девица, с которой можно провести время и которая не откажется, если ей заплатят. Она бы и сама платила, будь у нее деньги, если бы ей раньше уже не заплатили.

Уильям бы ее успокоил, прогнал страхи: это у нее в памяти остались следы тех чувств, которые она испытывала тогда, с Эйнджел: необходимо сделать что-то, неизвестно что, а не то быть беде. Тяжелые сны о чем-то тайном, что от тебя скрывают; надо только найти

лазейку, которая выведет из тьмы, и снова засияет солнечный свет. Хотя и знаешь, что нет никакой лазейки — один только безысходный мрак. Со временем глаза привыкают к нему, вот и все. В сознании доктора Бронстейна происходит то же, что тогда у Эйнджел. Попросту говоря, отклонение от нормы. Некие участки мозга, которые у нормальных людей в нужные моменты оживляются, у Эйнджел оставались погасшими, и, если верить сестре Доун, у доктора Бронстейна тоже. Перестали реагировать. Однако то, что происходило или не происходило с Эйнджел, было, конечно, совсем иное. Спутанное сознание Эйнджел обитало в молодом, сильном, сопротивляющемся теле, то тут, то там вспыхивали огоньки. А у доктора Бронстейна сознание заключено в тело слишком старое, оно уже никому не может причинить вреда. Стоило Фелисити подумать об этом, как знакомое чувство панической беспомощности снова затопило ее и понесло в море, и нет уже сил бороться, даже знай она, что надо делать, даже найдись кто-то, кто открыл бы ей тайну. Любовь обманула. Наверное, ты сама себя обманула. Наверное, ты сама ее оборвала в самом начале. И этот конец — твоих рук дело.

Она позвонила в “Розмаунт”. Ответила Мария. Сказала, что мистер Джонсон уже уехал в казино. “Благодарю вас”, — сказала Фелисити и положила трубку.

В ее прошлом два аборта. Тогда они были запрещены и стоили 200 фунтов или 500 долларов, в зависимости от того, по какую сторону Атлантики ты находишься, и эта цена сохранялась десятилетиями. “Папаша”, если он порядочный человек, доставал для тебя деньги. Все-таки дешевле, чем женитьба. Если же непорядочный, если ты не была в нем уверена или если он, знакомясь с тобой, назвался чужим именем, ты занимаешь деньги, или крадешь, или продаешь себя, пока по тебе еще ничего не заметно, до трех месяцев, когда, как говорят, в плод вселяется душа. А ты никогда не уверена, беременна ли ты на самом деле или нет, пока не пройдет десять недель — тревога тоже вызывает нарушение цикла. Остается всего две недели, а то и меньше, чтобы найти деньги и врача.

Затем три возможности на выбор. Ты выживешь, и тебе все сойдет с рук; ты искалечишь себя и умрешь; ты выживешь, но до тебя доберутся и упекут в тюрьму. 200 фунтов или 500 долларов пойдут псу под хвост. А что ты можешь получить? Твое тело освободится от некоего чуждого новообразования. И на том спасибо. Секс с незнакомым мужчиной может быть замечательным, а дети неизвестно от кого теперь не родятся. Господь Бог изначально сыграл с нами злую шутку, связав секс с деторождением, но потом вмешались люди и разъединили: секс отдельно, дети отдельно, и можно получать удовольствие, не опасаясь последствий. Тут противоречие, неувязка, как заметила однажды София. Удовольствие от секса благоприятствует выживаемости рода — чем меньше отвращение вызывает у женщины секс, тем больше у нее будет детей: правит бал выпущенный на волю ген сексуального голода. В нынешнее время семья по воле женщины неизбежно становится все малочисленнее, если ваш социальный статус требует, чтобы у вас были дети, вы их заводите, если нет, то избавляетесь от них. Кончится тем, что некому будет любить секс. Бег вперед, по выражению Эксона. Для борцов с безнравственностью нет обходных путей. И никуда не деться, если вы фанатик. Род-Айленд — пуританский штат, когда-то здесь властвовала мафия, потом ее извели, затем маятник качнулся в обратную сторону. Увлечение безбрачием пока еще, слава богу, не добралось до Софии в Лондоне. Вот славно

было бы, если бы она родила детей. Да только вряд ли. Когда любишь так, как София любила мать, всем сердцем, не рассуждая, а твою любовь убили, безжалостно растоптали — потому что разве это не убийство, не преступление, когда дочь вынуждают своими руками, в одиночку, вынимать мать из петли? Разве у нее хватит решимости заводить потомство? Любовь ребенка к матери, любовь матери к ребенку... Она не имеет ничего общего с этой, другой любовью, со страстью, которая связывает тебя с мужчиной, когда чужой оказывается не чужим, а, наоборот, очень близким.

Ей хотелось в “Фоксвуд”. А Уильям взял и уехал без нее. Даже не сказал ей, что едет. Хотелось оцепенело сидеть у игорного автомата — мысли накрепко загнаны в подсознание и там хранятся и дозревают... А барабан вращается, и удача то ли улыбнется тебе, то ли нет. Откроет тебе свой замысел, начертает твою судьбу. Что тут плохого? Она любит Уильяма. Везение в любви, везение в игре, везение, удача, счастье.

Так она предполагала. Но к телефону подошла Мария. Уильям иногда забирает ее сына из школы. А может быть, он отец ребенка? Ей это не приходило в голову. По возрасту ведь он годится в деды, даже в прадеды. Мало ли что бывает. В сущности, ей почти ничего не известно об Уильяме, хотя они часами друг с другом разговаривают. Наверное, она просто решила, что теперь ей непременно, обязательно должно повезти — последняя соломинка отчаявшейся женщины, ведь вся ее жизнь — сплошные обманутые надежды. Какой жалкой она, должно быть, всем кажется.

Мария сказала: “мистер Джонсон”. Будь они в близких отношениях, вряд ли она бы так выразилась. Или нет? Фелисити была готова заплакать. Почему Уильям не сказал ей, что собирается в Фоксвуд, ведь он же ей звонил. Разве игра — такой порок, который надо скрывать? Он же признался ей в своем пристрастии, позволил наблюдать за игрой и, кажется, даже рассчитывал на ее одобрение, а теперь вдруг уехал без нее? Не хочет делить с ней свою жизнь, только приоткрыл на один миг? А может, он вообще передумал? Может, она сделала что-то не так? Наверное, он ожидал, что она будет топтаться у него за спиной — следить, волноваться, чтобы удача ему не изменяла. А Фелисити отошла и стала играть самостоятельно. Но разве это настоящая игра? Да на этих двадцатипятицентových автоматах ничего нельзя ни выиграть, ни проиграть. Наверное, для Уильяма Джонсона, завязанного игрока, Фелисити слишком осторожная, слишком пресная.

Вот так же у нее когда-то ушла земля из-под ног, когда обнаружилось, что Бакли бисексуален, что она ему совсем не интересна, ее держат в доме как ширму, в которой он вряд ли и нуждался с тех пор, как все всё узнали. И так же было обидно, когда она догадалась, что он и женился-то на ней, чтобы в его доме появилась Эйнджел, эта прелестная девочка-эльф, бледненькая, с легким тельцем, пугливым взглядом и медно-золотыми, удивительными, изобильной густоты волосами. Слава богу, его восхищение Эйнджел носило эстетический, а не сексуальный характер — ведь его привлекали мальчишки, — но и этого было достаточно, чтобы она стала ощущать себя на вторых ролях. Ревность питается любовной страстью, а Фелисити была нечувствительна к мужской привлекательности Бакли, как и он — к ее женским чарам; ей попросту недоставало безраздельного внимания мужа. Чего не натерпишься, имея дочерей, — тут и соперничество и состязание, но ты хоть иногда должна одержать верх.

А Эйнджел с самого начала была так прелестна, что все взоры устремлялись на нее, а не на мать. Фелисити к этому не привыкла.

Не пойдя она на похороны, не встретила бы Уильяма. Сидела бы у себя в комнате, наслаждаясь тишиной и покоем, безумно скучала, но зато не терзалась бы из-за него обидой и тревогой.

Не пойдя она на похороны, доктор Бронстейн не попал бы в Западный флигель и ее бы не раздирали противоречивые чувства: она должна бы его навестить, но ее пугало то, что представится там ее взору. Возможно, сестра Доун права: она, Фелисити, слишком стара и уже не способна отличить на ощупь мокрое кресло от сухого. Невыносимо думать о таком будущем, а ведь оно — удел каждого. И то, что она влюбилась в Уильяма — пусть они все правы, это нелепо и унижительно, — но зато отвлекает от мыслей о смерти, о физическом и умственном распаде, которые ей предшествуют.

Обиженная и подавленная, Фелисити неподвижно сидела, как всякому, будь он стар или молод, иногда случается сидеть и бессмысленно смотреть перед собой. Но тут за стеклянной дверью в сад послышался шум — это подъехали Джой и Джек. Так, вдруг, появлялся обычно Уильям, но сегодня он не приехал. За стеклом показалось бледное лицо Джой, в розовом облаке блеснули брильянты на трикотаже тренировочного костюма. Тонкие пальцы с неожиданной силой застучали в окно. Сквозь стекло проник ее голос:

— Мисс Фелисити, мисс Фелисити, открой двери.

Рядом с ней показался Джек — приветливая улыбка над мясистым квадратным подбородком обнажила крепкие белые зубы. Фелисити заметила, что он, когда-то дородный мужчина, теперь похудел, шея усохла и совсем не видна, голова словно сидит прямо на плечах.

Люди никогда не оставят в покое, всегда доберутся до тебя, вернее — до твоих денег, подумалось Фелисити. Вот и до доктора Бронстейна уже добрались — приехал его праправнук со своей девушкой, дабы удостовериться, что за прапрадедом хороший уход. Сегодня их, конечно, распирает от самодовольства: вот они какие заботливые, проделали долгий путь, чтобы посмотреть, как тут за стариком ухаживают. А то, что они распоряжаются его деньгами, так это делается с одобрения банка, теперь у них есть имущество, они могут взять ссуду, начать новый бизнес и обеспечить себе такую жизнь, на которую им дает право молодость.

Когда-то Фелисити, юная и нищая, в уплату за ужин пела, а то и танцевала, иной раз и нагишом. И не существовало никого, к кому бы обратиться за помощью. Помнится, когда-то был дом. Прекрасный дом с поваром, горничной. Были и мать и отец. Но ничего этого не стало. Бывает. А еще был сад, и полная луна, и снег, и зимней ночью беседка под снегом... С этого времени она сама строила свою жизнь. Следующим поколениям в их роду была нанесена жестокая травма, и они вынуждены были вести отчаянную борьбу за выживание, пока не появилась на свет София; и тем, видно, завершится эксперимент, устанавливающий предел пристрастию естества к многообразию, которое причиняет людям такие страдания. Например, девочкам с необыкновенно густыми рыжими волосами, чересчур умным и слишком ранимым.

В сущности, Фелисити повезло: главное, что она не превратилась в больную или беспутную старуху, не пристрастилась к спиртному или наркотикам и что печать разочарований не обезобразила ее лицо. Несчастья, выпавшие на ее долю, пришлось на первые двадцать лет ее жизни. Зато потом ей удавалось уклоняться от ударов судьбы, кроме одного, который нанесла ей Эйнджел и который пронзил навывлет ей сердце. А в остальном последние пятьдесят лет она и ела сладко, и спала мягко, не то что многие другие. И одевалась дай бог каждому, а это тоже кое-что да значит.

— Мисс Фелисити, мисс Фелисити, открой двери! Ты что, оглохла?

“Как бы не так”, — подумала Фелисити, поднимаясь, чтобы отпереть стеклянную дверь в сад.

— Господи, а ты все мечтаешь, — сказала Джой. — Уильяма сегодня нет? Да и как ему быть, ведь “мерседес” взяла я.

— Какая ты несносная, Джой, — сказала Фелисити, неожиданно обрадовавшись подруге. — У Уильяма теперь свой автомобиль, но все равно спасибо за “мерседес”. Джек сказал, что мне можно им пользоваться. Я не думала, что тебя это заденет.

— Меня не задело, мисс Фелисити, а просто страшно разозлило. Вы все устроили у меня за спиной. Знали, что я бы не одобрила. Только раз взглянула на этого парня и сразу поняла: он охотится за твоими деньгами.

— Ну-ну, Джой, ты поосторожней, — сказал Джек. — У нас нет доказательств.

— Пусть бы даже и охотился за деньгами, я, может быть, не против. Я, наверно, считала бы, что игра стоит свеч.

Тут она лукавила. И сама слышала, как дрогнул у нее голос, обычно такой звонкий и уверенный. Почему, почему его не было дома, когда она звонила?

— Вот он приберет к рукам твое состояние, ты тогда по-другому запоешь, — не унималась Джой. — И драться будет, и оскорблять, чтобы поскорей загнать в могилу. Смерть тебе покажется избавлением. Сколько об этом в газетах пишут.

— Молодые женщины тоже подыскивают себе богатых стариков, — сказал Джек, — все жилы из них вытянут, и пожалуйте на тот свет. А ответственности никакой. Это у них такой бизнес.

— Ну и разговоры! — возмутилась Джой.

— Покойная сестрица-чистоплюйка тебе кланялась, — сказал Джек.

Джой промолчала и по-детски надулась.

— Но только ты крикливее, — добавил Джек в заключение. Потом повернулся к Фелисити: — Надо мне познакомиться с этим вашим Уильямом. Посмотреть, что за птица.

Фелисити чуть было не сказала, что и сама мало что о нем знает, кроме того, что он ее подвел, уехал без нее в казино, и что он умалчивает о своем прошлом; но удержалась. Если Джой услышит о “Фоксвуде”, крику конца не будет. Фелисити усадила гостей и приготовила кофе. Она не стала звать прислугу, опасаясь, чтобы на зов не явилась Доун.

— Мне без кофеина, — распорядилась Джой.

— А я лично пью настоящий, — сказал Джек.

— Потому-то у тебя и нрав дурной, — ввернула Джой.

— Да что с вами? — удивилась Фелисити. Раньше ей не приходилось слышать между

ними подобных перебранок. — Наверное, это призрак Франсины, — поддразнила их Фелисити, но они не поняли шутки.

— Я очень любил Франсину, — сказал Джек.

— А я ее терпеть не могла, — буркнула Джой, и они оба примолкли.

В этом пререкании словно вышло на поверхность что-то скрытое в их отношениях.

Тут в дверь и вправду постучалась сестра Доун и вошла, не дожидаясь приглашения. Она была в белом больничном одеянии. Туфли она переменяла на тапочки, а под белой тканью угадывался черный корсет. Халат,стиранный-перестиранный, хоть и сверкал белизной, но ткань истонченная, почти прозрачная.

— Опять посетители! — сказала она. — Желательно, чтобы вы попросили их входить не через садовую дверь, а через главный вход и приемный покой, чтобы их могли зарегистрировать. Я, конечно, знаю мистера и миссис Эпстейн, но входить через садовую дверь не полагается. Вокруг так много хулиганья. Тут ведь Род-Айленд, а не что-нибудь.

— Коннектикут гораздо лучше, — кивнула Джой. — Стиль жизни шикарнее. Я же тебе говорила.

— А рынок подержанных автомобилей богаче в Род-Айленде, — возразил Джек.

— Это меня беспокоит больше всего, — насмешливым тоном сказала Джой.

— Если вы, мисс Фелисити, не можете соблюдать эти простые предосторожности, — продолжала сестра Доун, отмечая все попытки прервать ее разглагольствования, — видимо, придется переселить вас этажом выше, чтобы не подвергать опасности остальных постояльцев. Вы, разумеется, можете выступить в роли Рапунцель, но ваш принц, боюсь, не сумеет воспользоваться вашими косами вместо веревки. У вас тут очень славная комната и чудесный вид из окна, право, очень жаль было бы с ней расстаться. Завтра прилетает из Лондона ваша внучка, такая разумная молодая особа. Если не возражаете, мы обсудим с ней этот вопрос. Кстати, доктор Греспалли поговорит с ней о картине.

— О какой картине? — не сразу поняла Фелисити. — Вы имеете в виду полотно Утрилло?

— Если она в самом деле настолько ценная, как я слышала, при таких небольших размерах похитить ее не составит труда. И это возвращает нас к вопросу о предосторожностях.

Сестра Доун вынула из кармана пачку проспектов, помахала ими у всех присутствующих на виду и положила на полированный столик у двери.

— Может быть, они вас интересуют, мисс Фелисити. Я смотрю, сегодня мистер Джонсон не приехал? Напрасно ждали? Ну что ж, помнится, это дело обычное в мире неразделенной любви. Думаю, доктор Греспалли с ним переговорил. Мне это знакомо. Сегодня поклонник, а завтра его и след простыл.

И она удалилась, оставив Джой и Джека в совершенном недоумении. Джек взял несколько проспектов. Они были напечатаны Ассоциацией по борьбе с азартными играми, и в них предлагался бесплатный курс лечения игромании.

“Будьте бдительны, — говорилось там. — В умеренном виде азартные игры, конечно, развлекают миллионы людей и создают множество рабочих мест. В Америке ценят и любят азартные игры — это целая индустрия с оборотом в 35 млрд долларов и большим будущим. Но азартные игры могут стать настоящим бедствием для тех, кто неумеренно им предается. Как и всякая мания, патологическое пристрастие к азартным играм ведет ко лжи, воровству,

разорению, пренебрежению работой и служебными обязанностями и даже самоубийству. Если вы или кто-то из ваших друзей и знакомых принадлежит к числу этих несчастных, обратитесь в службу спасения Ассоциации. Мы предлагаем бесплатное лечение. Мы готовы вам помочь”.

Ну и так далее.

Тут и там, в рамке в виде розового сердца, мелькала фраза: “Берите от жизни всё”.

— С чего эта женщина вдруг принесла сюда проспекты? — спросил Джек.

— Понятия не имею, — ответила Фелисити. Это была ложь, не стоило ей так говорить.

Но она почувствовала, что ослабела и надломилась, как бывает, когда в памяти всплывают прежние неудачи, ошибки, разочарования и несбывшиеся надежды. На какое-то время она утратила уверенность в себе. Не хотелось слушать, как будет орать Джой, когда узнает, что Уильям игрок. Но такая ложь может привести к утрате друга.

Внезапно за стеклянной дверью показался Уильям; фигура четко обрисована падающим сзади светом — новый костюм, шляпа удачливого игрока, глаза сияют, на губах торжествующая улыбка. Новенький красный сверкающий “сааб” припаркован на самом виду. Победитель, а не проигравший. И к Фелисити вернулась уверенность:

— Уильям — игрок, — объявила она. — А сестра Доун — мерзкая сука. Входи, Уильям.

С Джой ты уже знаком, а это Джек, ее муж.

— Муж покойной сестры, — хором сказали оба.

— Прошу прощения, — сказала Фелисити. — Все время вылетает из головы.

Гай и Лорна оказались никудышными попутчиками. Они удивили меня, когда в последнюю минуту объявили, что полетят вместе со мной в Род-Айленд. В пятницу Гай дозвонился в нашу монтажную, убедил меня взять трубку, так как речь-де идет о Фелисити и дело срочное. В результате я не только сбилась с мысли, но еще стоило мне встать, как Гарри проскользнул на мое место и завладел кнопками — он весь день искал случая. Мужчин хлебом не корми, только дай чем-нибудь поуправлять. Конечно, никаких особых монтажных ляпов он не совершит, я в этом не сомневалась. Но все равно такое чувство, будто подруга взяла у тебя на время твой автомобиль и потом он уже как-то плохо тебя слушается.

Сев на мое место, Гарри подольстился ко мне: “Какой теплый стул, очень приятно!” Эти слова пришились мне по душе. Значит, я для него не просто девица, с которой он спит, и не просто сослуживица, а и то и другое вместе. Я для него девушка, с которой он и спит и работает. Обе роли переплетаются, сливаются в одну. Холли с недавних пор как-то стусевалась. А может быть, просто из-за расстояния в тридевять земель и тридевять морей, она сделалась в моих воспоминаниях бесцветной, мертвенно-бледной тенью. Или, может быть, Гарри просто не показывает мне ее посланий. Вот последняя новость, которую я от него услышала пару недель назад. Он сказал, что она задумала искусственное осеменение с помощью донора, то есть использовать чью-то чужую яйцеклетку — сперма Гарри у нее хранится под рукой в замороженном виде (фу, какая мерзость!) — и матку напрокат, и все это надо собрать вместе; но Гарри думает, что ее на это не станет. Она гораздо сильнее сейчас озабочена, объяснил Гарри, тем, чтобы получить большую роль в каком-то научно-фантастическом фильме со спецэффектами; там все будут ходить только в меняющих цвет простынях и больше ни в чем, и Холли надо подобрать себе дублершу на ответственные эпизоды, а именно на вид со спины, так как ее собственную спину постановщики находят чересчур мускулистой.

— Выходит, она похожа на Шварценеггера? — съязвила я.

— Скорее на Деми Мур, — отрезал он, чем сразу поставил меня на место.

Видимо, в Голливуде самый распространенный способ удержать любовника — это подмешать его гены своему ребенку, когда надумашь родить. Что из этого получится? Кто знает? Эксперимент этот — последнее слово генетической технологии, разработанной в Лос-Анджелесе. Сочинить человека, как сочиняют рассказ. Холли становилась все более призрачной, нереальной, но ведь и кино — это тоже не реальность, а Гарри — киношник. Он только подражает реальности, и получается очень даже неплохо. Если этот энергичный жизнелюб, сплошной тестостерон, в действительности — просто персонаж из рисованного фильма, изображающий знаменитого голливудского режиссера, который разгулялся на воле в Лондоне, значит, меня одурачили. Мне известно, какие успехи сделаны в последнее время в технике мультипликации, однако Гарри все-таки поражает своей неповторимостью. Пусть у него сказочно широкие, квадратные плечи, но один из его верхних резцов белее другого и черты лица на редкость подвижные, зрителям на удивление. Пусть Холли — героиня одного из новых, напичканных спецэффектами голливудских фильмов, но я уяснила одно: чем дольше Гарри не возвращается туда, тем более настоящим и менее виртуальным он

становится. Что до меня, то в последнее время моя одержимость киноискусством поколебалась. Предложи мне на выбор — кино или скучный обед в Туикнеме с Гаем и Лорной, я, как ни странно, выбрала бы обед. Вот и теперь я покидаю Гарри и лечу к бабушке. Добро бы она заболела, а то ведь влюбилась и того гляди замуж выскочит.

Гай звонил, только чтобы объявить: они с Лорной вдруг надумали навестить бабушку Фелисити, давно пора. Без меня им будет трудно до нее добраться, поэтому нельзя ли нам лететь вместе? Я начала бормотать, что-де будут трудности с паспортами и билетами. У нас на студии, только если ты важная птица, можно в пятницу вечером вдруг заявить, что в субботу тебе надо лететь на край света. Я-то сама легка на подъем, но есть люди, я знаю, для которых всякое путешествие — подвиг. Что ни говори, пересечь земной шар — не в автобусе проехаться. Лодыжки отекают, и одновременно начинается какой-то психоз: в воздухе летают разные небывалые вирусы, биологические ритмы организма нарушаются, ничего толком ни сообразить, ни запомнить не можешь. Потом-то, со временем, приучаешься смотреть на все сквозь пальцы, ведь не думаешь про то, что плавает в воде, когда идешь в муниципальный бассейн, а там столько всякой заразы.

Но от Гая не так-то просто отвертеться. Он сказал, что можно ведь поручить все это кому-нибудь из транспортных агентов нашей студии, я же сама говорила, что они могут горы свернуть. Мне пришлось согласиться. К тому же у моих братца с сестрицей паспорта были в порядке. Они каждый год проводят отпуск в Испании, в Барселоне — они же мне об этом говорили, как я могла забыть? Хотя это естественно, ведь в отпуск ездят все. Может быть, у Лорны когда-то был в Испании приятель, с которым она переписывалась? Нехорошо забывать. Я позвонила в наше транспортное агентство, и они изловчились и достали два дополнительных билета бизнес-класса по цене эконом-класса. Но лететь всем троим пришлось не в Бостон, а в Нью-Йорк. Одна я, конечно, всегда летаю эконом-классом. Так что все в порядке.

Но не тут-то было. Когда самолет взлетел, Лорна и Гай в порыве альтруизма настояли на том, чтобы договориться со стюардом и перевести сидящую рядом со мной пару миниатюрных японцев-молодоженов на другие места, притом в бизнес-класс. Таким образом мои родственнички пересели ко мне. Этот выдающийся поступок, как поняла я, был продиктован не столько заботой обо мне, сколько незнанием самолетных правил. Голубчики подняли подлокотники кресел, еле втиснули на сиденья свои объемистые телеса, и я оказалась прижатой к окну. Место рядом со мной занимал Гай; по-моему, он испытывал запретное удовольствие от того, что сидит так близко ко мне, да еще и прижимается. Наплевать, подумала я, все-таки родственник. Но при воспоминании о его деде Антоне и о бедной Фелисити, чьи красно-золотистые прерафаэлитские волосы я унаследовала, и о том, что там произошло, по рассказу Люси, меня от него оттолкнуло. Хотя, конечно, все то зло — дело давнее и, как несправедливо нажитое богатство, прожито или пущено на ветер следующими поколениями. Бог с ним со всем.

У меня был заказан номер люкс в “Уиндем-отеле” на 68-й улице, так что мы сможем ночь отдохнуть, перед тем как ехать в Род-Айленд. Я позвонила в “Золотую чашу” и сообщила, что прибываю завтра и со мной будут еще внук и внучка Фелисити. Кроме того, я

позвонила Джой и оставила сообщение у нее на автоответчике: вдруг Чарли сможет приехать за нами в Нью-Йорк. Не хотелось вот так сразу обрушиться на голову Фелисити всей компанией, не дав ей времени опомниться и встретить новоявленных родичей во всеоружии. Нельзя так вдруг ставить ее перед фактом. Хотя, с другой стороны, это, конечно, не могло быть для нее совершенной неожиданностью. Гай и Лорна, как и я в свое время, проделали долгий путь, чтобы повидаться с престарелой родственницей, — неужели же она их не примет? Примет, конечно. В конце концов, Фелисити скорее склонна благожелательно относиться к людям, чем чуждаться их; и она всегда была учтива. Уверена, встреча пройдет хорошо.

Но полет, как я уже сказала, получился не из приятных. Мне следовало этого ожидать. Перед отправлением я бросила монеты, и выпала гексаграмма номер три “Начальная трудность”. Никаких подвижных линий (яо), все судьбы легли сразу и бесповоротно. “Трудности вначале приводят к высшему успеху. Ваше положение упрочится. Далее — благоприятная картина”. В “И-цзин” описывается как “Чжунь”. Она состоит из символов Воды. Верхний символ означает погружение в опасность, нижний — пробивающееся изнутри движение, пробуждение.

Из хаоса творит порядок
Благородный человек.

Иными словами, в конце все сложится удачно, но дорога предстоит ужасная. Так и вышло. Как только родственнички устроились — на это у них ушло добрых полчаса, — Лорна принялась нажимать на кнопку вызова, и когда явился стюард, она засыпала его дурацкими вопросами: например, как откинуть спинку сиденья, — могла бы у меня спросить, но ей, по-видимому, хотелось, чтобы люди чувствовали, за что жалованье получают, — а потом еще потребовала, чтобы стюард направил на нее трубку подачи воздуха, хотя сама легко могла бы до нее дотянуться или попросить Гая. Затем велела принести стакан воды, а когда ей сказали, чтобы сама себе налила, она надулась. Когда Лорна наконец уgomонилась — а я все это безобразие снисходительно приписала нервам, — наступил черед Гая. Сначала он пожаловался, что у него не работают наушники, и принялся возиться в поисках штепселя — Господи, всем телом на меня навалился, — и в конце концов потребовал, чтобы их заменили. Потом начал громко выражать неудовольствие качеством звука. Потом возмущался, почему ему не дали бесплатный экземпляр журнала. И вообще, почему откидной столик Лорны такой шаткий, можно ошпариться, ну и так далее. Дошло даже до того, что они надумали позвать обратно японскую пару, а самим усесться впереди, где, как они выяснили, лучше воздух; но я их отговорила: слишком много будет для всех беспокойства. От неловкости я не знала, куда деваться. Сделать вид, будто я не имею к ним отношения, было невозможно, они постоянно громкими, раздраженными голосами ко мне обращались. И так на протяжении всего рейса.

Девять в начале, согласно “И-цзин”, означает:

Колебание и препятствие.
Надо не отступать.
Неплохо обзавестись помощниками.

Бывалые путешественники знают: не стоит волноваться из-за того, что происходит; не следует обращать внимания на неудобства, выражать протесты — только попусту потратишь время и нервы. Надо двигаться в потоке; войдя в аэропорт, тотчас выключите сознание и включите его снова не ранее, чем прибудете на место назначения и пройдете паспортный контроль и таможеню. Гай и Лорна поступали вопреки этим правилам. Такие скандалисты, а ведь дома производили впечатление сдержанных и благовоспитанных. Может, дома тень их матери, Алисон, гнетущим облаком висит над ними. Может, она больше, чем казалось, походила на свою тетку Лоис и тоже была деспотичной матерью. Странно, однако, Лорна и Гай стали нравиться мне гораздо больше после этих антиобщественных выходок, хотя я и поживалась от стыда за них.

Не стоит жить в доме твоего детства, оттуда нужно уходить как можно раньше и радоваться, когда родовой ли замок, загородный ли домишко, навеивающие одни и те же чувства — вот моя электрическая железная дорога, вот наша старая орешина и эти незабываемые синие холмы, все прошло, ничего не осталось, — все продано с торгов. Многие из моих друзей скорбели, когда с ними происходило такое. Конечно, мне легко говорить, ведь у меня никогда не было настоящего дома, из которого мне следовало уйти. В конце концов, оказалось, что я живу поблизости от того места, где была зачата моя мать, в Сохо, за углом, если идти по Мерд-стрит, которая там чуть шире, чем переулок между Уорддор-стрит и Дин-стрит, в самом центре киношного Лондона. Должна заметить, что это просто случайное совпадение — к моим корням оно меня ничуть не приблизило.

Накануне отъезда в Нью-Йорк я попросила Уэнди из “Аардварка”, не сможет ли она разыскать что-нибудь о моем деде с материнской стороны, исполнителе фолка.

— Расскажите побольше, что о нем известно, — попросила она.

— Он был слабохарактерный, растяпа, не смог удержать мою бабу, и она укатила в Америку; и допустил, чтобы она отцом его ребенка назвала другого мужчину. — “Это бывает”, прочла я во взгляде Уэнди. — А наавтра после Дня Победы, на следующую же ночь, у него не хватило силы воли не ввязаться в уличную драку, и в результате он был убит. Наавтра после Дня Победы на европейском фронте, — уточнила я. — Война с японцами еще шла.

— Это уже кое-что, — сказала Уэнди. — По крайней мере, в газетах, может быть, что-то сообщали.

Я пообещала, что, когда увижусь с Фелисити, попытаюсь выведать подробности. Пока знаю только то, что мне рассказала Эйнджел, но на эти сведения вряд ли можно положиться. Если Фелисити наконец счастлива в любви, она, наверное, более откровенно поведает о своей жизни и прежних временах. Она никогда не была по-настоящему счастлива с Эксоном — покорна, благонаравна, будто и не она. Вероятно, это цена, которую платят за спокойный, удобный брак. Господь меня от него упаси.

Моя собственная слабохарактерность ведь откуда-то взялась, может, как раз от этого безымянного деда? Почему я всего лишь монтажер, а не режиссер? Почему я — это я, ведь могла бы быть Астрой Барнс? Может, мне надо было пройти курс психоанализа, чтобы обрести уверенность в себе? Правда, я очень хороший монтажер, а она очень плохой режиссер, но, может быть, я просто не стремилась достичь большего. Если бы я поставила перед собой такую цель, принялась бы разрабатывать мышцы, я, наверно, могла бы даже стать кинозвездой, как эта мускулистая Холли. Я и собой недурна, и волосы у меня получше, чем у нее, и спина моя не требует дублерши. Впрочем, все это ерунда. Я обыкновенная женщина, и у меня неплохая наружность, а в Холли, кроме красивой внешности, есть еще нечто особенное, за что ей прощаются и глупость, и вероломство, и эгоцентризм. В отличие от нас, кинозвезды, поощряемые телевидением, радио, прессой, без конца себя рекламируют, и едва ли их стоит винить за то, что они искренне считают себя интересными личностями. Они попадают на удочку, забывая, что кто-то на них наживается. А моя беда в том, что я отнюдь не дурочка и мне трудно обманываться на свой счет. Кинозвезды из меня не выйдут.

Я совсем не похожа на своего отца; он-то свято верил всем, кто льстил его самолюбию. Верил, что он великий художник, что муза покровительствует ему, и ему остается только класть краски на холст, и он прослышет великим художником. Мама тоже в это верила, и они оба ошибочно считали, что в этом вопросе она сохраняет здравый смысл. Руфус был человек восторженный и простодушный. Отучившись два семестра в Кембервилльской школе искусств, он перессорился с преподавателями: разве, вопрошал он, Ван Гог нуждался в наставнике? В итоге Руфус женился на беспризорной американке, которая слонялась по улицам, то есть на моей матери, чтобы окончательно утвердить свою принадлежность к

богеме и еще более отдалиться от своих родителей-канадцев. Европа — это центр всех искусств, здесь царит утонченный артистизм, недоступный остальному миру. Лондон шестидесятых годов манил к себе артистическую молодежь со всех концов света. И тонул в пучине ЛСД — яда, смертельного для клеток мозга.

У меня на стенах висят две работы отца; он тяготел к фовизму — завихрениям раскаленно-оранжевого и красного. Гарри, например, эти картины нравятся. Когда мой отец умер от рака легких, бабушка упаковала все оставшиеся от него полотна в деревянные ящики и отправила в хранилище. А что еще прикажете делать с этими произведениями, не то картинами, не то обоями? Среди знакомых отца не имелось таких, у кого было довольно свободного пространства на стенах. Его знакомые курили слишком много марихуаны, и такая роскошь, как свободное пространство, была им не по карману. Родители отказались от него — Европа, наркотики, вседозволенность, живопись, — а потом умерли; они принадлежали к тем супружеским парам, которые так тесно связаны друг с другом, что когда умирает один, другой сразу же следует за ним. Дети таких любящих супругов — сироты, как подметил Толстой. Уж такую шутку сыграла природа с человеком — куда ни кинь, все клин. Слишком ли много любить, слишком ли мало — мир рушится.

После первой отцовской выставки моя мать сожгла на улице часть его картин — она, должно быть, раньше всех столкнулась с главной проблемой: куда их девать? Хотя такое исступление даже для нее было чрезмерным. Ведь Руфусу устроили выставку в галерее — уж, кажется, чего больше, — и его картины неплохо продавались. Может быть, за ним утвердилась бы слава большого художника. Но после такого всеожжения его не рискнули дальше раскручивать. Вместо благодарности — полиция, пожарные и эта сумасшедшая. Конечно, событие получило огласку, и больше уже устраивать Руфусу выставки и продвигать его никто не брался, ведь его жена может отмочить еще что-нибудь похлеще. Она была знаменита на весь город своей красотой и опасными безумствами.

Впоследствии каждый раз, когда Руфус получал от ворот поворот, а получал он его везде — “к сожалению, нам это не подходит”, говорили, пожимая плечами, владельцы картинных галерей, — он с полным основанием обвинял Эйнджел. Несостоявшийся художник с претензией на известность враждует со всем миром; естественно, и семейная жизнь у него тоже не задается. А тут еще явные и все учащающиеся припадки безумия у Эйнджел — она сбрила мне волосы, жили мы с ней в лачуге, сложенной из картонных коробок, ну и так далее. В конце концов отец нашел себе простую, хорошенькую, здоровую девушку-секретаршу, которую звали Анджела; она время от времени давала ему приют в своем сердце и своей постели, и с ней он чувствовал себя нормальным человеком. Не знаю, как потом сложилась ее судьба. Иногда она по необходимости брала меня к себе, готовила в духовке рисовый пудинг и посыпала его мускатным орехом. Она была довольно приятная, как и ее рисовый пудинг, но мы все понимали, что она не в счет. Главной роли она не играла.

После смерти матери я временами жила вместе с Руфусом, но он был не очень заботливым отцом, большую часть времени проводил в мастерской, а на меня поглядывал с опаской: вдруг я пошла в мать и тоже окажусь безумной. Странно, но сама я никогда не боялась сойти с ума. Чувствовала себя нормальной из нормальных: не увлекалась живописью, не курила опиум, не пила спиртного. У меня была своя жизнь, я сдала экзамены, стала заниматься кино. Отец умер спустя всего два месяца после того, как ему поставили

диагноз, и я почувствовала облегчение: в моей жизни кончились все сложности, я осталась одна, да еще где-то там, далеко, Фелисити. Руфус любил мою мать, и теперь он наконец с нею. Поразительно, но за злобой, страстью к разрушению и самоистреблению таилась чувствительная, нежная, любящая душа. В этом смысле я совсем не похожу на нее. Деятельная, практичная по характеру, я терпеть не могу сантиментов. Жизнь меня научила. Вот теперь, понимая, что Фелисити ко мне не прилетит, я пускаюсь в путь навстречу всевозможным сложностям, чтобы провести с ней несколько дней. Я становлюсь храброй.

Начальная трудность. Снова “И-цзин”. Шестерка (то есть два орла и решка) на втором месте означает:

Трудности нагромождаются.
Лошадь распрягают,
Но он не разбойник.
Он хочет свататься,
Когда настанет время.
И дева целомудренна,
Пусть минуют десять лет,
Тогда она даст согласие.

Но Фелисити не может ждать десять лет. Обычные правила, относящиеся к нам всем, гласят, что, согласно “И-цзин”, если вы влюблены, то надо еще посмотреть, как дело обернется. Однако эти правила не подходят ни для преклонных лет, ни для ранней юности. Зато, по крайней мере, “И-цзин” явно выражает вполне положительное мнение о мистере Джонсоне. Он не разбойник.

Трудности нагромождаются! Я совсем не рассчитывала, что за мной увяжутся кузены. Мне нравится летать одной. Нравится, как жизнь замирает в тот миг, когда особенно ею дорожишь. Если бы Эйнджел чаще летала выше туч, может быть, она бы себя не убила — тогда страх смерти был бы ей привычнее.

Случилось так, что Фелисити в тот же день с утра тоже бросила монеты, чтобы погадать на себя по “Книге перемен”. Ей тоже выпала гексаграмма “Начальная трудность”. Простое совпадение, не более того. Гадай по “Книге перемен” хоть пять-шесть раз на день, вероятность попадания в определенную гексаграмму из всех, имеющихся в наличии, ограничена шестьюдесятью четырьмя возможными комбинациями, если бросать по три монеты шесть раз; к звездам это отношения не имеет. Фелисити обрадовалась, узнав, что Уильям Джонсон — не разбойник; она тоже истолковала предсказание буквально. В “И-цзин” эта тема раскрывается так:

“Когда при столкновении с трудностью возникают помехи из постороннего источника, проявите осторожность и не берите на себя обязательств, связанных с оказанной вам помощью, иначе ваша свобода в принятии решений оказывается ограниченной. Если выждать какое-то время, обстоятельства снова сложатся благоприятно. И вы достигнете того, к чему стремились”.

С тех пор как Фелисити когда-то гадала, сделает ли ей Эксон предложение, она не открывала “Книгу перемен”, пока не решила продать “Пассмур” и вырваться в открытый мир. Тихое вдовье существование не требует серьезных решений. После похорон и всех обычных хлопот понимаешь, что теперь тебе осталось только смириться и доживать жизнь в одиночестве. И это неплохо. Приходится привыкнуть к тому, что ты предоставлена самой себе и должна достойно пройти свой путь. Чего еще ждать старушке-вдове?

Времена года чередуются друг друга; иногда приезжает погостить София, но так редко.

Джой, соседка, слышит все хуже и хуже, да еще вздумала обходиться без слухового аппарата. Франсина, ее сестра, умерла, и Джой, обуреваемая то ли горем, то ли облегчением, ужасно расшумелась.

У нее чуть не отняли водительские права: завела привычку, толкнув кого-нибудь при парковке, тут же уезжать, не задерживаясь, даже не оставляя номера своего телефона, — просто из спортивного интереса.

А во влажной глубине сада, на кусте сирени, поселилась стайка голубых синичек с желтыми горлышками и грудками.

Ну, что еще рассказать? Вот шнурки на туфлях завязывать стало труднее, а вылезать из ванны — и подавно, не то что раньше. Но, в общем, такое спокойное существование радовало Фелисити. Жизнь цапнет за шиворот, помотает хорошенько туда-сюда и, не спросясь, куда-нибудь забросит, как торнадо. А тебе хоть бы что, даже лучше, чем было, просто непривычно, да и синяков, конечно, хватает.

Но раны, которые тебе всю жизнь наносили, заживают, и вот ты осталась сама себе хозяйка, но и Уильям с тобой. А как же свобода? Достанет ли у тебя такта, чтобы выйти замуж, жить с ним вместе, понять и принять этого чужого человека как своего? Мой супруг, мой спутник. Объяснить и оправдать такой поступок, заставить других принять и уважать твой выбор. Вон как отнеслась к этому сестра Доун, и Джой с Джеком тоже. Спать с ним в одной постели, стараться не храпеть; достичь такого состояния, когда не отделяешь себя от него, и соответственно себя вести: вроде бы выговариваешь ему, а на самом деле порицаешь себя — поток сознания под видом беседы. Каково в свои-то семьдесят три снова к этому

привыкать? Ради чего? Ради секса, которым она теперь дорожила скорее как символом уважения, а не источником ошеломляющего физического наслаждения? Пока то да се, она и не заметила, а он уже перестал быть всепоглощающей потребностью. В этом отношении Фелисити двигалась в ногу со временем. В наши дни те, кто так уж нуждаются в сексе, ходят к врачам лечиться от этой зависимости. Снова маятник качнулся, и качнулся слишком далеко: сексуальное наслаждение, за право на которое боролись раньше женщины, считая его символом свободы, победой над буржуазным угнетением, теперь не так уж высоко и ценится. Женщины не очень стремятся получать сексуальное удовлетворение, какое получают мужчины, скорее, наоборот, мужчины стараются уподобляться женщинам: вместо грубой силы и откровенного вожделения — чувствительность и нежное внимание. Тем более с возрастом у мужчин выбор становится меньше. Уильям не сразу завоевал ее доверие, на первых порах он нервничал. И только постепенно к нему вернулась уверенность в себе. Однако он тоже заразился духом времени; не ждал удовольствия для себя, но старался доставить удовольствие ей.

Дружеское общение? Конечно. Уверенность в будущем? Чего нет, того нет. Играя в кости, можно выиграть, а можно и проиграть. Если она будет уверена, что он тратит свои деньги, а не ее, о чем ей тревожиться? Совершенно не о чем.

Она понимала, что последняя линия, которую она получила, действительно все меняла: три орла, которые означали ян, могли бы только обернуться в инь (это была бессмыслица, полная бессмыслица). Теперь картина того, что должно прийти, неизбежно обращается в двух орлов и решку. Шестерка в начале. Еще не прочтя, она уже знала, что это не к добру.

Лошадь распрягают.
Текут кровавые слезы.

Да, ничего хорошего. Хуже некуда. Она перешла к гексаграмме, на которую указывали меняющиеся линии. Номер восемь. “Держитесь вместе”. Это лучше. Гораздо лучше.

Держитесь вместе, это принесет удачу.
Снова вопрошайте оракула.
Свойственны ли вам возвышенность духа, постоянство и упорство?
Те, кто колеблется, мало-помалу объединяются.
Того, кто пришел слишком поздно, ждет неудача.

Вот ведь в чем беда: читаешь “Книгу перемен” и веришь тому, чему ты хочешь поверить, а остальным пренебрегаешь. Конечно, можно подождать, посмотреть, что будет дальше, и снова открыть “Книгу перемен” и посмотреть, сбылось ли предсказание. К чему такая спешка? Боже мой, да потому что ей уже семьдесят три, и так мало времени осталось.

Она еще раз бросила монеты, выпала гексаграмма номер четыре “Юношеское безрассудство”.

Юный глупец стремится ко мне.
По первому гаданью — извещу.
Господи, что за чепуха.

Если вы летите трансатлантическим рейсом на “конкорде”, то проходить пограничный и таможенный контроль одно удовольствие; к тому же пассажиры бизнес-класса проходят первыми. Если же вы пассажир эконом-класса, как Гай, Лорна и я, и сидите в хвосте самолета, то в зале прибытия вы окажетесь в гуще пассажиров предыдущего рейса и, уж конечно, из страны, население которой решило поголовно хлынуть в Америку. А иммиграционные службы не торопятся. Как нарочно, перед нами прибыл самолет “Пакистанских авиалиний”, и нам пришлось дожидаться в этом огромном зале почти три часа. Где-то в море голов мелькнула японская пара — они прошли регистрацию всего за пятнадцать минут. Лорна принялась громогласно выражать беспокойство: не подцепить бы тут какую-нибудь инфекцию. Гай злился и нервничал. Я, по обыкновению, покорно и молча на шаг-другой передвигала тележку с вещами по лабиринту прочерченных дорожек, которые то приближают тебя к вожделенной Америке, то уводят вдвое дальше против прежнего, и ты снова оказываешься там, откуда вошел. Воображаешь, что ты у цели, — как бы не так! Я чувствовала неловкость перед Лорной и Гаем за всю эту канитель, хотя на самом-то деле это им должно было быть неловко передо мной. Я же с самого начала хотела лететь в Бостон, а из-за них пришлось все перекраивать. Но я ни словом об этом не обмолвилась.

Гай стал кипятиться, как это свойственно англичанам.

— Что за безобразие! Послушайте, приятель, разве так встречают гостей своей страны? — набросился он на одного из чернокожих пограничников, выразил ему свое негодование и заявил, что в Хитроу ничего такого не бывает. Тут я вмешалась и громко возразила, что в Хитроу бывает и похуже, если ты, себе на беду, окажешься из какой-нибудь малой страны, а потом извинилась за Гая, чего, конечно, не следовало делать. Сказала, что мы перенесли длинный, тяжелый перелет и очень устали.

— А мы, думаете, не устали, леди? — Пограничник возвел глаза к небу и удалился. Но потом я увидела, как он что-то говорит дежурному в будке. Впрочем, возможно, речь шла вовсе не о нас.

— Впредь не суйся куда тебя не просят, — огрызнулся Гай.

— Не стоит хамить погранслужбам, — сказала я.

— Не ругайтесь! — осадил нас Лорна. — Нам всем надо набраться терпения.

Когда наконец мы, пиная перед собой чемоданы, достигли желтой линии, Гай через нее сразу переступил, и маленькая девушка-испанка, утопающая в синей униформе с золотыми пуговицами и красным поясом, вежливо предложила ему вернуться на место. Гай отбросил ее руку, преграждающую ему путь, и прорычал:

— Как вы смеете ко мне прикасаться!

До этой минуты я и сама не понимала, какая же я робкая и законопослушная и как ненавижу всякую истерику. Глаза у Гая сделались темными, ненавидящими и напомнили мне глаза моей матери в припадке ярости, хотя раньше я не замечала в нем никакого семейного сходства. Видимо, у всех душевнобольных бывает такое выражение глаз, а Гай, конечно, был сейчас совсем не в своем уме. На некоторых перелет так действует.

Когда Гай подошел к офицеру иммиграционной службы и протянул ему паспорт, они

обменялись несколькими словами, которых мы не расслышали. Однако офицер вызвал охранника, и Гая, несмотря на сопротивление, куда-то увели. Нас с Лорной к нему не пустили, вначале нам пришлось пройти паспортный контроль и таможенный досмотр. Потом нас увели и обыскали. Я слышала, как в соседнем помещении Лорна требует, чтобы вызвали консула Великобритании. Таможенники, конечно, ничего не нашли, они явно и не рассчитывали ничего найти. Просто нас наказали. Сразу, как только мне позволили, я позвонила в транспортное агентство нашей студии, и они прислали какую-то Линду, чтобы нас вызволить. Ей удалось убедить чиновников, и Гая выпустили, хотя добиться этого оказалось нелегко, о чем она сочла нужным нас уведомить. “Они здесь не слишком приветливы. Ваш приятель сильно рисковал, — сказала Линда. — Мы рады вам помочь, но впредь, пожалуйста, постарайтесь, чтобы ваши друзья не нарушали порядка. Они ведь не служат, как вы, на киностудии”. Конечно, ей было досадно: суббота, утро — самое время ехать за покупками, так нет — надо мчаться в аэропорт Кеннеди. Линда была тоненькая, хрупкая — нью-йоркский тип американок: стройные ноги, копна густых блестящих волос, худое приятное лицо. Она, видимо, считала, что такие хлопоты не входят в ее обязанности, и, наверно, была права.

Глаза бы мои не видели эту Уэнди из “Аардварка”, а также Алисон, Люси и Гая с Лорной. Гая знакомство с каталажкой слегка усмирило, впрочем, не особенно. Он весь кипел от бешенства, сидя на заднем сиденье желтого такси, увозившего нас в город. По его словам, его схватили и уволокли в полицию и даже на какое-то время сковали наручниками. Что это за страна такая? Я поинтересовалась, что же он такого наговорил, чем так разозлил пограничников.

— А ты на чьей стороне? — прошипел он. — На их или на моей? Этот подонок спросил, какова цель моего приезда сюда. Ну, я и ввернул им, что-де хочу свергнуть правительство и закупить наркотики. Неужели они начисто лишены чувства юмора? Поневоле заплачешь кровавыми слезами.

— Слушай, — сказала я, — есть много стран, где тебя за такое поставили бы к стенке.

А Лорна вздумала ворчать, что автомобиль все время подбрасывает и что шофер совсем не говорит по-английски. Увидев силуэты Манхэттена, вставшие на горизонте, она даже не ахнула, как большинство приезжих. Я была разочарована. Мне хотелось, чтобы она испытала шок, — все-таки утешение.

Они оба так утомились, что даже не стали жаловаться на неудобства “Уиндема”. Зато утром отыгрались: матрас, видите ли, слишком мягок, обстановка убогая, лифта не дожدهшься, он всего один. Это специально задумано, объяснила я, чтобы англичане чувствовали себя как дома, ведь в Хемсли большая часть приезжих — англичане. Американцы никогда такого не потерпят. Когда Лорна сказала “матрас” в единственном числе, хотя в их комнате две кровати, мне пришло в голову, что они, видно, спали в одной постели. Правда, это только предположение. И даже если они спали вместе, то, может быть, это по детской привычке, как братец с сестричкой, вот и все. Во всяком случае, мне до этого нет никакого дела. Просто злюсь на них и готова заподозрить любую пакость. Я вышла в гастроном, купила кофе, булочки со сметаной и копченого лосося. В ответ Лорна только буркнула, что не для того так далеко заехала, чтобы пить из бумажных стаканчиков. Может, в Америке это принято, но ее не устраивает. Забрасывать бомбами ни в чем не повинных

детей в далеких странах, якобы защищая их права и свободы, — только на это американцы и способны. Ну, ясно, подумала я, братец с сестричкой состоят в незаконной связи. И сомневаться нечего. Гай молчал. Я спросила у Лорны, что с ним. Не выношу, когда мужики дуются.

— Он так жестоко вчера пострадал, — сказала она. — Бедняга. А ты его совсем расстроила — встала на сторону пограничных служб.

Детские игры в оловянных солдатиков, подумалось мне.

Но тут из Лондона позвонил Гарри с известием, что соскучился по мне. “Привет, малышка”, — сказал он, а я даже не поморщилась от такого обращения, как это обычно бывало. Почему мужчинам так нравится думать, что мы милые беспомощные создания, и почему женщины с этим мирятся? Но мне было приятно слышать его хриплый голос. Наверное, он и Холли тоже позвонил: “Привет, малышка, как наш беби?” Хотя навряд ли.

Положив трубку, я улыбнулась Лорне и сказала:

— Это мой близкий друг.

— Видно, стоящий парень — ты так и расцвела от счастья, — сказала Лорна, и я почувствовала, что все-таки я ее люблю. Конечно же, у них с Гаем ничего такого нет. Просто они оба плохо переносят далекие переезды.

Когда с террасы, раздвинув портьеры, вошел Уильям и темные углы залил ясный дневной свет, Джек и Джой простились и поспешили уйти, как это свойственно людям, которые неожиданно столкнулись с кем-то, кого они в его отсутствие поливали грязью. Хотя Джек, вызывая по мобильному телефону Чарли, даже изобразил улыбку. Впрочем, он ведь и не поносил Уильяма, как Джой, а, наоборот, слегка за него заступался.

— Я не знал, что у тебя гости, — с легким укором сказал Уильям после их ухода. — Ты меня не предупредила.

— Это неожиданные гости, — сердито ответила Фелисити; она была рада приходу Уильяма, но все-таки он причинил ей боль. — А я по-прежнему независимое лицо. Мы пока еще не поженились.

— Значит, поженимся? — уточнил он.

Фелисити не ответила. Она стояла, упрямо понурившись, как когда-то в детстве, и смотрела себе под ноги. У нее кружилась голова. На ногах у нее были теплые ботинки с коричневыми шнурками. Почему-то она завязала их двойным бантом, и совершенно напрасно, достаточно было и одинарного, шнурки были не скользкие, а плоские и шершавые, как носили когда-то, не то что теперешние, узкие и круглые.

Если она сейчас поднимет глаза, то увидит другой дом, другую страну, другой мир: беленые стены, высокий потолок, квадратную комнату, обставленную коричневой мебелью, и большую липу, прильнувшую снаружи к зарешеченному окну. В летние месяцы липа капала липким желтым соком на тротуар под окном и на шляпы всякого, кто ни остановится перед входной дверью. Слышно, как тарыхтит проезжающая мимо телега и как стучат лошадиные копыта. Сколько ей тогда было? Четыре года?

— Не куксись, Фел, — говорит мама. — Не из-за чего тут кукситься.

Фелисити боится поднять глаза: тогда она увидит лицо матери. Какое оно было? Фелисити не знает, не помнит даже, чтобы когда-то знала. Мы так быстро все забываем. А фотографий вообще не было, Лоис их сожгла. Она все уничтожила, даже маленький розовый шифоновый шарфик, сохранивший мамино тепло и запах, он остался по недосмотру в глубине гардероба в прихожей и валялся там, а потом однажды его уже там не оказалось. Фелисити как-то спросила у Лоис, какой из себя была ее мать, и Лоис ответила: “Теперь от нее небось уже остался один голый череп. Тощие черви внутрь заползают, а обратно вылазят жирные. Куда же тощие делись? Отъелись”. После этого она больше не спрашивала.

— Что такое с мисс Фелисити? — слышит она мужской голос. Это голос папы.

— Не может завязать шнурки, — отвечает мама, тогда еще живая, еще со своим обычным, прежним лицом. — И не дает мне показать ей. Она думает, что сумеет сама.

— Каждого человека приходится учить, как завязывать шнурки, Фел, — говорит папа. — И нечего тут колдовать. — Он говорит со смехом, в голосе его сила и доброта. Тогда она верила ему, а маме — не так безоговорочно. Но сейчас на нее накатывает спазм гнева такой силы, что перехватывает дыхание. Откуда он взялся?

Уильям берет ее за локоть, усаживает. Она вытянула ноги и смотрит на свои ботинки. Старомодные плоские коричневые шнурки, завязанные двойным бантом. Папа ее учил, а

мама стояла рядом и смотрела. Правый конец над левым, затягиваешь; захватываешь шнурок указательным и большим пальцем, перекидываешь петлей, берешь сверху, потом вниз, вытягиваешь. Все.

— Отец тогда уже встречался с Лоис, — сказала она Уильяму. — Наверняка. Это было перед самой маминой смертью. А через неделю или две Лоис уже распорядилась в доме как хозяйка.

— Это ты о прошлом, — сказал Вильям. — А больше ничего? Время от времени прошлое нас настигает, но только если у нас хватает духу. Я тебе помогу. Рассказывай дальше.

Но Фелисити больше уже не находила слов. Она была либо старухой, либо малым ребенком, и никакого промежутка.

— Ты сказал, что возьмешь меня сегодня в “Фоксвуд”, — только сказала она. — Я позвонила, а подошла Мария. Я думаю, это была Мария. Что я знаю о твоей жизни? Много ли ты мне рассказываешь? Она сказала, что ты уже уехал, без меня.

— Ай-яй-яй, мы не уверены в себе. — Он покачал головой. — Мне надо было еще кое-куда заехать, перед тем как свернуть сюда. Перестань дуться.

— А куда тебе надо было? — Она уже снова была ребенком, капризным, но твердо знающим, что, как бы плохо он себя ни вел, небо на землю не упадет. Один раз когда-то она вела себя плохо, и оно обрушилось, но то было тогда, а то теперь. Когда-то она обещала брату своей мачехи, что будет с ним ласковой, если он увезет ее в Сидней, но ведь она, конечно, не знала, что на самом деле означает — “быть ласковой”. Она была ребенком. Тогда четырнадцатилетние девочки были детьми. Но и это не совсем правда: что-то она все же понимала, просто потому что была живой, даже очень живой. Понимала, почему отец предпочел маме Лоис, и это было особенно гадко с его стороны, и он это знал, но ему было все равно, все было принесено в жертву мужскому желанию. В жертву Лоис, жестокой сладострастнице.

Тогда была зима, и липа стояла без листьев, прижимая к окну голые сучья, точно пальцы скелета, норовящие тебя достать, ухватить и обречь судьбе воистину страшнее смерти: ты не умрешь, но будешь жить в постоянном зле и страхе. От этой судьбы ты всю жизнь старалась убежать, спасаясь за океаны и континенты, пристраиваясь к другим людям и отрываясь от них, потому что настигала опасность, слышался за спиной бег адских псов; потому что, раз вступив в стовор со злом, ты теперь уже никогда их не отгонишь. Задержишься слишком надолго на одном месте — и уже слышишь позади их жаркое дыханье, пыхтенье, чувствуешь смрад. Она услышала и почуяла все это однажды в “Пассмуре”: страшные звери, должно быть, годами описывали вокруг нее круги, прежде чем дали ей почувствовать свое присутствие. И вот явились за ней. Она попыталась растолковать это врачу в больнице, но он сказал, что тут всего лишь небольшое сенсорное нарушение, вызванное микроинсультом; оно скоро пройдет. Поэтому-то она все распродала и уехала из “Пассмура” сюда, где живут добрые, поющие люди, которые стараются, чтобы все было так, как надо. Псы ада не доберутся до нее здесь. Им требуется безмолвие и одиночество.

Старые люди лучше молодых понимают, что мир сотворен из добра и зла, как ни пересчитывай на деньги, секс и удачу. Беда только в том, что у стариков нет слов, нет языка,

не сохранилось памяти; то, что поражает душу, в конце концов поражает и тело. Старые люди смотрят на мир подслеповатыми глазами, которыми они слишком долго смотрели на голую правду; они плохо слышат, наслушавшись за жизнь всяческой лжи, и спины у них сгорбились под тяжестью больной совести. И острый ум их оставил, как доктора Бронштейна. Старость сама по себе — зло, и от нее нет спасения. А молодость сострадает старости, потому что если слишком много знаешь, твое знание считают безумием. Но как же быть? Как иначе выразить то, что стало тебе понятно под конец? Только твердя: “Берегись, берегись, льются кровавые слезы”?

— Я был у знакомого знатока живописи, расспрашивал его насчет Утрилло. Устраивает это тебя? — сказал Уильям. Но Фелисити почти не слушала. — Он уже на покое и живет у Наррагансетского пирса, но в рынке живописи разбирается неплохо.

— Я знаю, кого мне напоминает сестра Доун, — говорила между тем Фелисити, не обращая внимания на его слова. — Мою мачеху Лоис. Надо же было снова встретиться с нею после стольких лет.

Она улыбнулась Уильяму и постаралась сосредоточиться на настоящей минуте и на том, что вокруг. На полосатых розовых обоях, довольно милых, но тускловатых; и на деревьях за окнами, уже украсившихся первыми набухшими почками, и на еле ощутимом придыхании весны в воздухе. Жизнь — это одновременно и обновление, и в то же время распад. Это надо всегда помнить.

— Я сегодня немного расстроилась. Подумала, что ты от меня отвернулся и уехал без меня. От этого полезли в голову всякие глупые мысли о прошлом, такие давние воспоминания, что никто этого уже не помнит, кроме меня.

— Ты мне расскажешь в свое время, — сказал Уильям. — Это разговоры про женитьбу тебя разволновали. Меня тоже. Я подумал, может, поехать показать тебе родительский дом по пути в “Фоксвуд”. Он стоит в лесу.

— Если он в лесу, — сразу забеспокоилась она, — мне надо переобуться.

— Но у тебя такие изящные ботинки, — возразил он. — Со шнуровкой. Ты в них была тогда, на похоронах. Когда я в первый раз тебя увидел. Стою, смотрю вниз, в могилу, и вдруг мне на глаза попали такие ботиночки. Совсем не по погоде и не к случаю. Я подумал, что вот, перед лицом смерти кто-то полон заботами жизни. Поднял глаза и увидел тебя.

— Шнурки были завязаны двойным бантом? Как сейчас?

Но он этого не мог помнить. Папа ей сказал: “На всякий случай, для полной уверенности, можно завязать еще раз, получится двойной бантик”. Для полной уверенности. В чем же ее отец мог быть полностью уверен? Он женился на чудовище из семейства чудовищ: сестра знала способы, как завлечь мужчину и доставить ему удовольствие, — нескромные способы в те скромные времена, когда секс прятался в темноте и служил целям деторождения, а рот пускали в дело только шлюхи; и брат, для которого забавой было обмануть и растлить девочку, обучить развратным приемам, а потом, беременную, бросить на произвол судьбы. Возможно, родная мать смотрела на все это с небес и печалилась, но что и отец там рядом с мамой, в это девочке не верилось. Раз уж завел себе другую жену, от тебя ждать нечего. Ему остается только подглядывать из преисподней вместе с Лоис.

А рядом с кем из своих многочисленных партнеров, мужей и любовников, из дорогих и близких окажется она, с кем встретится после смерти, как учат спиритуалисты? Неужели все

там соберутся? Если ты несколько раз выходила замуж, кому из твоих мужей достанется после смерти законное место рядом с тобой? Если с Эксоном, то можно будет глядеть сюда сверху вниз, но все-таки это не для нее. А если с Уильямом, придется задирать голову кверху. Гулякам, грешникам, игрокам место в аду. И прелюбодеям с прелюбодейками. То есть ему и ей. Это вернее. А может быть, ее пристроят к Софии, она заслужила Софию в уплату за Эйнджел. Мужчины приходят и уходят, а родня остается.

Идя с Уильямом через сад, Фелисити, обутая в туфли на низком каблуке и без шнурков, спросила:

— Почему ты вдруг заинтересовался картиной Утрилло? И сестра Доун тоже что-то насчет нее говорила. Что в ней такого особенного?

— Дело в цене, — ответил он. — Неразумно, чтобы собственность в три миллиона долларов висела на стене нижнего этажа безо всякой охраны. Об этом могут пойти слухи. Ты тут одна. Я о тебе беспокоюсь.

— Так дорого? — поразились Фелисити. — Я и не представляла себе. Молодец Бакли. По крайней мере, умел выбрать картину. Но тебе не о чем беспокоиться. У меня над кроватью имеется кнопка вызова. В “Золотой чаше” это предусматривается контрактом. Да и кто в здешних местах способен отличить подлинного Утрилло от дешевой копии? Разве что пустит слух твой отставной специалист по живописи, проживающий у этого пирса, как его там.

Она уже опять в форме и сейчас, а не в прошлом, и все хорошо и будет еще лучше, она любит Уильяма Джонсона и выйдет за него замуж. Но пока еще не скажет ему об этом.

Только поздно вечером, уже в постели, Фелисити задумалась над тем, откуда сестре Доун известно, что картина у нее на стене — подлинник? Она как-то сказала это Джой, но та пропустила ее слова мимо ушей. Почему у нее постоянное чувство, будто люди вокруг замышляют против нее недоброе? Возраст или реальность, что больше на нее влияет?

Если станет известно, что у тебя навязчивые идеи, тебя, как доктора Бронштейна, в конце концов отправят в Западный флигель. Из того, что, по-твоему, против тебя плетется заговор, вовсе не следует, что заговора не существует.

Уильям повез ее не в “Фоксвуд”, а к дому, который назывался “Пасхендале” и стоял среди лесов к югу от Хопкингтона, близ границы между Коннектикутом и Род-Айлендом. У третьего поворота съехали со 195-го шоссе, а потом еще долго колесили по дорогам, просекам и тропам то под гору, то в гору, углубляясь в лесные заросли, с каждой милей подступающие все ближе и ближе, покуда листья рододендронов, вместе с молодыми темными побегами лавров, не зацарапали зелеными пальцами по стеклам “сааба” — и вдруг расступились, обнажив открытые просторы холмов и долин.

— Должен признаться, что есть дорога короче, — сказал он. — Зато эта живописнее. Деревья еще не в цвету, но можно любоваться видами. Рано или поздно мы должны были сюда заехать. После “Фоксвуда” это второе место, без которого меня нельзя понять.

— “Пасхендале”! Какое странное имя для дома, — заметила она, не впадая в пафос. — Это битва Первой мировой войны? В память кровавой бойни? Или просто означает, что здесь непроходимая грязь? Тогда я рада, что догадалась переобуться.

Он оглянулся на нее с улыбкой:

— Ты, оказывается, даже слышала про Пасхендале. Наверно, последняя во всей Америке, и мне повезло, что я тебя нашел.

— Ты выбрал меня за возраст. Я это подозревала.

Им почти никто не попадался по дороге. Только промелькнула и отстала одна группа пеших туристов, да промчались мимо несколько велосипедистов, и встретила машина, до отказа набитая шумной молодежью, а больше никого, еще не время для весенних пикников, объяснил Уильям. В одном месте дорога стала ровнее и расширилась, огибая озеро Грин-Фоллиз, и здесь через низкую каменную ограду вдруг выпрыгнул олень, постоял на пути у “сааба”, глядя на них карими глазами, а потом перепрыгнул через камни обратно в лес.

— Я всегда считал это добрым знаком, — сказал Уильям. — Увидишь оленя — значит, игра пойдет удачно.

— Если только раньше не убьешься, — возразила Фелисити. Она чуть было не вывихнула шею, когда Уильям внезапно затормозил. Кто это ей когда-то жаловался, что придется отправить машину на свалку — из-за кустов выпрыгнул олень и угодил прямо на капот? Забыла. Много всякой ерунды забылось. Может быть, на небесах вспомнится. Или, наоборот, забудется?

— Что характерно для оленей, это что они прыгают наудачу, не глядя. Вот и приносят удачу, — сказал он.

Она надеялась, что ехать осталось недолго — у нее затекли ноги, хотелось их выпрямить. А в Уильяме нет почти ничего старческого. Она же старше, может быть, стоит отнестись к этому серьезнее. Но нет, невозможно. Она положила ладонь ему на колено. К ним в “Золотую чашу” каждую неделю приезжает маникюрша, и руки у Фелисити в полном порядке. Когда-то такие белые, нежные, мягкие, теперь они похожи на когти — но когти элегантные. Ей нравились собственные руки и в молодости, и на старости лет. Она вообще сама себе нравилась. И нравился Уильям. Довольная собой и довольная Уильямом, она забыла про свои затекшие колени.

Преодолев густые заросли сосен и берез, гинкго и пекана, падуба и молодых кустов кизила, под которыми темнел черничник и густо лежали плети костяники, узкая дорога, вернее — под конец уже просто тропа, вышла на луговину, обнесенную каменным забором, посредине которой возвышался большой дом, обшитый дранкой, сильно выбеленной на открытых местах непогодой, но там, где одну дощечку прикрывала соседняя, сохранившей следы зеленой краски, так что на расстоянии казалось, что он весь в нежно-зеленых заплатках. Оконные проемы обрамляла вьющаяся растительность. Это было живописное строение, выдавшее на своем веку лучшие времена. Казалось даже, будто от старости оно слегка покосилось.

— Если бы у этого дома были ноги, они бы у него устали, — сказала Фелисити.

— Ему нужны новые, — отозвался Уильям. — Но у меня нет средств. Царь царей Озимандия^[16], страдающий ревматизмом. Все, что осталось от семейного гнезда; три столетия прошли, и вот где очутились Джонсоны из Массачусетса. То есть обедневшая ветвь. “Смотрите на меня, о владыки мира, и оставьте надежду”.

— Шелли, — сказала Фелисити.

— Все-то ты знаешь, — откликнулся он. — Это так согревает душу.

Зато он знал названия всех деревьев и определял их с первого взгляда. В этом было что-то любовное. Вдвоем они объединили интересы и увлечения двух жизней, и хотя старше она, он знал больше.

Они обошли вокруг дома. Он был нежилой, но только с недавних пор. Птицы еще не склевали все орехи в кормушке, подвешенной под нижней веткой каштана на заднем дворе, откуда открывался вид на лесистую долину с озером, а дальше уже прямо угадывалась близость океана. На краю кормушки сидел коричневый дрозд с рыжеватой спинкой и белой, в коричневых разводах грудкой. Он негромко насвистывал, пока вдруг не спохватился, что на него смотрят, расправил крылья и улетел. Его место тут же занял франтоватый серый пересмешник, подхватил ту же песню, просвистел до конца прерванную фиоритуру и тоже улетел; опустевшая кормушка еще какое-то время потихоньку раскачивалась под каштаном. Фелисити подумалось, что это добрый знак — второе рождение, новые возможности, песня, допетая до конца. Шестьдесят четвертая гексаграмма в “Книге перемен”. Она снова представила себе ту страницу:

До самого завершения — успех.

Но если лисичка, уже почти перейдя через ручей,

Намочит в воде хвост,

Дальше ничего не будет.

Иными словами, будь настороже. Цель пока не достигнута. Дело близится к благополучному концу, но все еще может сорваться. Фелисити до сих пор не призналась Уильяму в своем увлечении “Книгой перемен”. Ему это может не понравиться. Он сочтет это ее слабостью, как игра — его слабость. И, глядя один на другого, оба решат: “Это была ошибка. Этот мужчина — или эта женщина — не для меня”. Можно сколько угодно спорить, что “Книга перемен” — порождение конфуцианства, а не суеверия, что сам Карл Густав Юнг написал к ней предисловие, чем придал ей авторитет, но все-таки она может прийтись Уильяму не по вкусу, показаться ему слишком похожей на вульгарное гадание. И еще один парадокс: его собственная вера в силу удачи так сильна, почти религиозна, он может увидеть

в “Книге перемен” слишком близкое подобие своих взглядов, и это ему будет неприятно. Самые непримиримые разногласия возникают между одинаковыми учениями, почти ничем одно от другого не отличающимися. Он бросает кости — она бросает монеты. Может быть, лучше вообще не говорить об этом. Забыть про “Книгу перемен”, пойти в церковь и возблагодарить Бога за свое счастье, а заодно помолиться, чтобы и он бросил играть.

— Для загородного дома он что-то уж очень величествен, — осторожно выразила свою мысль Фелисити. — Если это жилище обедневшей ветви рода, что же тогда случилось с богатой?

Оказалось, что тяжелые времена не обошли и их. Разорившись в начале XX века при обвале текстильной промышленности, они перебрались в Нью-Йорк, занялись банковским делом, потом возвратились в Род-Айленд, настроили себе грандиозных загородных домов под Провиденсом и потеряли все в кризисе 1929 года. Сами дома снес с лица земли ураган 1937 года. Только кузен Уильяма Генри, в сороковые годы переселившийся в Калифорнию и занявшийся там новой, компьютерной технологией, более или менее, можно сказать, преуспел, хотя, дожив до девяноста лет, Биллом Гейтсом так и не стал.

— Выдохся род, я так полагаю, — заключил Уильям.

Ключ у него был при себе. Они вошли в дом. Здесь с пятидесятых годов ничего не изменилось. Фелисити узнала столовую посуду, кастрюли, мебель середины века. Радиоприемник на длинных ножках в коробке из красного дерева. Уйма комнаток с высокими потолками, коридоры с сиреневыми стенами, на полу — выцветшие ковровые дорожки, короткие лестничные пролеты, кончающиеся на неожиданных площадках, и повсюду живописные полотна, висящие или прислоненные к стенам, деревянные скульптуры, бронзовое литье, темные фигуры в человеческий рост, изящные и примитивные, отдаленно человекоподобные, сплетенные торсы и конечности. С задней стороны дома — просторная студия в два этажа высотой, с широкими окнами на север, когда-то наверняка теплая и сухая, но теперь холодная, пропахшая плесенью, — если не принять меры, этот запах, конечно, очень скоро распространится по всему дому. Все аккуратно убрано: кисти в кем-то подливаемом скипидаре, на мольберте — неоконченная картина, словно живописец внезапно, недописав, бросил работу: тусклый пейзаж в мягких серо-зеленых тонах, совпадающий по настроению со всем, что вокруг.

— Мастерская отца, — пояснил Уильям. — Он умер семь лет назад. Дом моего детства.

На всем лежит слой пыли; домом завладели мелкие прожорливые твари; повсюду живут и размножаются пауки.

— Когда у меня будут деньги, — сказал Уильям, — приглашу кого-нибудь все здесь вымыть и вычистить.

Фелисити вспомнился Руфус, муж Эйнджел, и хаос красок в его мастерской — отражение всей его взбалмошной, бестолковой жизни. Художники — люди одержимые, всякий на свой лад, но за всю жизнь она не встретила ни одного, кто бы, напрасно гоняясь за собственным бессмертием, не подпитывался жизненной силой за счет своих детей. Художники проповедуют мораль эстетики, а не политику выживания. Уильям бросает кости; София крутит пленки. Оба принимают мало участия в том, что происходит вокруг; и оба плохо встраиваются в главный энергетический поток жизни. Во всяком случае, после смерти

Руфуса домовладельцы явились с требованием уплатить долг за квартиру и освободить помещение, а вопрос о том, что делать с его полотнами, разрешили очень просто: сожгли все, что обнаружили, тем самым довершив дело, которое когда-то начала Эйнджел. А действительно, что со всем этим делать? Вещи хорошие, на помойку не снесешь; продать — никто не купит: в наши дни создать репутацию умершему художнику невозможно. Картины — деталь интерьера.

— Почему ты не живешь здесь? — спросила Фелисити. — Такой красивый дом.

— Это дом моего отца. Я не могу существовать в его тени. И я не люблю безлюдья. Кроме того, он уже не мой. Теперь он принадлежит Маргарет. Она даже не знает, что у меня есть ключ.

— Хозяйка дома — твоя падчерица?

— Это ее месь, — сказал Уильям.

— Месь за что? — спросила Фелисити. Но он не захотел ответить. Сменил тему и стал рассказывать, что дом сначала назывался летним и был построен в 1919 году, когда отец вернулся после войны из Европы.

— Что он там делал?

— Отказывался воевать с фрицами. Он был квакер, по идейным соображениям не участвовал в боевых действиях, только водил санитарную машину. Его заставили целый год вытаскивать трупы из жидкой грязи под Пасхендале, это такой городишко в Бельгии. Немецкие трупы, канадские, английские; их там много полегло и с той и с другой стороны. У него был выбор: либо это, либо домой — и за решетку.

— Но ведь война была наша, — удивилась Фелисити. — Европейская. Европейское безумие.

Великая Война, как ее называли, война за то, чтобы не было больше войн. Да только ничего не вышло. Вирус, как всегда, на время притих, затаился, погрузился в спячку, а потом снова всплыл, и опять все сначала. Война — это возвратное сумасшествие, вроде маниакально-депрессивного психоза у Эйнджел. Страны все время то готовятся к войне, то приходят в себя после войны. Вот чем все заняты. Сколько Фелисити их пережила, этих войн. Война в Эфиопии, Гражданская война в Испании, Вторая мировая война, Корея, Вьетнам, холодная война ядерного террора, война в Персидском заливе, война в Югославии. И всякий раз одно и то же: всеобщий ажиотаж, угрозы через третьи руки, упоение ложью, самохвальные фанфары. Вирус, конечно, мутировал, стал более опасным. Человеческие жертвы, прежде насчитывавшиеся только среди военных, теперь на девяносто процентов оказываются среди мирного населения. Даст Бог, следующую войну она уже не увидит.

— Да нет, — покачал головой Уильям. — Это была и американская война тоже. Немцы подбивали мексиканцев вторгнуться на территорию Соединенных Штатов. Моего отца призвали. Он был возмущен, что ему помешали заниматься живописью, но когда он возвратился домой, оказалось, что одна половина жителей Род-Айленда, изоляционисты, знать его не желает за то, что принимал участие в непопулярной войне, а другая половина считает его трусливым отказником. Тут он еще больше возмутился, построил летний дом вдали ото всех и назвал его “Пасхендале”, чтобы напоминал ему о бессмысленности войны. А когда спустя пять лет он женился на итало-американской католичке из Провиденса и на свадьбу никто не пришел, он и вовсе обозлился.

— Жить с обозленным отцом, должно быть, нелегко.

— Не на меня он злился, а на белый свет. Отказывался продавать свои картины. Считал,

что нет никого, кто бы их мог оценить. Мать погибла, когда мне было четыре года, и с нею мой брат-близнец. В школу я ходил редко. Понятно, почему мне нравится “Фоксвуд”?

— Шум, огни, публика, — ответила она. — Это лучше, чем тишина, лес, круговорот времен года для таких сирот, как мы. Не говоря про деньги.

— Теперь ты знаешь обо мне все.

С него этого, по-видимому, было довольно.

— Совсем даже нет, — возразила Фелисити. — Я, кажется, знаю почему, но что и как, понятия не имею. Ты скрытный.

— У тебя тоже есть свои секреты.

— Мои — обыкновенные, которые в молодости имеют значение, а теперь уже не важно. Секс, бесстыдство, замужество ради денег, сумасшедшая дочь... Здесь и сейчас это уже к делу не относится.

Здесь и сейчас в странном зеленоватом свете, льющемся из широких окон, единственной осязаемой, постоянной реальностью остались только скульптуры и картины. В сравнении с ними Уильям и Фелисити — всего лишь мгновенные, мимолетные тени. Но этот дом ее принял, сумасшедший старик отнесся к ней вполне доброжелательно. Будь он сейчас жив, он бы, возможно, даже согласился продать ей какую-нибудь из картин. А по большей части в таких домах чувствуешь себя нежеланной гостьей, втирушей: нечего тебе здесь делать, убирайся.

— Я это все понял, — сказал Уильям.

— Отвези меня теперь в “Фоксвуд”, — попросила она. — Бога ради, скорее к игральным автоматам. Не могу больше терпеть прошлое. Только не забудь, что у меня не так-то много времени в запасе.

Но перед тем как уехать, они легли на кровать в комнате, где родился Уильям. Кровать была на железных пружинах, пружины за долгие годы ослабли, матрас в середине продавился, с потолка свисала паутина, а стеганое ватное одеяло было мягким и пыльным. Но им обоим было хорошо в этой кровати и в этом доме и хорошо друг с другом. Он позаботился о том, чтобы она осталась довольна, а она была рада его похвалить. Здесь, в лесах, никто не мог быть им судьей. А женщину секс, если только она не чувствует насилия, ведет к другой крайности: полному доверию.

В мире слишком много людей. Особенно это чувствуешь днем в центре Манхэттена — улицы забиты автомобильными пробками, клаксоны желтых такси надрывно, жалостно воют, высокие здания угрожающе нависают с обеих сторон, словно родители над колыбелью нежеланного младенца. В лондонском Сохо субботними вечерами тоже не лучше — везде толпы “голубых”, и ты ощущаешь себя здесь лишней, неуместной, неповоротливой и стыдишься своего бюста. Именно эти люди в толпе вполне уверены, что в мире и так слишком много народу, зачем же еще размножаться? К чему создавать новые поколения, если, на их взгляд, человечество уже достигло вершин познания? Зачем беспокоиться о завтрашнем дне, если современная политкорректность есть высшее достижение нравственных поисков?

Даже гетеросексуалы, вроде меня, Гая и Лорны, находившиеся в этот весенний уикенд в Нью-Йорке и ожидавшие, когда к отелю “Уиндем” подъедет Чарли и отвезет нас к Фелисити, — даже мы не чувствовали потребности иметь детей. Да, у Гая есть сын, Гай сейчас понемногу борется за право регулярно его навещать, но чувствуется, что ведет он борьбу не от души.

Сначала мы пошли с Гаем в магазин игрушек “ФАО Шварц”. Была суббота. Я влюбилась в пухлого золотистого льва, который, по-моему, мог бы понравиться Красснеру (вот дура, да?), потом мне захотелось истратить двести долларов на думающего и говорящего розово-зеленого робота. Но для кого? Стайка детишек, о которой я мечтала, полагаясь на агентство “Аардварк”, так и не материализовалась, — может, стоит завести хоть одного собственного? Я покорно бесцельно тащила по рядам за Гаем и Лорной. Гай отверг робота, эту удивительную, забавную игрушку, из-за его “без-образной” дороговизны. Он заявил, что собирается истратить не больше десяти долларов. Если он, Гай, проявит подобную щедрость, мальчик будет требовать от него все больше и больше, вернее, не мальчик, а его мамаша, она вообразит, будто его заработок выше, чем он указывает в декларации о доходах, представленной ее адвокатам. Выражение “моя бывшая жена” недавно уступило место слову “мать”. Ей пришлось согласиться на какие-то анализы, прежде чем Гай признал свое отцовство. Он подозревал, что не является биологическим отцом мальчика: ребенок почти совсем на него не похож и в дни встреч капризничает и куксится.

Из-под вращающегося купола магазина “Шварц” непрерывно и завораживающе бубнил голос: “Войди в мой мир, войди в мой мир”. Мне вдруг пришло в голову, что у Фелисити могли быть и другие тайные дети, которых она куда-то рассовала. И еще мне пришло в голову — ведь я набираюсь житейской мудрости, — что раз она решила их спрятать от нас, то, наверное, самое лучшее — оставить их там, где они пребывают. “Войди в мой мир и не скупись”. Нет, с Гаем это не пройдет. В универмаге было полно прекрасно одетых покупателей всех возрастов. А Гай тянул и тянул время и ничего не покупал. Даже Лорна начала раздражаться и громко возмущалась, что окружающие безвкусно одеты, а на вещи в витринах глаза бы ее не глядели. Мне же все казалось чудесным. Но потом я вспомнила, что некоторые эпизоды фильма “Один дома—2” были сняты именно здесь, и он вызвал у меня

тогда такое разочарование по сравнению с первым, что я тоже стала потихоньку злиться. Мамаши урезонируют своих чад сладкими голосами, притворяются, будто никогда из себя не выходят. Папаши горюют, что свидание с детьми окончено. Родители стараются показать, что между ними царит полное согласие, капризные дети скандалят. Посмотрела я на все это и еще раз убедилась: нет, материнство не для меня. Пусть мир игрушечного магазина будет раз и навсегда для меня утрачен. Пусть по шикарным калифорнийским универсамам прохаживается Холли, и Гарри с нею, и этот их неестественный чудо-ребенок тоже. Только пусть Гарри не всплывает все время в моем сознании и не заставляет меня без конца гадать: что он делает сейчас и с кем. С кем! Три часа дня на Пятой авеню, значит, десять часов вечера в Лондоне, уличные страсти разгораются, и в мужских и женских глазах зажигается огонь желания.

Гая убедили купить набор для игры в пинг-понг за двенадцать долларов пятьдесят центов. Когда он наконец решился на это, мы вернулись к “Уиндему”, где нас уже ожидали Чарли и “мерседес”. Джек нас уведомил, что машина в нашем распоряжении, но в “Пассмуре”, к сожалению, идут ремонтные работы, и домик для гостей в “Уиндспите” занят, так что на время визита в “Золотую чашу” нам придется самим где-то устраиваться с жильем. Однако они, разумеется, будут очень рады с нами повидаться.

За несколько месяцев, что я не виделась с Чарли, он превратился в настоящего американца. Лицо раздалось вширь и стало более плоским, блестящие глаза смотрели уже не так настороженно. Теперь он не походил на дикаря-горца, двигался непринужденно и ладно, с грацией атлета. И уже не казалось, что он вот-вот выхватит Калашникова и примется ни с того ни с сего палить в воздух — что и напугало и привлекло к нему Джой при первом знакомстве. Гай рядом с Чарли выглядел карликом. Мы с Лорной это сразу заметили. И Гай — тоже, он сразу проникся к Чарли неприязнью. Он вообще-то нормального мужского сложения, но сейчас казался тщедушным и болезненным. У некоторых мужчин (у Красснера тоже) есть такой дар — рядом с ними другие представители сильного пола совершенно не смотрятся. Зубы Чарли, когда-то обломанные и черные, теперь поражали белизной и ровностью, выдавая отменное здоровье и большую жизненную силу. Гай же считал пустой затеей тратить деньги на зубы, они у него частоколом теснились во рту, кривые и желтые. Кроме того, Гай, как и многие европейцы, склонялся к мнению, что если Бог счел нужным обременить тебя каким-нибудь физическим недостатком, например огромным носом или двойным подбородком, значит, твой моральный долг жить согласно Его воле и не потакать своему стремлению усовершенствоваться. Ведь косметическое зубопротезирование, не говоря уж о пластической хирургии, — это в некотором роде мошенничество. Раз ты родился таким, как ты есть, значит, твой долг обращать к выгоде свои недостатки, а не стремиться к пересдаче козырей.

Лорна глядела на Чарли разинув рот. Я давно заметила, что она была бы очень хорошенькая, если б одевалась нормально и не ходила с кислой миной. Когда лицо у нее розовеет и оживает, вот как сейчас, она смотрится вполне привлекательно. Сделала бы укладку, а то просто вымоет голову в раковине — и все. Прическа могла бы очень ее украсить, а сейчас посмотришь — тоска берет. Одевайся ты не так мешковато, подчеркни, что у тебя отличная фигура, а не только интеллект, и не пришлось бы довольствоваться Гаем. Смогла бы оглядеться вокруг и найти себе любовника. И забыть, что она дочь своей

матери. И вспомнить, что она внучка своей бабушки.

— Привет, Чарли, — сказала я, когда он, словно пушинки, побросал в багажник наши чемоданы. Экие у него показательные, совершенно американские мускулы. Он научился хорошо их демонстрировать.

— Привет, крошка, — ответил он, — как живется-можетя?

— Очень хорошо, — ответила я, — прекрасно.

Это была неправда. Я потеряла душевные силы и ничего не могла с этим поделать.

— Мне тоже, — сказал он, — да, стало быть, вот так-то!

Он, наверное, видел фильм “Отец невесты”, заглянул в тот вымышленный мир, где все говорят “крошка”, и “как живется-можетя?”, и “да, стало быть, вот так-то”, и теперь будет перекраивать свою жизнь, чтобы иллюзия казалась правдой. Мы ведь теперь все постмодернисты.

Мы ехали в Род-Айленд три с половиной часа. Я сидела рядом с Чарли. Лорна и Гай разместились на заднем сиденье и время от времени подремывали. Они все еще не привыкли к разнице во времени. А я знала, как бороться с сонливостью, как совладать с ощущением, что мир то вдруг начинает крениться, карикатурно искажаясь, то становится на место. Голос Чарли порой проникал в мое сознание, потом исчезал. Он уже отделался от смиренной услужливости нелегального иммигранта, столь подходящей для шофера, а вместе с ней и от нежелания разговаривать во время пути. Теперь он гражданин США. Его мать и бабушка, рассказывал он, скоро тоже должны получить гражданство, и его два двоюродных брата тоже, а вот с двумя его женами — он ведь мусульманин, — с Амирой и Эсмой — проблема. Он должен признать одну из них настоящей женой и отказаться от другой, потому что по американским законам можно быть женатым только на одной женщине. Женись хоть сто раз, но по очереди. Но которую выбрать? Он не хотел обижать ни ту, ни другую. От Амиры у него сыновья, а от Эсмы — дочери, так что Эсме он, пожалуй, нужен больше. Но если он не решит этот вопрос в ближайшее время, и жен и детей могут депортировать. А Босния под контролем ООН — не то место, куда хочется возвращаться. Сараево по-прежнему сидит почти без света и отопления. Я сказала, что он мог бы жениться официально на одной, потом быстро с ней развестись и жениться на другой. Все это бумажные игры. Клочок бумаги, как назвал немецкий посол договор о нейтралитете. Это было в 1914 году, когда Германия вторглась в Бельгию, и посол Великобритании стал упрекать немецкого посла в несерьезном отношении к договору. А потом миллионы людей были ввергнуты в бойню и обречены на смерть, психопатический мальчишка Гаврило Принцип — это дело десятое. “За гранью” — так назывался фильм обо всем об этом. Гарри Красснер снял его в 1995 году. Я не монтировала этот фильм, но три раза его смотрела. Это было еще до нашего знакомства.

Чарли сказал, что теперь, когда в доме орудуют рабочие-строители и Джек Эпстейн почти все время проводит в “Уиндспите”, он, Чарли, хочет попросить разрешения переехать со всей семьей в “Пассмур”. Им очень тесно, они втроем спят в одной комнате, в домике для гостей над уиндспитским гаражом, и негде хранить фураж для животных. Пассмурский гараж сейчас забит старыми машинами, которые Джек не в силах выбросить и надеется продать. Но это просто смешно. Рабочие обманывают Джека: сыновья Чарли лучше бы справились со всеми столярными работами. Скоро настанет лето, но пастбище дает мало травы. Землю надо обрабатывать: сначала вспахать и дать ей отдохнуть, а потом удобрить и еще раз вспахать. На все уйдет пара лет. А в этих местах никто и не знает, как надо обращаться с землей. Друза, сестра Эсмы, опять беременна, нет, конечно, не от него, не от Чарли, а от одного американца, который мог бы помочь — уладить дело с ее иммиграционными документами. Друза работает в пансионе для престарелых в Мистике, и один из стариков обработал ее. Чарли-то думал, что среди престарелых она будет в безопасности, так нет же. Американские мужики, будь им хоть сто лет, — просто сексуальные маньяки, им лечиться надо.

Меня пробрала дрожь, и я попросила Чарли включить обогреватель. Он включил, но меня все равно трясло. И я спросила, как называется этот пансион для престарелых.

— “Розмаунт”. Место для Друзы не очень-то завидное, но работа есть работа.

Мне уже хотелось, чтобы он замолчал, но, оставив позади Нью-Хейвен и свернув на 91-е шоссе, он досказал историю до конца. Он иногда подвозил этого старого джентльмена повидаться с моей бабушкой, а иногда и в казино в Фоксвуде. Там работала Друза, потом выяснилось, что она нелегалка, и ее рассчитали. Мистер Джонсон оказал ему любезность — познакомил его с Марией, управляющей в “Розмаунте”, и она взяла Друзу на работу за восемь долларов в час — совсем неплохо, когда документов нет.

— Вы хотите сказать, что друг мисс Фелисити — отец будущего ребенка? — спросила я, сделав над собой усилие. Вообще лучше не задавать вопросов, ответы на которые вас не обрадуют. Никогда не надо спрашивать: “Ты меня любишь больше, чем ее?” — или: “Где ты пропадал прошлой ночью?” Чарли искоса взглянул на меня, и я ощутила, что под ровным американским загаром еще скрывается закаленный непогодой дикарь. Но это продолжалось одно мгновение.

— Всего за пару тысяч долларов, — сказал он небрежным тоном, не отвечая на мой вопрос, — можно добыть Друзе гражданство и без всякой женитьбы. Совестьн впутывать во все это мисс Фелисити, она теперь такая счастливая. Настоящая мисс Дэйзи, подумал я, когда вез ее на похороны.

Ну конечно, мисс Дэйзи. Этот фильм вошел в их сознание, обрел свой культурный ареал, стал образцом для подражания и прочно засел в голове Чарли, и, несомненно, в головах Амиры и Эсмы, и его матери, и двух двоюродных братьев, и даже будущий младенец во чреве Друзы через плаценту уже впитывал в себя эту голливудскую отраву. И может быть, скоро пастбище, сейчас требующее удобрения, запестрит овцами, козами и коровами из мультфильмов. Само собой, в Коннектикуте будет полным полно Бэмби, а вот Дамбо [\[17\]](#) ни одного — слишком суров климат, и Бейбов [\[18\]](#) тоже не встретишь — их изгонит запрет, налагаемый исламом. (Фильмы про них не пользуются успехом на Ближнем Востоке.) В здешних краях живут сплошь персонажи “Покахонтас”, а сам Чарли, рассчитывающий вспахать заброшенное пастбище, уже стал неким новым Дэйви Крокеттом, героем одноименного фильма [\[19\]](#).

Сдвинув шляпу набекрень,
Мчится вдаль красавчик Дэйви —
Ну ни дать ни взять олень...

“Мамочка, — спросила я когда-то у Эйнджел, — разве олени носят шляпы?”

Сегодня утром Гай сказал: “Ну хватит источать кровавые слезы”. “Плакать кровавыми слезами” — ведь это из “Книги перемен”, — вдруг поняла я. Шантаж. Да пусть текут! Пусть источаются! Пусть льются ручьями!

— А что касается отцовства, — заметила я туманно, — необходимо знать правду. Никто ничего не должен скрывать.

Чарли пожал плечами, словно все это не важно. Хороший ход: совесть не позволит ему пропустить мимо ушей мой ответ. И мы свернули на Хартфордской развязке.

На заднем сиденье слегка вскрикнула Лорна. Чарли оглянулся на нее через плечо,

ласково улыбнувшись и сверкнув белизной зубов. Если с точки зрения американского законодательства он официально не женат, то двойное англо-американское гражданство могло бы его вполне устроить. В Англии можно иметь одновременно несколько жен, если тебе это позволяет твоя собственная религия. Он явно мог бы справиться и с тремя законными женами, подумала я. И все они жили бы в Туикнеме и были бы счастливы, возделывая сад и забрасывая сети в Темзу. И эта новая Лорна, возможно, взяла бы к себе свою мать Алисон. Амира и Эсма, судя по всему, повыносливее, чем Лорна. Мне нужен был отдых от кошмарных видений наяву, которые куда страшнее тех, что могут привидеться во сне. И я заснула.

Было четыре часа пополудни, когда Уильям и Фелисити приехали в “Фоксвуд”. Посетителей оказалось немного, пестрые краски словно пожухли, и музыка звучала тихо. Половина столов стояла незанятая. А там, где шла игра, говорили вполголоса, не отпускали шуток — берегли силы. Музыка молчала. Il faut reculer pour mieux sauter^[20]. Слышно было, как энергично шлепают об стол карты. Вращающийся на пьедестале автомобиль заменяли новой моделью. Официантки, разносящие коктейли, освободившись, отдыхали; бюсты у них обвисли, как будто держались только на личном энтузиазме. На глазах у Фелисити одна поставила на пол свой поднос с напитками и, посплюнявив палец, потеряла спустившуюся петлю на колготках, обтягивающих полные ноги; администратор в блейзере с медными пуговицами остановился и сделал ей замечание. Она подняла к нему усталое, бледное лицо, слишком молодое, испуганное. “У нее дома ребенок, — подумала Фелисити. — Она готова на все, лишь бы не потерять работу. Когда-то и я была такая”. От столов не доносился смех, не раздавались возгласы и взвизги. Игральные автоматы негромко, лениво клокотали.

— Это послеобеденная смена, — объяснил ей Уильям. — Приходят те, кто не работает. Им не до шуток. Хочешь — ешь, а нет — ходи голодный, в долг никому не дадут. Крупные игроки собираются после десяти вечера, и тогда будет весело, много смеха и большие выигрыши.

— Или большие проигрыши, — отозвалась Фелисити.

— Об этом даже не думай. Тем более — не говори. Я чувствую, что мне сегодня повезет. Животная интуиция.

— Я не знала, что она может относиться к игре, — с досадой возразила Фелисити. — Я думала, это про коров, которые заранее чуют, когда должна приехать скотовозка.

— И у нас то же самое. Мы знаем многое, чего не видим глазами. Но моя удача еще не прибыла. — Он потянул носом воздух, словно принюхиваясь, не дует ли благоприятный ветер. — Надо подождать немного. Пошли, выпьем кофе.

— Это что же, удача прибывает, как у кормящей матери молоко в груди? Вдруг приливает, и ты это чувствуешь?

— Мне нравится, что ты раздражена, — сказал он. — Значит, ты настроена на здешнюю волну. Сейчас казино замерло в ожидании прилива, вот-вот волна накатит. Даже кофейные автоматы и те затаились. Льют в чашки слабенький кофе. Но потом с этим делом наладится. Не сомневайся.

В кафе к нему подошла какая-то женщина и спросила:

— Можно мне до тебя дотронуться?

Уильям улыбнулся, кивнул, женщина, крашеная блондинка, прикоснулась к лацкану его пиджака пальцами с облупленными лиловыми ногтями и сказала:

— Я так и чувствовала. Оно прыгнуло с тебя на меня. — И объяснила, заметив вопросительный взгляд Фелисити: — У Уильяма сейчас полоса счастья. Он у меня на глазах за пару часов проиграл восемь тысяч, а потом вышел в плюс и выиграл тридцать.

— Неужели? — вежливо переспросила Фелисити.

— Поднимал и поднимал ставки. Вот как надо играть. А у меня, наверно, просто храбрости не хватает.

Она отошла, а Уильям сказал:

— Бедняга Кэтлин. Рожденная проигрывать.

— Я бы не уступила вот так свою удачу, — сказала Фелисити. Она уже повеселела.

Отлив уходит до определенного уровня, а потом вода возвращается. Но Уильям прав: кофе бледный и жидкий.

— Иногда приходится идти на риск, — сказал он. — А знаешь, ты ведь рассуждаешь, как игрок.

— Я, должно быть, всю жизнь играю, — отозвалась она. — Просто сама этого не замечала.

За спиной у них висел плакат “Анонимных игроков” с надписью: “Выигрывающий знает, когда остановиться”.

Фелисити предложила пересесть за соседний стол, раз Уильям намерен ждать, пока накатит его удача. Но он не согласился: раз на плакате написано “выигрывающий”, значит, и тут все будет хорошо. Они остались.

Фелисити сказала:

— Пока мы ждем попутного ветра, может быть, расскажешь, почему с тобой развелась твоя последняя жена? Это что, из-за игры?

— Конечно, — ответил он. — Я не хотел тебе говорить, пока был не уверен в тебе. Некоторые люди не могут спокойно слышать про казино.

— А первые две?

— Они обе умерли. Не повезло. После этого чувствуешь себя так, будто бросаешь вызов року. У первой оказался рак, а вторая вышла, не поглядев, на мостовую. Она была много моложе меня. Шла, крепко задумавшись, возвращалась от доктора. Узнала, что беременна. Если бы я с ней пошел, этого бы не случилось. Но я тогда учительствовал. Мне надо было на работу.

— Самое ужасное в службе, — сказала Фелисити, — это что она мешает жить.

Он пожал ей руку в благодарность за шуточный тон.

— Я обращался за психологической помощью. Знаешь, чем плохи психологи? Они меня ни разу не пытались рассмешить. Если бы меня тогда кто-нибудь рассмешил, я бы скорее пришел в себя. Ты вот меня смешишь. Может, ты меня и от этого отучишь. — Он кивнул в сторону игорных столов. Новый ряд зажженных ламп манил игроков от грошовых автоматов к настоящей игре.

— А я, может быть, не захочу, — ответила Фелисити. — Мне, может, тоже это нравится.

— На самом деле, конечно, это безумие, — сказал Уильям. — Другой мир. Но к нему постепенно привыкаешь. Знакомишься с завсегдатаями. Тут если уж разговаривают, то о существенном. Обсуждают чужие жизни. В особенности в “похоронную” смену, то есть перед рассветом, когда надежды уже совсем не остается. Последний рубеж для пьяниц, наркоманов и отчаявшихся. Я тогда не подхожу к столам. Надо держать себя в руках. И не думать: еще один, последний бросок, последняя карта, последний четвертак в щели — и все станет хорошо. На это уходит немало энергии. Иной раз так вымотаешься, что и удача не мила.

Он щелкнул пальцами проходящей мимо официантке, румяной блондинке с косой вокруг головы, и заказал гамбургер. Время было нетрапезное, но Фелисити заказала и себе тоже. В “Золотой чаше” подали бы неизменный салат и кулебяку с низким содержанием

холестерина.

— Мы говорили о твоих женах, — напомнила Фелисити. — Меня интересует последняя.

— Я в одиночку прожил до пятидесяти и женился на Мерил. Тогда я еще не играл. Привез ее в “Пасхендале”. Ей там нравилось, а Маргарет, ее дочери, — нет. Нечем заняться. Да и я, наверно, тоже соскучился. Поехал сюда и вернулся в долгах, хотя и не бог весть каких больших.

Но Маргарет подучила мать вступить в “Общество защиты жен игроков”, там ее обработали, и скоро она стала закатывать истерики, стоило ему только выйти за порог, не то что вернуться домой на рассвете, какой бы выигрыш ни лежал у него в кармане. Она вообще считала, что выигрыш — это еще хуже, чем проигрыш. В конце концов Маргарет уломала мать подать на развод. И судья присудил отдать “Пасхендале” Мерил и Маргарет. Такое невезение. Родные, сколько их еще оставалось в живых, за утрату дома тоже винили его. А Маргарет предоставила дому, какой он ни на есть, гнить и разваливаться со всем, что в нем, — скульптурами, картинами и прочим.

— И что странно, — продолжал он, — я того судью видел здесь. Кажется, должен бы понимать человек, что здесь долги — вещь временная.

У Уильяма тогда ничего, кроме “Пасхендале”, не было, но судья отдал дом Мерил, “пока он и его не пустил на ветер”, как тот выразился. Мерил перебралась жить в Калифорнию, хозяйкой дома осталась Маргарет, но и она в нем не живет, по ней, пусть он хоть рухнет, ей дела нет, так она сказала Уильяму на похоронах Томми, злобная душонка.

Но со времени похорон он переключился на другую скорость, сказал Уильям Фелисити. Счастье ему улыбается, он полон энергии, надежд и веры в будущее. Теперь прекращает игру вовремя, пока он в выигрыше.

— Да, но завтра ты уже снова здесь, — заметила Фелисити.

— Ты суровая женщина, — сказал он. И вытряс томатный кетчуп на свой гамбургер. На прошлой неделе он сменил тактику игры, похвастался он, сосредоточился, играл с размахом и сорвал крупный выигрыш. Хватило с избытком и погасить задолженность по кредитным картам, и покрыть долг в банке, и еще купить автомобиль.

— Сколько же это? — спросила она.

— Триста тысяч, — ответил он, почти смущаясь. — Ты придаешь мне храбрости. Я, бывало, дрожал, когда росли ставки. На пятистах прямо слеп от страха. На таком уровне деньги движутся быстро. В ту ночь, когда я выиграл пятьсот, у меня в руках было в десять раз больше: пять тысяч. Хочешь отхватить большой куш — не скупись и делай хорошие ставки.

— Неудивительно, что Кэтлин хотела к тебе прикоснуться, — сказала мисс Фелисити, поджав губы. Ее взволновали такие суммы. Одно дело четвертачки в автомате, это только намек на возможности. Чтобы рука не ослабла. А так — пустяки. Настоящая жизнь начинается, когда в игру вступают оранжевые фишки по тысяче долларов. За красными столами минимальная ставка — пятьсот. За спиной игрока, который пускает в игру специальные фишки — по тысяче и выше, — собирается толпа любопытных. Тут-то игра набирает напряжение, пульс учащается, шум нарастает и снова падает, нервы натянуты, как канаты. Жизнь настоящего мужчины. Мало того, если ты будешь держать себя в руках, то и женщина может показать себя настоящим мужчиной. Вот когда подтверждается мнение

доктора Роузблума: давай, давай, шевели усами, кто бы ты ни был, мужчина, или баба, или мышь. Вот что он хотел сказать, блеснув зубами в зеркальном стекле. Время бежит, не трать попусту того, что осталось.

— Тебе бы надо было выкупить назад отцовский дом, — сказала она. — А не транжирить деньги по мелочам.

— Я думал об этом, — отозвался он. — Но долги были такие, которые не терпели отлагательства. Я их заплатил и уничтожил кредитные карточки. У меня их было восемь, выбранных досуха. Отныне расплачиваюсь исключительно наличными и могу не опасаться неприятностей. У меня сейчас при себе сто долларов. Они кончатся — и мы уедем. Зачем мне нужны неприятности? Мне нужна ты. Тебе не придется терпеть все это — проценты, штрафы, сроки, — если дела примут дурной оборот.

— А где мы будем жить, если поженимся? — спросила она. — Мы еще этого не обсуждали. Ты не захочешь жить в “Золотой чаше”, да и сестрица Доун не одобрит. А в “Розмаунт” меня как-то не тянет. Правда, я там внутри не была. Ты меня ни разу не пригласил.

— Снимем что-нибудь тут по соседству. Можно снять недорого отличное жилье. Люди то и дело срываются с места и уезжают, не оставляя адреса. Но раз уж зашла об этом речь, есть еще одна проблема. В “Розмаунте” работает девушка, которая всех уверяет, что я — отец ее ребенка.

И снова Фелисити очутилась где-то в другом месте и в другом времени. “Я бы увез тебя, милая, но девчонка брюхата, как же мне бросить ее?” Чьи это слова? Она не помнит ни имени, ни лица. Ах, ну да, отец Эйнджел, вот кто это был. Он без конца пел ей народные песни.

Ты едешь на ярмарку в Стробери-фейр,
Где смех и песни со всех сторон,
Ты там передай от меня поклон
Той, что раньше была моей милой.

А потом в один прекрасный день они уходят к другой, и больше ты их никогда не увидишь. Хоть и зачатая в любви, пусть и односторонней, Эйнджел росла злая. Наверно, в этом и состоит беда Фелисити: ей так долго в жизни приходилось быть храброй, что было не до злости. Всю злость взяла себе Эйнджел.

— Фелисити, — зовет он, ее последнее пристанище, ее тихая гавань, этот мужчина-игрок. — Ты слышала, что я сказал?

— Да, — отвечает она с горечью.

— Ты не думай ничего такого. Она сумасшедшая. Я до нее пальцем не дотронулся. Но ей хочется, чтобы так было. Я ей сочувствовал, помогал. И работу эту ей нашел. Она нелегальная иммигрантка, но жить как-то надо. Один раз помог развесить выстиранное белье. И она вообразила, будто я — отец. Фелисити, она совсем не в моем вкусе: молодая толстуха с гнилыми зубами и не умеет говорить по-английски. Я люблю женщин, с которыми можно поболтать.

Это ее почти убедило. Во всяком случае, на губах у нее мелькнула улыбка.

— Я и говорю: ни одно доброе дело не остается безнаказанным, — кивнула она.

— Она ходит и повсюду твердит: “Он — папа, он — папа”. Как ее заставишь замолчать? Больше ничего по-английски сказать не умеет. Отчасти это шутка, а отчасти она, похоже, думает так мне польстить. Но есть люди, которые понимают это буквально. И мне уже неудобно. Мария недовольна. И Чарли тоже. Она сестра одной из его жен. Ты знаешь, что у него их две? Он говорит, что это по законам его религии. На прошлой неделе он пригрозил меня избить. Поэтому мне и понадобился собственный автомобиль. И удача ко мне тоже поэтому пришла. Если у человека в чем-то настоящая нужда, Бог пошлет.

— Но ты мог купить не такую дорогую модель. И хватило бы еще на старый дом.

— Мне нужна приличная машина, раз я хочу возить в ней тебя.

— Меня совесть мучить не будет, — сказала Фелисити. — Это твой выбор.

Уильяма ее слова задели.

— Как я сегодня буду выигрывать, когда ты говоришь со мной таким тоном?

— Если дело касается Чарли, с ним можно будет договориться, так что не беспокойся попусту. Мало ли, может быть, она таким способом пытается получить гражданство.

— Об этом я не подумал. Тогда тут есть какой-то смысл.

— А вот что меня беспокоит, это где мы возьмем деньги на сегодняшний вечер, если у тебя нет карточек? Или мы пойдем к автоматам? Зачем тогда все эти разговоры про большую игру, раз все кончится четвертаками?

— Надо знать, когда прекратить игру, — ответил он. — И на четвертаках тоже можно выиграть, это как бы передышка от риска. А потом понемногу снова набирать темп.

— По-моему, лучше выйти за богатого, чем за бедного, — сказала она. — Прости, не обращай внимания.

У Фелисити в сумочке лежали American Express и MasterCard. Сколько она может взять? Она не имела понятия. А настоящий игрок, разумеется, знает такие вещи. Можно не заниматься постоянно сложением и вычитанием, если не хочешь, чтобы обнаружилось что-то неприятное; и не надо то и дело подбивать итоги, чтобы они не нагнали на тебя страху; но свой предел допустимых трат знает каждый. Прости меня, Бог Удачи. Бог, а не богиня, похожая на Музу, покровительницу искусств, изысканную и скучную, как настоящая леди. Сегодня быть настоящей леди — не сулит удачи. Здесь правит Бог Денег, твердый, сверкающий, негибачаемый. Что тобой накоплено, должно быть потрачено. Растрата духа в пустыне позора. Это может быть справедливо для не имеющих работы, для старушек с лиловыми кудельками, для “похоронной” смены в предутренние часы, когда продолжают играть только отчаявшиеся, когда всякая надежда на исходе. Но не для Фелисити. Уже поднимается гул голосов, новый автомобиль на высокой подставке начал вращаться, отражая лучи включенных прожекторов, музыка пульсирует все быстрее, и опять шумно и светло, и валят новые толпы посетителей, озабоченных не выживанием, а удовольствиями, и поднимаются со дна темные волны Эроса. Высшая точка прилива. Бриллиантовые зажимы мужских галстуков, качающиеся серьги, модные костюмы, декольтированные платья. Забегали официантки с коктейлями. Уильям встал, потянулся.

— Я могу тут получить деньги по карте? — спросила Фелисити.

— Я поклялся, что не попрошу у тебя денег, — сказал Уильям.

— Ты и не просил. Я сама предложила.

Пошли к главному кассиру, это оказалась румяная девица с оранжевыми кудряшками,

как у Джой, и на вид чересчур молодая для такой ответственной должности. Фелисити положила перед ней карточку MasterCard.

— Вы можете выдать ей денег по карте? — спросил Уильям.

— Вообще не полагается, — ответила главная кассирша, — поскольку мы ее не знаем.

Но это ваша приятельница, мистер Джонсон? И вы можете за нее поручиться?

— Да, — ответил он. — Конечно — да.

— Десять тысяч, пожалуйста, — сказала Фелисити.

Кассирша демонстративно вздернула брови. Она велела Фелисити позвонить в клиентскую службу MasterCard для подтверждения ее личности, там попросили назвать дату ее рождения и девичью фамилию матери. У них была записана Лоис, Лоис Вассерман, больше ничего Фелисити вспомнить не могла; а может быть, и не знала никогда девичьей фамилии Сильвии, никто ей не говорил. Теперь она повторила: “Вассерман”, и на мгновение в памяти снова всплыло давнее прошлое.

— Можно убежать, — сказала она недоумевающему Уильяму, — но все равно не спрячешься.

Выплата была разрешена. Кассирша аккуратно отсчитала ей деньги в присутствии двух свидетелей.

— Сегодня и мне повезет, — сказала Фелисити Уильяму. — Я знаю. Колесо описывает полный круг. Судьба отбирает, а потом отдает обратно. Надо только не отступать.

Она накупила фишек: четыре оранжевые, десять малиновых, остальные черные. И половину отдала Уильяму.

— Будем соревноваться, — предложила она. — Ставлю тысячу, что выиграю больше тебя.

— Договорились, — со смехом согласился он, ушел и затесался в толпу.

Она думала, что он, может быть, выкажет чуть больше благодарности и не сразу убежит, но он — мужчина, а она — женщина, и соглашения между ними сложны, да и зов игральные столов звучал все настойчивее. Раз уж связалась с игроком, чего еще можно ожидать? Она поменяла свои фишки обратно на деньги, купила десять столбиков монет по двадцать пять центов, остальное опять положила на MasterCard и отправилась к автоматам отвести душу.

Сестра Доун заглянула в Западный флигель — посмотреть, как там приживается доктор Бронстейн. В Западном флигеле, в отличие от Главного корпуса, благоухавшего дорогой мастикой и лавандой, чувствовался стойкий запах дезинфекции и вареных овощей — не приходится отрицать, что здешние палаты, хоть и удобные, розовые, с мягкой мебелью, все-таки больше походят на больничные боксы, чем на гостиничные номера. Каждая палата оснащена кислородным краном, розетками и проводами для включения кардиографа, системами жизнеобеспечения и тому подобным, так что места для книг и сувениров почти не остается. Доктор Грепалли считает, что хотя интеллектуальная и эмоциональная стимуляция до определенного возраста полезна для целей долголетия, однако, когда перейдена некая граница интеллектуальной деградации, лучшее, что можно сделать, чтобы продлить жизнь, — это поддерживать покой и свести к минимуму любые нарушения физического и умственного равновесия. При затрудненном дыхании воздух, которым дышит пациент, обогащается кислородом, при перебоях в сердце и сердцебиениях используются электрические импульсы, постоянный прием транквилизаторов поддерживает состояние дремотного блаженства. Блюда подаются регулярно и лежат на тарелках бледные и сколько возможно пресные: вареная рыба, цветная капуста, картофельное пюре, а на закуску, скажем, запеченные в тесте яблоки. Рецепты берутся из книги “Детское питание для здорового тела и бодрого духа” 1890 года издания, написанной его прадедом доктором Эмилио Грепалли, которую Джозеф после кончины своей матери Эллен нашел среди ее вещей. Именно такой пищей, бесцветной, без приправ и специй, которые могли бы возбудить и разжечь аппетит, кормили в детстве его самого — пищеварительная система должна отдыхать и если не радоваться, то, во всяком случае, не страдать. Наилучший пример — грудное молоко. И коль скоро это справедливо в начале жизни, то в конце тем более. Старость — и вправду второе детство, и лучше принять эту истину, чем сопротивляться. В сущности, очень старые люди только скукой и живы.

В Западном флигеле кровяное давление измеряется дважды в день, и в хрупкие сосуды, которые с трудом выдерживают напор пульсирующей крови, вводятся бета-блокаторы. Когда случается рак — что бывает достаточно редко, поскольку сестра Доун отсеивает тех, у кого имеется генетическая предрасположенность к этому заболеванию, — он, как правило, развивается медленно (это молодых он пожирает так трагически внезапно, безнадежно и быстро), и нет нужды в медицинском вмешательстве, опережающем естественную смерть.

В Западном флигеле большинство обитателей старше девяноста лет. Гостей здесь не жалуют: большинство из них после двух-трех посещений, когда престарелые родственники только тупо смотрят на них спокойным, равнодушным взглядом, сами перестают приезжать и терпеливо ждут, пока пройдут годы, со скрипом раскроются Великие Врата и им в руки наконец попадет та часть имущества, которая останется после того, как в “Золотой чаше” вычтут, сколько пожелают и сколько полагается. В молодости люди провозглашают, что их заботит качество жизни, а не продолжительность; но когда доходит до дела, большинство желает лишь одного: задержаться как можно дольше, и медицинская наука дает им такую возможность. В наши дни никто не может ждать слишком многого. Для общества не полезно, чтобы богатство одного поколения целиком переходило к следующему. Разве не в этом смысл наших налогов на наследство? Иногда бывает, что кто-то что-нибудь завещает и

“Золотой чаше”, но не часто, а так как такое завещание составляется в счастливую пору еще до Западного флигеля, здравый ум завещателя не ставится под сомнение. Кому нужны неприятности, расследование, тем более — суд? Из всех посетителей самыми нежеланными в Западном флигеле являются как раз юристы.

Сестра Доун, к своему величайшему изумлению, застала доктора Бронштейна не в постели, а за столом, и не в халате и шлепанцах, а в джинсах и в рубашке апащ, работающим на своем портативном компьютере.

— Разумно ли это, доктор Бронштейн? — сказала она. — К чему утомлять глаза?

Старые люди — не почтовые пакеты, как она имеет обыкновение повторять в Главном корпусе, их нельзя перекидывать с места на место без их согласия; но после того, как они признаны недееспособными, не следует слишком поощрять их самостоятельность. Закон не позволяет держать их под замком и препятствовать их передвижениям, но, исключительно в их собственных интересах, следует оказывать на них психологическое давление. Доктор Бронштейн, кажется, отключил свою капельницу и встал с кровати. Нет закона, который бы это запрещал, однако это совершенно недопустимо.

— Ваши бедные глаза и без того больные и усталые, — продолжала она. — Помните кружевниц в Брюгге? Как они все слепли оттого, что слишком напрягали зрение?

— Вздор, — отозвался он. — Тогда не было электрического освещения. Впервые в жизни у меня появилось достаточно свободного времени, тишины и покоя и все еще довольно ума, чтобы завершить работу над моей книгой о моральном долге ученого в современном мире.

Сестра Доун весело рассмеялась:

— Современном? А как давно вы не работаете? Лет уже тридцать, наверно?

— Я продолжал следить за публикациями, — возразил доктор Бронштейн.

Но на самом деле он немного растерялся. Неужели и вправду прошло уже столько лет? Годы активной работы помнятся так отчетливо, они так полны событиями и совершенно не потускнели в памяти, кажется, что все это было вчера, как годы учебы в колледже для женщины, которая последние тридцать пять лет прожила домашней хозяйкой.

— Какой славный компьютерчик, — перешла сестра Доун к следующей теме. — Что-то я его раньше не видела. Откуда он у нас взялся?

Теперь, когда распоряжение собственностью передано его праправнуку, доктор Бронштейн утратил право сам выписывать чеки. Но что, если все пациенты в Западном флигеле, еще сохранившие способность разбирать цифры и пользоваться кредитными картами, вздумают делать покупки по электронной почте? Куда же это годится?

— Это мне мисс Фелисити подарила, — ответил доктор Бронштейн. — Она заглядывала сюда ко мне раза два.

— Вот как, — поджала губы сестра Доун. Обитателям Главного корпуса не рекомендовалось заглядывать в Западный флигель. На них это может произвести тяжелое впечатление. — Я думаю, в будущем мисс Фелисити не придется ходить так далеко. В скором времени она тоже переселится к вам, в Западный флигель.

— Мисс Фелисити здесь может не понравиться, — сказал доктор Бронштейн. — Ведь она не пишет книгу.

— Ей, возможно, не придется особенно выбирать, — заявила сестрица Доун. — Принимая во внимание ее последние поступки, ни один суд на свете не признает ее способной самостоятельно принимать здравые решения.

Уходя, она захлопнула за собой дверь и велела дежурному по этажу прикрутить свет у доктора Бронштейна.

Доктор Грепалли направился в “Атлантический люкс” переговорить с мисс Фелисити относительно полотна Утрилло. Надо, чтобы она либо сдала его на хранение в банк и сама платила страховые взносы, либо подарила кому-нибудь из родных, чтобы не пришлось вносить налог на наследство, или же просто продала, а деньги положила в банк. Нельзя допустить, чтобы картина висела на стене якобы как копия, а материальную ответственность несла “Золотая чаша”.

Он постучал в дверь, но, к своему удивлению, не получил ответа. В “Золотой чаше” не принято, чтобы постояльцы покидали свои номера во время тихого часа. Он справился у дежурной при входе, и оказалось, что мисс Фелисити не показывалась в одиннадцать на занятиях “Гармонизацией с помощью звуков”, не выходила к обеду и не заказывала обед в номер.

— Она могла уйти через боковую дверь, — высказала предположение дежурная. — Иногда она так уходит.

— Вы бы заметили автомобиль, верно? — возразил доктор Грепалли.

— Если Чарли парковался за углом, то не видно.

Девушка была новенькая и неважно говорила по-английски. Она встала, подошла к окну и потянулась на цыпочках закрыть фрамугу. Хорошенькая, подумал доктор Грепалли: большие черные глаза на приятно-смуглом цыганском личике, сама высокая, фигуристая, держится самоуверенно, длинные крепкие ноги и белые туфли на высоком каблуке. Удивительно, как это сестра Доун взяла ее на работу, обычно она если и нанимает женский персонал, то каких-нибудь худосочных дурнушек. Новая девушка сказала, что ее зовут Амира. Работает неполный рабочий день. И по собственному почину вызвалась показать документы, дающие право на работу в Соединенных Штатах. Он ответил, что этого не надо, и спросил, где, по ее мнению, может сейчас быть мисс Фелисити.

— В казино со своим дружкой, — ответила Амира.

Доктор Грепалли опять почувствовал себя ребенком в мире, где любой знает больше, чем он, где от него все скрывают и объяснения приходят лишь тогда, когда он меньше всего к ним готов. Ты закрываешь глаза, погружаясь в сон, и именно в это мгновение взрываются семейные ссоры; когда лежишь дома больной корью, из спальни на цыпочках выходят чужие дядьки, совершенно посторонние; вся жизнь сотрясается и переходит на другую скорость, и голова болит сильнее прежнего. Амира положила ладонь доктору на локоть и сжала вполне чувствительно.

— А он очень плохой человек, — сказала Амира. — От него забеременела моя племянница. Вы — добрый и мудрый мужчина. Вы доктор. Мистер директор, моя просьба: велите ему жениться на моей сестре. А то ее отправят обратно домой, и как она тогда будет жить?

Но доктор Грепалли уже раздумал договариваться с Амирой, чтобы она зашла попозже к нему в кабинет, он хотел было дать ей совет насчет английских уроков, но сказал только, что не имеет власти вмешиваться в чьи-либо личные дела, натянуто улыбнулся и вышел.

С директорским ключом он пошел в “Атлантический люкс”. Но ключ вообще не понадобился. Дверь оказалась не заперта — еще одно свидетельство безответственного поведения. Мисс Фелисити по-детски доверчива. Напрасно он возражал сестре Доун: если

предоставить Фелисити поступать как ей заблагорассудится, дело так или иначе обязательно кончится каким-нибудь громким скандалом. Ну, просто не старуха, а пушка на палубе, сорвавшаяся с тросов во время шторма. “Золотая чаша” жива своей репутацией. На самом деле у дежурной при входе, вернее всего, нет никаких разрешительных документов. Но попробуй вычеркнуть ее из платежной ведомости и оставить без жалованья — она как обиженное работодателем лицо может сильно навредить. Она — или ее сестра — тут же побежит звонить с жалобами в местную газету. А тут еще кто-нибудь узнает мисс Фелисити при входе в казино. То-то будет находка для местной прессы. Запестрят газетные заголовки:

Фоксвудский Донжуан

От казино до приюта для престарелых, от двадцати трех до восьмидесяти трех ни одна женщина не может чувствовать себя в безопасности.

Понаедут журналисты. Кто может поручиться, что не разыщут еще какие-нибудь нарушения? Учреждения вроде его “Золотой чаши” всегда страдают от газетчиков в первую голову.

Каким же должен быть ответ? Попросить Фелисити уехать? Плохо для бизнеса. Разойдутся слухи. А кто из стариков, продав дом и землю и перебравшись в интернат для престарелых интеллектуалов, был бы согласен подвергнуться изгнанию ни с того ни с сего, просто по какой-то совершенно неосновательной причине? Из-за того, что им, видите ли, посчастливилось завести роман. И против азартных игр тоже нет закона, а только предубеждение! На них обрушится лавина судебных исков. И если мисс Фелисити действительно попала в лапы бессовестного негодяя, за это тоже спросят с них. Так что же делать? Освидетельствовать ее и оформить документ о недееспособности? Поместить в Западный флигель? Держать под транквилизаторами? Соблазнительно. Но в то же время весьма рискованно. Перевод доктора Бронштейна в Западный флигель был, возможно, преждевременным. Если кто-нибудь пожелает услышать еще чье-то мнение на этот счет, авторитет их консультирующего психиатра может пошатнуться. Лично он, Джозеф, вполне разделяет взгляд сестры Доун. Она смотрит на ситуацию широко и располагает всеми данными, чтобы судить о настроениях и психическом состоянии пациентов, чье спокойствие она стремится поддерживать любой ценой. Иногда нескольких человек приходится отправить в Западный флигель до срока, для того чтобы большинство дольше оставалось на свободе. В некоторых случаях права личности должны отойти на второй план перед благом группы. Родные доктора Бронштейна и сами были рады поскорее его туда переправить, они из тех, кто готовы опередить события, лишь бы потом обойтись без лишних хлопот. А некоторые вообще ценят физический комфорт выше эмоционального и интеллектуального богатства, этот взгляд как раз, к сожалению, торжествует в Западном флигеле.

Нет, если вернуться к разговору о мисс Фелисити, тут решение может быть только одно: разорвать эту связь. Доктор Грeпалли по своему служебному положению находится *in loco parentis*^[21]. Здешние дети, может быть, и старше его в добрых два раза, но все равно с каждым годом их ум становится все более инфантильным. Здравый смысл, как и тело, достигает какой-то высшей точки, а потом постепенно идет на спад. И со старым приходится обращаться так же, как с малым.

Доктор Грeпалли пересек комнату и стал разглядывать картину Утрилло. Он признался

себе, что, узнав ее стоимость, острее чувствует теперь, как она хороша. Сонный французский городок, залитый солнечным светом. Нигде ни одного человека, только каменные домики, и между ними выглядывают купы деревьев. Искусство способно угнетать. Но эта маленькая картина в золотой рамке не смущает покой, не оскорбляет взгляд. Тут, наверно, и секрет ее успеха, ее цены на мировом рынке. Отцовская выставка “Живопись душевнобольных”, устроенная после его кончины, успеха не имела. Из тридцати мрачных полотен были куплены три, да и те — родственниками. Но все-таки едва ли человечество понесет такую уж тяжелую утрату, если это светлое произведение искусства будет лежать в банковском хранилище, а не висеть на стене. Тут он заметил в просторном кресле съежившуюся человеческую фигурку. Это Клара Крофт, специалистка по “Гинденбургу”. Он рад, что помнит ее имя. Не так-то он оторван от своих пациентов, как утверждает сестра Доун.

— Разве вам не полагается сейчас находиться у себя в комнате? — спросил он нарочито ласково, потому что из ее расширенных глазах смотрел испуг и видно было, как на тощей шейке бьется жилка.

— Мисс Фелисити позволяет, — ответила Клара. — Если тут нет ее дружка. Я навещала доктора Роузблума, когда это был его номер. Тут хорошо. Но теперь он умер, а доктор Бронстейн в Западном флигеле, и не с кем словом перемолвиться.

— Можно будет пригласить к вам психотерапевта, — предложил доктор Грепалли. Но она покачала головой.

— Я и сама могу со дня на день очутиться в Западном флигеле, — сказала Клара. — Мне бы надо отправиться на тот свет, да не хватает духу. — И она заговорила о гибели “Гинденбурга”. Но понемногу речь ее замедлилась, прервалась. Взгляд устремился в приоткрытую дверь ванной.

— Там кто-то есть, — проговорила она.

Доктор Грепалли зашел в ванную. Никого.

— Это просто игра света, — сказал он. Но он заметил, что, вопреки его приказу сменить зеркало, в ванной по-прежнему висело старое. В стекле мелькнуло его собственное отражение, довольно непохожее, и он поспешил перевести взгляд. Опять сестра Доун со своей экономией! Кто не тратит деньги, тот и не зарабатывает. Неужели это так трудно понять? Он сердит на сестру Доун. Этот их консультант-психиатр почему-то только и знает, что ей поддакивает. Может, у них тайный сговор против него? Вдруг явится из-за кулис некая Моника Левински мужского пола. Надо впредь не допускать, чтобы сестра Доун принимала участие в беседах с пациентами, назначенными к переводу в Западный флигель. Суд может решить, что ее диагнозы имеют характер личный, а не клинический. И не исключено даже, что ему придется прервать с ней отношения. Подумать только, он избегает и даже просто боится вызвать неудовольствие своей служащей. Ну не смешно ли?

— Причина была не в гелии, а в краске, — между тем рассуждала Клара Крофт. — Там была использована взрывчатая краска. На “R101” алюминиевый порошок пропитывали нитроглицерином — это все равно что порох, — так что, естественно, они взлетели на воздух; а “Граф Цеппелин” загорелся и упал, потому что его красили ацетатом целлюлозы. Потом вообразили, будто проблему решили на “Гинденбурге” с помощью бутирата, он менее горюч и не проводник. Но ошиблись. Бедные, бедные люди! Они бежали, бежали, сколько было духу, но так и не спаслись. Все умерли. Пора и мне к ним. Какое значение имеет все, что в промежутке?

— Мисс Крофт, — окликнул ее доктор Грепалли, — как фамилия президента

Соединенных Штатов?

— Я знала вчера, а сегодня забыла, — ответила Клара. — И вообще, какой скучный вопрос.

И быстро-быстро побежала вон из комнаты на своих спичечных ножках, словно спасаясь от огня; но быстро у нее не получалось. Доктор Грешалли только пожелал ей не налететь прямо на сестру Доун. Это бы ей не простилось.

Мы с Гаем и Лорной приехали в “Золотую чашу” в шестом часу. Весеннее солнце клонилось к горизонту, и римские колонны отбрасывали поперек лужайки длинные элегантные тени. В этом тихом углу уже зацвели рододендроны и лавры — узкие розовые мазки на фоне темно-зеленой восковой листвы. “Золотая чаша” явилась нам во всей своей красе. На Лорну она произвела впечатление.

— Надо признать, — заметила она, — тут гораздо красивее, чем в мамином Туикнеме. Конечно, бабушка Фелисити богаче. Видишь? Колонны из настоящего мрамора.

Гай возразил, что это какой-нибудь декоративный пластик, но Лорна напомнила ему, что здесь Америка и скряжничество не в чести. Эта местность богата метаморфическими каменными породами. Гай, не сдаваясь, заметил, что она богата и сенаторами. Род-Айленд хоть и самый маленький штат, но тоже шлет в Конгресс двух сенаторов. Лорна сказала, что раз они сенаторы, значит, должны быть в Сенате. Чарли смотрел на них из машины и в сравнении с ними казался персонажем цветного трехмерного фильма со стереозвуком Dolby Digital, а они — европейского черно-белого с субтитрами.

В номере у Фелисити в проеме открытой стеклянной двери я увидела за вздувающимися шторами мужской силуэт. Неужели это и есть хитроумный мистер Уильям Джонсон? Но выяснилось, что это доктор Грепалли, а мисс Фелисити блистает отсутствием. Мне даже в голову не пришло, что ее не будет дома. Казалось бы, восемьдесят три — такой возраст, когда можно рассчитывать, что человек более или менее сидит на месте. Но нет.

Доктор Грепалли вышел нам навстречу чуть ли не с распростертыми объятиями. Я представила ему Гаю и Лорну как внуков Фелисити. В подробности вдаваться не стала.

— Какая жалость, — вздохнула Лорна. — Она ведь знала, что мы приедем. Я думала, она сидит и ждет нас. Так же вела себя и наша мать. Я сначала обижалась, но потом выяснилось, что это болезнь Альцгеймера.

— У нас в стране мы этим термином больше не пользуемся, — сказал доктор Грепалли. — У данного заболевания слишком много разновидностей.

— Старческое слабоумие есть старческое слабоумие, — пожал плечами Гай, а доктор Грепалли с бестрепетной улыбкой сообщил, что, по его сведениям, мисс Фелисити уехала в казино со своим другом, но нас он приглашает остаться. Он запишет нас у дежурной при входе, и нам принесут закуску.

Гай вытаращил глаза:

— В казино? Где играют в азартные игры? Старуха на девятом десятке? И вы это допускаете? Мне кажется, у нас в Англии такого не бывает.

Я поморщилась. Гай подошел к картине Утрилло и стал рассматривать ее с такого близкого расстояния, что мне стало страшно, как бы его ядовитое дыхание не отравило краски.

А Джозеф Грепалли мягко заметил, что, насколько ему известно, права человека в обеих странах примерно одинаковы.

— Человека в случае надобности, для его же блага, можно и даже должно посадить под замок, — не отвлекаясь от своего занятия, отозвался Гай. Он достал из кармана лупу и принялся всматриваться в живопись дюйм за дюймом. — В особенности старушек, которые впали в отрочество и водятся невесть с кем. Мне ли не знать, то же самое произошло с моей

родной матерью.

— Вы бы достигли полного взаимопонимания со здешней старшей сестрой, — сказал доктор Грeпалли.

— Надо будет мне с нею познакомиться, — отозвался Гай. — Но, как бы то ни было, моя бабка, с формальной точки зрения, не является гражданкой Соединенных Штатов. Она, кажется, где-то в сороковых годах зарегистрировала брак с американским военнослужащим, но в это время уже была замужем, причем всего несколько месяцев, так что на забывчивость сослаться не может. Я думаю, двоемужество — всюду двоемужество, и у нас и у вас, и все последующие браки рассматриваются как не бывшие. Любопытная юридическая тонкость.

Доктор Грeпалли вежливо кивнул и, не желая вмешиваться, вышел.

— Ах, Гай! — пискнула Лорна. — Ты же обещал молчать, пока я не сообщу Софии.

— Фелисити — наша общая бабушка, — возразил Гай. — И у меня столько же прав наводить справки, сколько у Софии. “Аардварк” ей не принадлежит. И видит Бог, я заплатил Уэнди достаточно.

Но Уэнди как раз принадлежала мне. Это я ставила перед ней вопросы и отматывала тонкую нитку полученной информации, насколько считала уместным, играя с судьбой, как с рыбкой на крючке. А тут вмешался Гай и просто швыряет в воду динамит. Как же это Уэнди так поступила со мною? Разве тут нет конфликта интересов? Хотя, наверно, нет. Во всяком случае, на взгляд Уэнди. Мы — одна семья, что тот внук, что этот. Я могла бы обвинить ее разве что в недостаточном чистосердечии. Но почему она должна все мне выкладывать? Если человек работает, извиваясь и скользя на грани легальности, точно змея на запястье у заклинателя, он всегда будет осторожничать и недоговаривать. Почему же надо ждать, что с тобой он будет вести себя иначе? Просто потому, что ты — это ты?

Я просила Уэнди разузнать подробности о моем деде — гитаристе и певце и передала в ее руки то, что успела о нем узнать. Но денег не заплатила, сказала, что пусть подождет братья за дело до моего возвращения из Штатов. С Гаем и Лорной я тоже поделилась: сведения эти мне достались даром, поэтому ими можно было распорядиться по своему усмотрению. Вот они и распорядились успешнее, чем я. Я, выросшая среди художников и гуманитариев, сразу же непроизвольно отступала, если чувствовала, что речь пойдет о чем-то, чего я не хочу знать. А Гай и Лорна, получившие подготовку в другой профессиональной среде, он — в адвокатской, она — в естественно-научной, интересовались фактами, независимо от того, приятные или неприятные выводы из них следуют.

— Гай всего только велел, чтобы в “Аардварке” просмотрели записи регистрации браков, более или менее совпадающие со временем беременности Фелисити, — немного слишком настойчиво заступилась за брата Лорна. — Он же не знал, что они вылезут с двоемужием.

Гай осторожно потер полотно кончиками пальцев.

— Ну и ну, — проговорил он. — Кто бы мог подумать? Подлинник. Белый период. Ему цена — добрых два миллиона, если правильно выбрать аукциониста.

— Долларов или фунтов? — поинтересовалась я.

— Фунтов стерлингов, — ядовито ответил Гай, — или два с половиной миллиона евро. И абсолютно никакой охраны. Мы вошли в помещение совершенно беспрепятственно. Помоему, наша родственница не в своем уме.

Я совсем не хотела, чтобы внезапно появилась Фелисити и застала у себя незваных гостей, копающихся в ее вещах. Если бы это была только я, куда ни шло, но Гай и Лорна —

совсем другое дело, хотя они, конечно, этого не понимают. Я подошла к двери в сад и позвала Чарли.

Небо уже потемнело. Цветы рододендронов алели на темном бархатном фоне. Выходила луна. По саду перебегали тени. Мне стало страшно. У Чарли в салоне “мерседеса” горел свет — наверно, читает юридический справочник, который возит с собой в бардачке. Человек, который зря не потеряет и минуты.

— Я бы сказал, совсем неплохо для алкоголика, — произнес Гай, отступив на шаг и меряя полотно враждебным взглядом. Такую нежную, лирическую картину. — Хотя, признаюсь, лично я не понимаю, почему их ценят выше, чем почтовые открытки. Хорошо хоть белый период. Они идут дороже. С девятьсот восьмого по девятьсот четырнадцатый. Когда началась война, стал писать разноцветнее. И подумать только, никакой охраны. Просто захотели и зашли. Нет, ее надо посадить под замок.

Я почувствовала, что ненавижу Гая, ненавижу с первой встречи. Откопала его на свою голову. Привезла сюда. Какая же я дура. Голова у меня закружилась, я села, и мне ужасно захотелось, чтобы рядом сидел Гарри Краснер и посматривал на божий свет своим оценивающим, режиссерским взглядом. Я тоже когда-то была такой — когда-то, но не теперь. В голову не приходил ни один фильм со сходным содержанием, и как мне самой с этим разобраться, я не представляла.

Вошел Чарли и преспокойно уселся в шезлонг Фелисити. Удивительно, как он всюду умеет непринужденно устраиваться. Редкий талант. Лорна приветливо заулыбалась и постаралась подвинуться, чтобы ему было просторнее. Но надо было уходить отсюда до того, как возвратится Фелисити.

— Гай так замечательно разбирается в искусстве, — восторженно произнесла Лорна. — Он даже завел небольшое дело, правда, художественный рынок настолько неустойчив, ни на что нельзя положиться. Не могу себе представить, что есть женщины, которые бросают своих детей, как Фелисити бросила бедную мамочку.

— Это было так давно, — отозвалась я. С чего начать? Да и какой смысл?

— Какая жестокость, какой эгоизм! — продолжала Лорна. — В жизни все так несправедливо, я правильно говорю? Такие люди, как наша мать, все отдающие другим, доживают в нищенском Туикнеме, а другие, вроде Фелисити, под конец жизни оказываются в этом палаццо, где на стенах развешены выдающиеся произведения искусства.

Я попросила Чарли, поскольку мы не позаботились о ночлеге, отвезти Лорну и Гая куда-нибудь в Мистик или Уэйкфилд, устроить их там в гостинице, оставить багаж и показать им Наррагансет-Бей при луне. Сама я подъеду на такси попозже, после того, как повидаясь с Фелисити. Чарли тогда сможет вернуться домой. А в “Золотой чаше” они успеют побывать завтра утром. Любые поездки требуют организации, а наличие спутников затрудняет ее стократ.

Зачем только я открыла “Желтые страницы” в справочной книге и на глаза мне попало агентство “Аардварк”? Да еще проявила слепоту и легкомыслие, найдя это название забавным? Убожество есть убожество, как ни крути. Дурное семя дает дурные всходы.

Гай не согласился уехать. Он желал присутствовать при моей встрече с Фелисити.

— Хорошая мысль, — сказал он. — Ты поезжай с Чарли, Лорна. А я останусь и подожду вместе с Софией, пока приедет Фелисити. А сейчас пойду задам пару вопросов дежурной

при входе.

Так получилось, что Лорна унеслась в ночь в обществе Чарли, а Гай исчез под мраморными сводами “Золотой чаши”.

Оставшись в одиночестве, я позвонила из номера Фелисити в нашу монтажную, но там никого не оказалось. Естественно: меня нет, упрекнуть некому, вот все и разъехались по домам при первой возможности. Позвонила в свою квартиру — никто не снял трубку, а включить автоответчик Гарри не потрудился. Наткнувшись на полное безмолвие, я запаниковала. И набрала номер Холли в Калифорнии, я его тайком переписала из записной книжки Гарри в свою — на всякий случай, хотя на какой всякий случай, сама не знала. Если у тебя есть чей-то номер телефона, ты вроде как отчасти имеешь власть над этим человеком. Гарри-то, конечно, знает ее телефон на память. В течение целых четырех лет это был и его номер. Я ей никогда не звонила. У нее автоответчик был включен и голосом Гарри сообщил: “Привет, вы позвонили Гарри Красснеру и Холли Ферн”. Это, разумеется, ничего не означало. Может быть, Холли просто увереннее себя чувствует, оттого что у нее автоответчик говорит голосом Гарри, вот она и не стала его стирать. Но для меня, само собой, это был удар под дых. Я бухнулась на бабушкину кровать и сразу заснула непробудным сном.

— Кто спал в моей постели и смял ее? — произнес голос Фелисити и разбудил меня. В первую минуту я не могла сообразить, где нахожусь. Этот голос прозвучал из далекого далека, певучий, теплый, бодрящий. Которая это я очнулась от густого, сладкого, то ли ночного, то ли дневного сна? Маленькая девочка, какой я на самом деле себя до сих пор чувствую? Или подросток со слегка одутловатым лицом, которое не успело оформиться, размытое материнской и отцовской смертью? Или молодая женщина, угловатая, целеустремленная, бакалавр киноискусства с кольцом в ноздре, с зеленым лаком на ногах, воображающая себя сильной и гордой и — особенной?

Трагедией лучше всего распорядиться, превратив ее в свою отличительную черту, в интересный эпизод из своей жизни, которым можно хвастаться. Так поступала Фелисити. И так же поступаю я. Все эти годы у меня в ушах звучал ее знакомый, наставляющий голос: “Не принимай ничего всерьез. Все это — только сказка. Кто спал в моей постели?” Как будто был какой-то выбор. Каждая семья, сколько ни сопротивляется, под конец ложится в одну и ту же старую постель, и мы с Фелисити тоже. Она, правда, однажды уклонилась в особенно трудную минуту: предоставила мне одной обнаружить мать в петле; но разве она могла знать, что должно случиться? Да и я, разве я не такая? Джой позвонила мне в Лондон и сообщила, что у Фелисити удар, она в больнице, а как поступила я? Измыслила какой-то предлог, чтобы не помчаться к ней в то же мгновение, и продолжала свою работу. Человек, наверно, не способен постоянно быть сильным, мы только время от времени способны проявлять самоотверженность. И я простила своей бабушке и грех свершения, и грех упущения.

Со сна я бросилась к ней через всю комнату, воображая себя все еще маленькой девочкой с папой и мамой, и едва не сбила ее с ног.

— Где ты была, мисс Фелисити?

— В казино, — ответила она, обретя равновесие, сбросила туфли и принялась массировать ступни. — Хорошо хоть, я надела другие туфли. Эти у меня считаются удобными, но все равно долго ходить в них — мука. Какой был день, какой день! Мы оба проигрались вчистую. Обычная вещь. Но потом удача все выравнивает. Сегодня проигрыш, завтра выигрыш. Так и в “Книге перемен” записано, и должна тебе сказать, что жизнь это подтверждает.

Глаза у нее блестели от избытка адреналина. Уильям привез ее, объяснила она, и сразу же уехал к себе в “Розмаунт”. Они оба совершенно без сил.

“Розмаунт”, Гай и Лорна. Где же Чарли?

Я призналась во всем. Фелисити досадливо нахмурилась, но тут же лицо ее снова посветлело. Она смотрела на меня с любовью, которой я не заслуживала.

— Для того, кто о своем уме такого высокого мнения, ты удивительно глупа, — только и было мне сказано. Более сурового упрека я бы не перенесла, и Фелисити это понимала. — Иными словами, — сказала она, — внуки Лоис решили завладеть моим Утрилло под тем предлогом, что я не в состоянии его хранить, и намерены через суд признать меня недееспособной, а в качестве доказательства использовать Уильяма.

Я подтвердила, что так оно, в общем, и есть. Она взяла телефонную трубку, позвонила Уильяму и сказала, чтобы он немедленно приезжал. А затем снова надела снятые туфли, как

бы в предвидении того, что придется бежать. Это меня немного успокоило.

— В Западный флигель волокут и за меньшие провинности, — пояснила она. — Я сама свидетель. “Плачь кровавыми слезами”. А я-то утром удивилась, почему мне выпала в “Книге перемен” эта фраза. Но время еще есть. Враг только накапливает силы. Благодарю судьбу, что я сегодня не задержалась, казино опустошило наши карманы, и мы вернулись раньше обычного. “Спешу нанести удар, пока враг слаб”, Сюнь Цзи-ю, “Искусство ведения войны”.

Затем она сделала нечто поразительное: стащила с кровати стеганое одеяло, с моей помощью сняла со стены картину — Фелисити была еще крепкая женщина, но бедные слабые, тонкие, как спички, руки уже мало на что были способны; годы берут свою дань с плоти, однако дух, если повезет, могут оставить сильным. Она завернула картину в одеяло, при свете луны мы вдвоем вынесли ее в сад, протащили сквозь рододендроны и прислонили к стене сарая, где садовники держат инструмент, а также складные столы и стулья, которые при хорошей погоде выставляются на солнышко. Сарай оказался не заперт, садовники — как и Фелисити — доверчивы, куда жизнь их не переучит. Фелисити задвинула картину складным столиком, мы возвратились в дом и сказали у главного входа дежурной красотке, плохо владеющей английским языком, чтобы позвонила и вызвала сестру Доун.

А сестра Доун показывала Гаю Западный флигель. Луна сквозь окна лила ясный свет в затененные палаты, где маразматика, слабоумные и просто старые люди доживали в дремоте остаток своей жизни, где не вспыхивают скандалы и где не услышишь визга и воя, которые время от времени раздирают тишину в “Глентайре”. Этими наблюдениями он поделился с сестрой Доун. Они и вправду понимали друг дружку с полуслова.

— Все-таки обидно, — сказал Гай, — что мисс Фелисити приходится тратить на свое содержание собственные средства. Если ее признают гражданкой Великобритании, содержать ее будет государство, и притом в очень неплохих условиях, хотя, конечно, здешним условиям не чета.

— Вы думаете забрать ее на родину? — спросила сестра Доун. Этого она не предусмотрела.

— Посмотрим, как сложится, — ответил Гай. — В “Глентайре” она бы оказалась опять вместе с родной дочерью. Но, так или иначе, она, разумеется, больше не способна сама распоряжаться своими делами, это мы с вами оба понимаем. Мало того, что ценное произведение искусства находится в руках у полоумной старухи, так еще она сама попала в зависимость к беспардонному игроку, моложе ее на двадцать лет. Случись что-нибудь, “Золотая чаша” подлежит, по-моему, судебной ответственности.

— Ну, уж не на двадцать, — возразила Доун, стараясь выиграть время. — Я хорошо определяю возраст на глаз. Я бы сказала, лет на десять-одиннадцать. А что вы имеете в виду, когда говорите “случись что-нибудь”?

— Скажем, если полотно пропадет или будет похищено; или если ее склонят все ее деньги передать в чужие руки, а вы не предприняли ничего, чтобы воспрепятствовать этому.

— По-моему, выход напрашивается такой: надо, чтобы наш психиатр-консультант признал ее недееспособной, и тогда она будет переведена в Западный флигель, где мы сможем держать ее под постоянным надзором. Суд, конечно, не выдвинет возражений против того, чтобы назначить опекуном вас. Иногда опекунство берет на себя “Золотая чаша”, но коль скоро это готова взвалить на себя родня, тем лучше для нас.

— Я, пожалуй, на всякий случай увезу картину в Лондон, — сказал Гай. — Она столько лет прожила у нас в семье.

— Как хотите, — отозвалась сестра Доун. — Мы не против того, чтобы она украшала наши стены, но здесь за страховку требуется платить непомерные суммы.

Они заглянули в затененную палату; доктор Бронстейн мирно спал у себя на кровати.

— Доктор Бронстейн — это наша гордость, — сказала сестра Доун. — Замечательный старик! Знаете, он один раз чуть не получил Нобелевскую премию. Они с мисс Фелисити — такие хорошие друзья. Она будет рада оказаться рядом с ним.

Гай посмотрел на трубки и провода, которыми был опутан доктор Бронстейн, прикинул, что оказаться рядом — максимум того, что тут может случиться, и окончательно успокоился. Опасен только законный брак, его ни в коем случае нельзя допустить. А то начнутся осложнения, суды. При кратковременности теперешних браков можно только удивляться, почему так осторожен закон, устанавливающий опекунство.

Экран компьютера на столике под окном зажегся разноцветными огнями, от угла до

угла полетели пестрые птички. Сестра Доун решительными шагами подошла к стене и выключила вилку несчастного аппарата.

— Напрасная трата электричества, — пояснила она свои действия. — Бедняжка доктор Бронстейн все равно уже ничего не видит и тем более не может подняться с кровати. Но мы стараемся, чтобы наших больных окружали привычные, любимые вещи.

Внезапно палату залил свет. У доктора Бронстейна открылись глаза.

— Джозеф! — вскрикнула сестра Доун. Доктор Грепалли, не замеченный в темноте, сидел по ту сторону кровати доктора Бронстейна. Это он включил свет. — Что ты здесь делаешь? Богу молишься?

— Не такая плохая мысль, — ответил доктор Грепалли. — Я забрел сюда перекинуться словечком-другим с доктором Бронстейном, но он что-то уж очень быстро сдает. Я просмотрел его карту назначений, сестра Доун. Он получает чрезвычайно сильно действующие препараты.

— Профессиональный медик здесь — я, — произнесла сестра Доун. — И не советую вам ворошить осиные гнезда, доктор Грепалли. Не знаю, известно ли правлению, что вы — доктор литературоведения, а не медицины; возможно, пора их об этом уведомить, а заодно и еще о кое-каких вещах, которые здесь происходят. Например, о сексуальных домогательствах. — Она чувствовала себя глубоко оскорбленной: он ею помыкал, насильно уложил к себе в постель, пользуясь как орудием своим начальственным положением. Однако доказать это будет не так-то легко, закон всегда принимает сторону власти имущего. Сообразив это, сестра Доун немного смягчила тон: — У нас мало профессионально подготовленных сотрудников, доброе сердце — это еще не квалификация. Положение таково, что инспекция может нагрянуть сюда в любой день и просто-напросто закрыть нас. Мы, конечно, будем сопротивляться, но тем временем родственники начнут забирать у нас пациентов. Не в наших интересах, чтобы доктор Бронстейн беспокоился и нервничал, и я специально забочусь о том, чтобы не допустить этого. Вы понимаете, почему в Западном флигеле у нас тишина и покой? Вы же тут главный. Ваше дело не думать, ваше дело — знать. А доктора Бронстейна предоставьте мне.

Гаю при оформлении развода как-то пришлось разговаривать с прокуроршей. Этот тон ему был знаком. Доктор Грепалли, похоже, испугался. Во всяком случае, он встал и покорно вышел, хоть как будто бы и не совсем по своей воле, а как человек, очнувшийся от гипноза, еще какое-то время выполняет волю гипнотизера. Гай остался на месте, он смотрел, как сестра Доун пронзает острыми красными каблучками мягкий розовый ворс ковра, готовя для старого ученого очередную инъекцию. Гаю эта женщина все больше и больше нравилась. Вот бы Лорне брать с нее пример.

Веки у доктора Бронстейна снова сомкнулись.

— Ну, вот, снова отмучился, — удовлетворенно сказала сестра Доун. И они с Гаем вернулись в Главный корпус, где она оставила срочный вызов психиатру, пусть позвонит, если возможно, сегодня же вечером.

Амира, дежурная у входа, уже надевала пальто.

— Вы рано собрались, — сказала сестра Доун. — Ваша сменщица будет только через час.

— Я уходить, — возразила Амира. — Чарли ждать. Чарли мой муж.

И действительно, на пороге, загородив весь дверной проем, уже стоял Чарли, крупный, самоуверенный, спокойный.

— Амира едет со мной, — сказал он. — Одной возвращаться домой ей опасно.

— Если Амира сейчас уйдет, — пригрозила сестра Доун, — это последний чек, который она от меня получает.

— Я бы не советовал, — сказал Чарли. — А то кто-нибудь узнает, что вы нанимаете нелегалов.

Амира, довольная, улыбающаяся, ушла в сопровождении Чарли.

— Всегда лучше придерживаться буквы закона, — сочувственно заметил Гай. — Но раз Чарли здесь, значит, Лорна вернулась. Пойдемте навестим мисс Фелисити, пока моя дорогая кухня София ее не спугнула. София — милая девушка, но крайне наивная. А наивные люди бывают опасны.

Что же они обнаружили? Они обнаружили, что мисс Фелисити упорхнула из клетки, София тоже исчезла, а на стене, где висел Утрилло, пусто. Он провисела там не настолько долго, чтобы оставить след на обоях — то есть более яркий квадрат и пыль по краям. В комнате, одинокая и печальная, сидела только Лорна.

— Куда все ушли? — обиженно спросила она. — Когда я вернулась, Фелисити и София как раз выходили. Прodelать такой путь и даже не перемолвиться словом с родной бабушкой. Она прошла мимо меня.

— Они не вынесли с собой картину? — спросил Гай.

— Нет. Я не видела. У бабушки в руке была только сумочка.

— Тогда у нас нет доказательства, что картина у них, — сказал Гай. — Только предположение.

— Их ждал красный “сааб”-купе, — продолжала рассказывать Лорна. От возбуждения она впала в разговорчивость. — У моего друга-кристаллографа был такой. Я считала, что так он компенсирует недостаток мужества, знаете, как у мужчин: длинная машина — маленький член, но возможно, я ошибалась, недооценила его. А этот шофер совсем не в себе. Остановился под луной на берегу, стал ко мне приставать, потом предложил выйти за него замуж, а когда я ответила: “Нет, конечно”, — он развернул “мерседес”, примчал меня обратно сюда и вывалил вместе с багажом. Наверно, подумал, что я в отчаянии. Что будем делать дальше?

— Как он к тебе приставал? — покраснев от ярости, поинтересовался Гай.

— Тебя это совершенно не касается, Гай, совершенно. Ты же мне брат, слава богу, а не хозяин.

— Вашему брату следует научиться владеть собой, — сказала сестра Доун, — не то он когда-нибудь лопнет от бешенства.

— Лучше давать бешенству выход, чем держать в себе, — отозвался Гай, сразу потеряв к ней всякий интерес. — Но вы, американцы, никак не можете это усвоить.

Сестра Доун опустила голову на ладони и вздохнула. Люди по одну сторону от границы всегда осуждают тех, кто по другую сторону, и не важно, кто эту границу провел, это может быть прямая линия — демаркация, отделяющая, например, Род-Айленд от всех остальных штатов, или что-нибудь более осмысленное, вроде русла реки или горной цепи. Ее и этого мужчину, ненадолго возбудившего ее интерес, разделяет целый океан. Но с этим покончено. Для нее он теперь не более чем индюк, страдающий от приливов тестостерона. Она сама

подивилась своей рассудительности. А ведь ее никто не ценит. Работает, выкладывает, поднимаешься выше и выше — и ни признания, ни благодарности. Она делала все, что могла, для “Золотой чаши” и ее стариков. Какое-то время она верила в доктора Грепалли и закрывала глаза на его особые сексуальные наклонности. К мужчинам приходится проявлять снисхождение, а иначе перед кем преклоняться? Но он, как и все они, оказался невыносимо сентиментальным, эдакая смесь алчности и упоения собой. Чтобы морочить стариков, ему надо сначала заморочить голову самому себе, а что же в этом хорошего? Разумеется, обитателей Западного флигеля необходимо опаивать и убаюкивать, не то они начнут роиться по всему зданию, как вонючие мухи. Сестра Доун не намерена навсегда селиться на берегу океана. Погода тут чересчур неустойчивая, переменчивая; никогда не знаешь, чего ждать. Бог витает над равнинами, там в знойном воздухе ощущаешь Его мерцающее, грозное присутствие. А сейчас ей иногда кажется, что Он не слышит ее молитв, словно вообще не существует, и надо быть очень осторожной, не то в одно прекрасное утро проснешься — и не ощутишь Его сдерживающей длани, и начнешь увеличивать дозу сюда, дозу туда, оставив заботу о показателе продолжительности жизни: и выйдет, что она, сестра Доун, исполняет работу не Бога, а Природы. Однажды она уже потеряла хорошее место в сходных обстоятельствах. Умножать количество смертей сверх статистической нормы опасно, хотя найти доказательства этому возможно только в самых свежих случаях. Трупы кремируют, а даже если и нет, кому охота затевать возню с эксгумацией? Но сестра Доун рисковать не собирается, она вернется на родину — там заработки, правда, меньше, зато жизнь хотя и короче, но полнее, старики там — народ благодарный, оставляют тебе деньги в завещаниях, и Бог близко, всегда услышит; Он являет Свой гнев в виде смерча, серого и вьющегося над плоской равниной, так что за целую милю видно Его приближение. Разве это не прекрасно? Уезжая отсюда, она напишет письмо в правление о том, как плохо доктор Грепалли ведет дела в “Золотой чаше” и как подчищаются цифры показателя продолжительности жизни пациентов.

— Мне ничего не нужно, — сказала Фелисити. — Я хочу начать заново. У меня есть чековая книжка, и кредитные карточки, и мобильный телефон, и одежда, что на мне. Для женщины, которая уходит из дома, этого довольно. И еще у меня есть Утрилло и документ, подтверждающий его подлинность. Ни в старых фотографиях, ни в сувенирах я не нуждаюсь, я не хочу жить прошлым, я хочу жить теперь.

— Вот это правильно! — сказал Уильям Джонсон.

Я довольно высокого роста, и на заднем сиденье мне было не слишком удобно, но в азарте бегства я об этом забыла. Картина лежала в багажнике, как была, завернутая в ватное одеяло, прихваченное из “Золотой чаши”. Хотелось надеяться, что “Золотая чаша” не станет по этому поводу вчинять иск за кражу. Хотя от них всего можно ожидать. Побег Фелисити их возмутит и оскорбит. Общество всегда норовит покарать беглецов, изловить и высечь, чтобы сильнее его любили. Вот тебе, вот тебе, будешь знать, как не любить нас.

— Что делаем дальше? — спросил Уильям Джонсон. — Должен предупредить, ни один мой чек к оплате не примут, а кредитные карточки я уничтожил. Ты можешь поехать со мной в “Розмаунт”, на их счет регулярно поступают проценты от страховки, но я не имею права их трогать. Однако к концу недели твердо рассчитываю улучшить мое финансовое положение.

— Ну конечно, Уильям, — ласково сказала моя бабка Фелисити. — Прямо сейчас мы не можем пожениться, потому что храмы все закрыты на ночь, а будить для этой цели регистраторов жестоко.

Мне, разумеется, знаком этот сценарий: в пятидесятые годы Дорис Дэй и Рок Хадсон (или это был Гэри Купер?) стучались на рассвете к мировому судье, чтобы пожениться в порыве чувств, а впоследствии раскаяться, но потом все кончается хорошо.

— Успеем выправить бумаги завтра с утра пораньше, и тогда уж моим опекуном и душеприказчиком будешь ты, Уильям.

“Бабушка!” — хотела было я воскликнуть, но осеклась.

— А пока, — заключила она, — поедем-ка к твоему знакомому знатоку живописи.

И мы покатали к наррагансетскому пирсу, где в деревянном домике у самой воды проживал Уильямов знакомец. Очень поэтично, конечно, но все-таки хотелось бы верить, что выдающиеся произведения живописи надежно укрыты внутри от разгула стихий: непогода смыла краску с наружных стен и набросала водорослей к самому порогу. Картину понесли в его жилище, а я осталась в машине. Я позвонила по бабушкиному мобильнику Гарри Крассеру и неожиданно застала его дома за телевизором. Я звоню не по своему телефону, объяснила я ему, поэтому будем говорить кратко. Слышимость была плохая и становилась все хуже. Я сказала ему, что отношения между мною и Гаем с Лорной прерваны и я вылечу домой, как только смогу. Да, конечно, за билет придется приплатить, но наплевать. Надо же, он, оказывается, не в кабаке, и не в клубе, и не в студии, а дома.

— Мы смотрим телевизор, представляешь? — сообщил он. — Даже не видео. Холли любит ваше Би-би-си, — а когда я что-то пискнула в ответ, еще подтвердил: — Да, Холли здесь, со мной, она будет тут ночевать, передаю ей трубку.

Я сразу остолбенела, как бывает, когда обрушивается беда. И только потом впадаешь в истерику. Сквозь помехи до меня долетел над Атлантикой обаятельный, с хрипотцой голос

Холли.

— Гарри мне столько о тебе рассказывал, — произнесла она.

Вот как, рассказывал?

— Он сказал, что это ничего, если я останусь ночевать. Мы с ним как брат и сестра, я тоже терпеть не могу гостиницы.

Голос то звучал, то совсем пропадал, почти ничего не было слышно. Из дома, держась за руки, вышли Фелисити и Уильям без Утрилло. Насколько я разобрала, Холли говорила, что она в Лондоне проездом вдвоем со своей новой шведской подругой. В Стокгольме принята программа по усыновлению детей лесбиянками. И Холли удовлетворяет всем требованиям. После Косова полно осиротевших младенцев. Наконец голос окончательно вырубился.

Я спросила у Фелисити, что она сделала с картиной.

— Продала, — ответила она. — Человеку с толстой чековой книжкой. Но он не внесет деньги в мой банк до тех пор, пока не зарегистрирован брак, а то еще кто-нибудь вздумает заморозить мой счет.

— Он честный человек, — добавил Уильям. — Мой родственник.

Я сказала, что, по-моему, это не такая уж надежная рекомендация, и попросила, чтобы он покатал меня немного, пока я не найду места, где лучше слышно. И мы поехали. Вообще он довольно любезный — такие мужчины могут раздражать женщину, но не сделают ее несчастной. Не то что мужчины у нас в семье. Я чувствовала себя обязанной выяснить насчет девицы в “Розмаунте”, которая якобы от него забеременела, — стар-то он, конечно, стар, но мужчина привлекательный, и машина у него шикарная, так что всякое могло статься — поэтому рискнула и спросила.

Ответила мне Фелисити, а не Уильям.

— Дорогая моя, — сказала она, — все это ее фантазии. И потом, Уильям тогда еще не был знаком со мной. Пожалуйста, ни о чем не беспокойся.

Мы ехали на юг вдоль берега океана и в конце концов, не доезжая до Башен — большой каменной арки над шоссе, оставшейся, как рассказал Уильям, от казино, сгоревшего в 1900 году, — нашли место, где неплохо проходил сигнал. Остановились, и я снова дозвонилась до Гарри.

— Она только что ушла в кино со своей подругой, — сказал он. — Они все время держатся за руки. В британской кинопромышленности начался лесбийский сезон. Я подумал, что тебе надо самой поговорить с ней. А то на тебя находит. У меня все по-прежнему, мы пересмотрели слишком много фильмов и знаем, что будет дальше. Это не в порядке критики.

— Люди бывают бисексуальные, — сказала я.

— Но только не Холли, — возразил он. — Она ничего не делает наполовину. Как я понимаю, нас ждет год высокой моды на лесбийскую любовь.

Ну что ж. Целый год. Не так плохо. Полного набора удовольствий от судьбы ведь ждать не приходится. Уильям довез нас до Пойнт-Джудит, там мы вышли из машины и по каменистой тропе спустились к маяку. Ветер гудел в ушах, луна выныривала из темных туч и ныряла в еще более темные. Уильям взял Фелисити под руку, и я подумала, что он в самом деле ее любит. Еще я подумала, что смогу обставить Холли, если заведу ребенка раньше, чем она, но отбросила эту мысль как недостойную меня.

Мы решили заехать к Джой и Джеку, хотя Уильям сначала был против: “Зачем без нужды нарываться на неприятности?” Но Фелисити возразила, что Джой — ее подруга, в трудную минуту она ее, Фелисити, всегда морально поддерживала, не считая отдельных досадных исключений. А большего от людей и ждать не приходится. Уильям согласился.

Поехали в “Пассмур”, но подъездная дорога оказалась перегорожена, и по ту сторону забора видна была в свете фонаря общая суета: семейство Чарли из гостевого флигеля при “Уиндспите” перебиралось в “Пассмур”. Наверно, чтобы мальчишки помогли с ремонтом. Мы, не задерживаясь, проехали дальше. У Джой и Джека на двоих имелось шестнадцать комнат и восемь туалетов — более чем достаточно для двух человек. В некоторых исследованиях уровень благосостояния определяется по количеству водопроводных кранов в хозяйстве — в “Пассмуре” и “Уиндспите” вместе их, наверно, добрая сотня, считая ванны, кухни, чуланы, подсобки и буфетные, а также фонтанчики в саду и краны во дворе. Когда-то Фелисити начинала свою заокеанскую жизнь с одного крана. И теперь сказала, что готова, если нужно, к этому вернуться. А Уильям припомнил, что в “Пасхендале” было два. Он с подробностями описал свой старый дом, и я спросила, почему бы им с Фелисити в нем не поселиться? Средств у них на это хватит с избытком. И тут же спохватилась: может быть, не следовало этого говорить? Если вмешиваться в жизнь других людей, потом всегда будешь за них в ответе. Буддистская мудрость. Фелисити сказала, что погадает по “Книге перемен”. Но книга осталась в “Золотой чаше”, напомнила я ей. Ничего, она купит новую.

Мы заглянули в незанавешенное окно: Джой и Джек дружно сидели бок о бок на диване. Фелисити раздумала их тревожить. Раз у нее теперь есть он, она больше во мне не нуждается, сказала Фелисити. Чем меньше я ей нужна, тем я свободнее.

Я сказала, что обо мне она может не беспокоиться. Я не нуждаюсь в ней, я ее просто люблю. В Фелисити иногда удивительно проявляется прирожденная англичанка — мои слова смутили ее, но, по-моему, ей было приятно.

Мы поехали в “Пасхендале”. Свет не горел. Электричество было отключено. Только луна урывками заглядывала в окна. Я прилегла на диван, я нашла его в темноте по указаниям Уильяма. Двигаясь ощупью, я ощущала под ладонью какие-то странные выпуклые деревянные поверхности.

— Теперь пройди между “Эросом” и “Цивилизацией”, — направлял он меня, — потом мимо “Материнства” и двигайся влево на “Отцов-Основателей”.

Что за вздор? Ах, ну да, скульптуры. Произведения искусства. Спасибо за подсказку. Я легла на диван, вытянулась. Было слышно, как они, точно школьники, шушукались и прыскали со смеху, поднимаясь по лестнице. Я закрыла глаза и уснула.

Ночью шел дождь. Утром весь склон горы радужно лучился. Дом был как в сказке: имелась переносная газовая плитка и что-то еще оставалось в баллончике, нашлось немного старого-престарого слабенького кофе, мы его пили. И были какие-то печенья. Ужасно хотелось есть. Фелисити сказала, что решила поступить по моему совету. Уильям выкупит дом у Маргарет, и они проживут здесь до конца, сколько им осталось. Лет десять, она считает, у них еще есть. И у дома тоже. Все трое они развалятся и рухнут одновременно, Фелисити, Уильям и “Пасхендале”. Я возразила, что уж конечно ей по средствам пригласить рабочих, привести дом в порядок, отремонтировать, чтобы он опять стал крепким и

прочным. Но этого они не хотят. Им нравится его ветхость. Такой дом им как раз подходит. Если она разделит деньги, которые получит за Утрилло, и то, что у нее уже есть, на десять частей, это даст им 400 000 в год, чтобы дожить до конца. Как раз такую сумму Уильям ежегодно проигрывает, если взять в среднем удачные и неудачные годы. Они будут ездить играть в “Фоксвуд”, проигрывая, не станут огорчаться, так как это предусмотрено, а выигрывая, смогут просто радоваться. Они будут рассчитывать на проигрыш, а не стремиться к выигрышу, и поэтому победа всегда будет на их стороне. Такая совершенно новая стратегия.

— Но, Фелисити... — заспорила было я. И осеклась. А в чем дело? Мне наследство не нужно. У меня свое будущее, а прошлое — бог с ним. И Гаю не за что будет воевать.

Мы поехали в Бостон: Фелисити надо было купить кое-что из одежды, в чем выходить замуж, и новый экземпляр “Книги перемен”. А Уильяму требовалось всякое оборудование для хозяйства. Он сказал, что поговорит с Джеком насчет того, чтобы продать “сааб” и взамен приобрести что-нибудь более практичное, может быть, какой-то из нынешних “универсалов”, тогда Джек и Джой, возможно, простят его за то, что он существует на свете.

На церемонию бракосочетания я не осталась — купила билет на ближайший рейс в Лондон, бизнес-классом, естественно, за полную стоимость, радуясь, что лечу без спутников. А Гарри, подумать только, даже приехал в Хитроу меня встречать. На самом-то деле в этом не было ничего удивительного, и вообще, неизвестно почему я написала “подумать только”, просто невротическое ломание, а не настоящее чувство, пора от таких реакций избавляться, так для всех было бы удобнее. В моем распоряжении еще, оказывается, много-много времени, я даже не ожидала. Жизнь передо мной удлинилась — я представила себе это как спецэффект: дорога в бледно-зеленом сиянии тянется, вытягивается, уходит вдаль и чуть-чуть в гору. И совершенно незачем торопиться, все еще можно будет уладить.



Фэй Уэлдон в английской женской прозе — звезда первой величины. Пьесы, сценарии (в их числе знаменитый сериал по книге Джейн Остин “Гордость и предубеждение”) и почти тридцать романов принесли ей славу признанного мастера современной беллетристики. “Род-Айленд блюз” — это и в самом деле роман-блюз, напряженный диалог двух женщин. И одновременно — яркая фантазия на тему “последнего шанса”, который возможен в любом возрасте.



Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

notes

Стефан Граппелли (1908–1997) — знаменитый джазовый скрипач, играл до конца жизни и пользовался огромной популярностью. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Екк. 12: 1-2.

Екк. 12: 5–7.

Радость жизни (*фр.*).

Помешательство вдвоем (*фр.*).

Втроем или вчетвером (*фр.*).

Перевод К. Бальмонта.

“Гинденбург” — германский трансатлантический пассажирский дирижабль, сгоревший в 1937 году при посадке в Нью-Джерси. В пожаре погибло 36 человек.

Humble — робкий, смиренный (англ.).

Из поэмы “Бесплодная земля” (1922) Т.С. Элиота. *Перевод А. Сергеева.*

Сомерсет-Хаус — здание на берегу Темзы в Лондоне, в нем размещается Управление налоговых сборов, а также Кингс-Колледж и некоторые другие государственные учреждения; построено в 1776–1786 гг. и названо по имени герцога Сомерсета.

Испанский мох — местный лишайник.

“Датские деньги” — подать, которую собирали скандинавы, владевшие северными землями Британии в VIII–IX вв.

Строка из стихотворения Джона Донна (1573–1631) “Песня”.

Старый Моряк — персонаж из одноименной баллады С.Т. Колриджа (1772–1834).

Озимандия — персонаж и название сонета П.Б. Шелли, 1817 г.

Дамбо — слоненок, герой известного диснеевского мультфильма “Дамбо” (США, 1941).

Поросенок *Бейб* — герой одноименного американского детского фильма по повести Д. Кинг-Смита.

Имеется в виду популярный в 50-е годы фильм режиссера Л. Лэндерса “Дэйви Крокетт, индейский разведчик”.

Надо отступить, чтобы лучше прыгнуть (*фр.*).

В роли родителя (*лат.*).